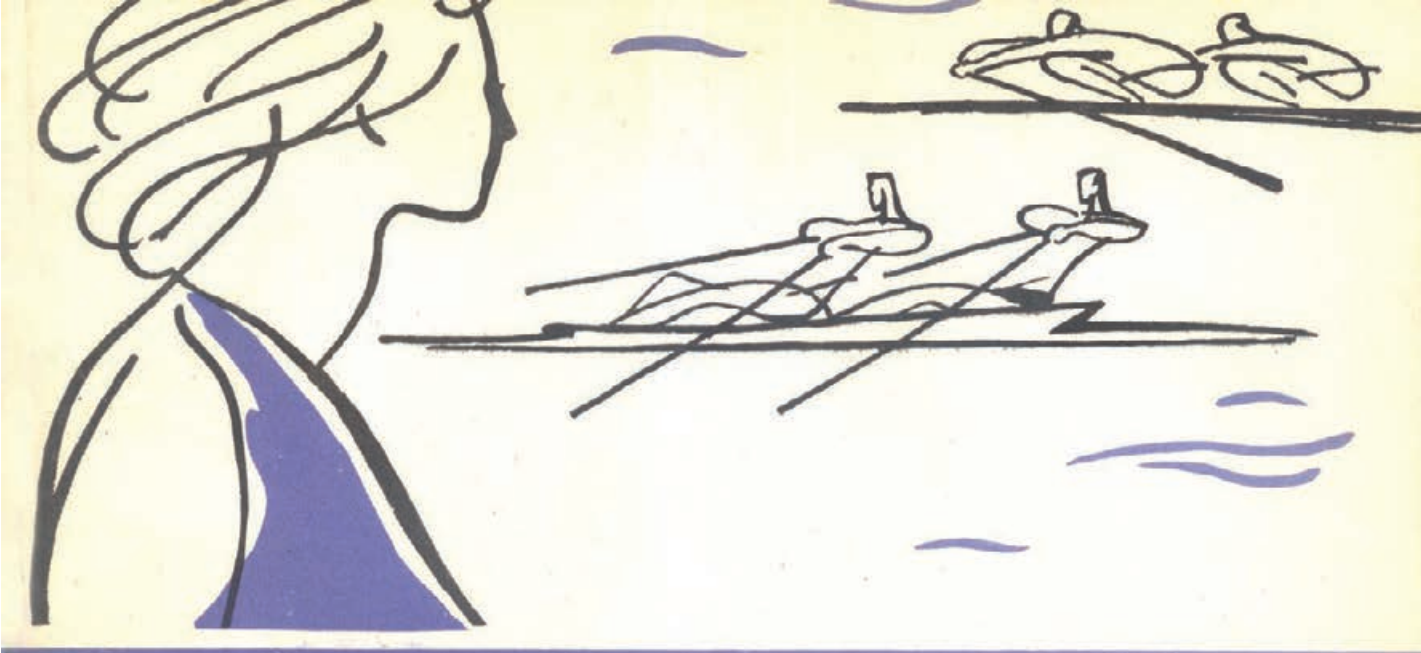


ЮНОСТЬ

6

ПО КИТАЮ

Вверху — на дорогах Китая; внизу — улица в Ханчжоу (см. в этом номере нашего журнала страницы из дневника художника В. Богаткина).

В номере:

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

А. МУСАТОВ ● БОЛЬШАЯ ВЕСНА

Л. ОВАЛОВ ● БУКЕТ АЛЫХ РОЗ

Б. СИЛАЕВ ● НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ

С. ГОНЧАРОВ ● «БОСЯК»

Ю. ДУБРОВКИНА ● ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ

КРИШАН ЧАНДР ● ЕГО ИМЯ

СТИХИ

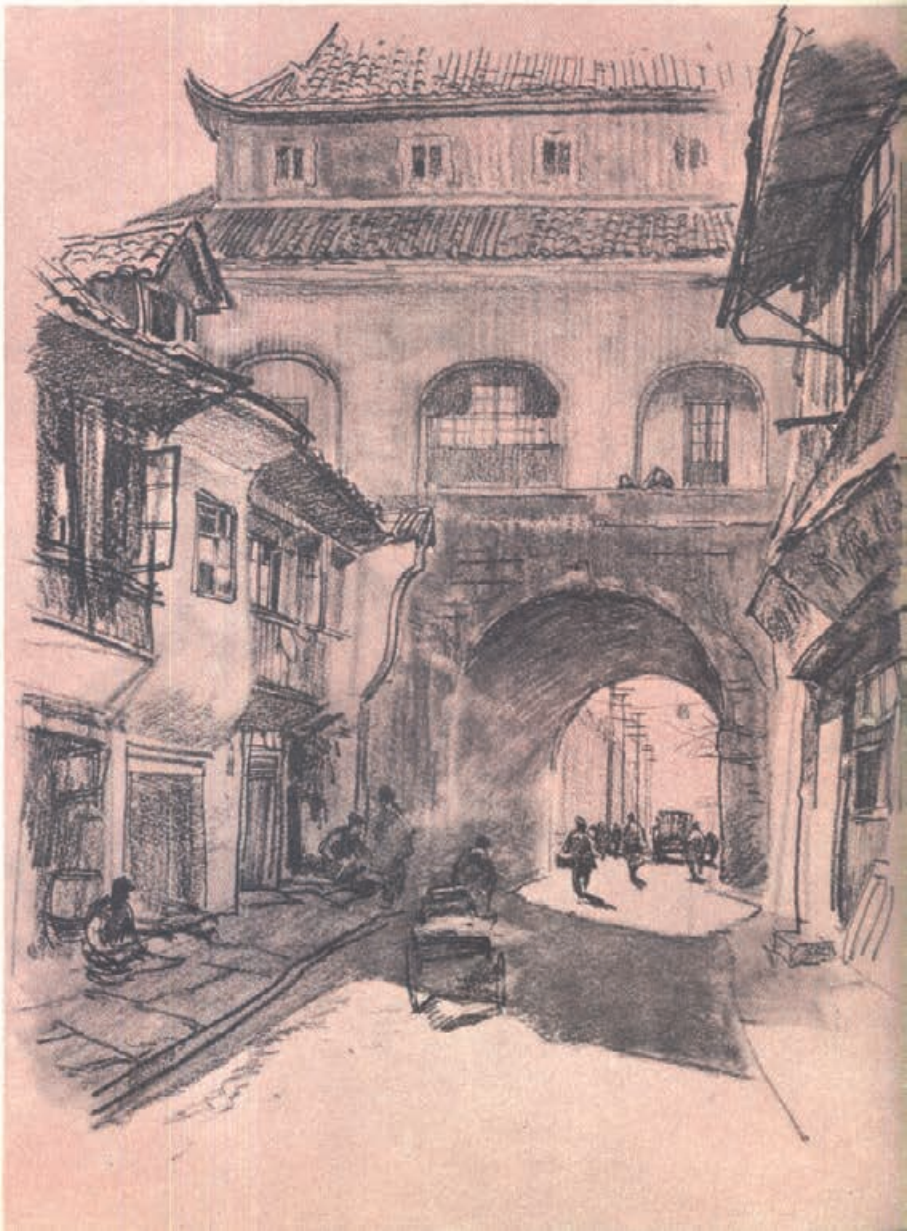
Ю. АРБИТЖЕР ● Ф. БАЛКАРОВА ● В. БЕРЕСТОВ ● А. ЗАУРИХ ● И. ЛАПИРОВ ● В. МОЛОДЯКОВ ● И. ОЗЕРОВА ● Л. ОШАНИН ● Н. ПОЛЯКОВА ● З. ПХАГАЗИТОВ ● А. СОФРОНОВ ● Б. ШАХОВСКИЙ

ПЕРЕД VI ВСЕМИРНЫМ ФЕСТИВАЛЕМ ●

СОРОК ЛЕТ НАЗАД ●

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ ●

ТЕАТР ● СПОРТ ● ПЫЛЕСОС



ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК

6

ИЮНЬ · 1957
ГОД ИЗДАНИЯ ТРЕТИЙ

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА

Дети разных народов,
Мы мечтою о мире живем.

Рисунок Ю. Королева и Б. Тальберга.

Анатолий СОФРОНОВ

ОТ ВСЕХ ШИРОТ

Цикл стихов

Зимнее...

В тот вечер,
когда собирался
в Индию
И в сердце входил
самолетиый гром,
На Тверском бульваре
липы заиндевели
И памятник Пушкиину
блестел серебром.
На крыше «Известий» реклама
бегала,
Как будто буквам морозно
зимой...
Московские афиши
дочитывая бегло,
По улице Горького
шел я домой.
Еще дорога в край неизведаниый,
От русской зимы
к индийской весне...
До самой смерти
земле своей преданный,
Махнул я рукой родной стороне.
До встречи!
И вот самолет меня поднял
И на крыльях широких
по небу понес;
И это был
февральский полдень,
Февральское небо,
февральский мороз.
А теперь я живу,
где зеленые попугаи
Летают стайкамн,
как у нас воробьи,
И павлины
криками пугают
Беспокойные сновиденья мои.
...Если жить в холодке,
и взаправду экзотика.
Как смешон обезьяний
набитый орехами
зоб!
От палящего солнца
укроешься зонтиком
Или
пробковый шлем
напялишь на лоб.
Здесь немало туристов
пьют виски
за столиком
И ворчат, недовольные...
Разве им угодишь?
А потом
заливаются смехом
до коликов,
Видя, как ребятишки
просят
бакшиш.
Только эти туристы —
для будущей жизни
прохожие.
Пусть «лиикольны» у них
и замаичивый доллара звон,
Миллионы людей
подиялись,
поднимаются,
ожнли;
Прерван Азии
долгий
мучительный сон!
Все уловки,
приманки
и пакты здесь виданы —
Не охватишь заплатами
Тришкин кафтан;
Здесь уже не слепцы,
пусть не все еще выдано.
Но шумит,
но гудит,
но встает за кормой океан!
Потому и понятны
пожатья мужские
И улыбки
совсем
незнакомых людей.
— Рашен, да?
— Из Москвы?
— Из России?
Это ярче,
красивее всех орхидей!
Что же нам
на полеты далекие
сетовать?!
Счастье —
солнце встречать на дороге,
в пути!
Счастье —
с товарищем новым
беседовать;
Счастье —
новых друзей на планете найти!

Звонила Калькутта

Звонила Калькутта, но это не ты...
Ошибка бывает забавна.
Торговец, ломавший людям хребты,
Здесь в номере жил недавно.

Звонила Калькутта... И этот звонок
В прощальный вернул меня вечер...
Долго в трубке звенел говорок
Мягкой индийской речи.

Ужели к такому звонить могла,
Любви своей не скрывая,
Женщина, вся из огня и тепла,
Милым его называя?

Ужели она по его рукам
Тоскует сейчас в Калькутте?
И, обращаясь к своим богам,
Тонкие руки крутит?

Да нет же... Не надо, не надо мечтать!
В жизни все более мелко...
Просто она захотела узнать,
Как завершилась сделка.

Какую добычу в зубах принесет
К порогу домашнему снова?
Какой еще будет приход и доход
От кости тяжелой слоновой?

Звонила Калькутта... Но это не ты,
Своим говорком играя.
Нас разделяют седые хребты,
Снежные Гималаи.

Нас разделяет старик Гиндукуш,
Лохматый, в глубоких морщинах,
Сгубивший безжалостно тысячи душ,
Идущих к холодным вершинам.

Ты можешь взойти на Кутаб-Минар
И взгляд далеко нацелить,
Но будет таким же полдневный жар,
Вися пеленой над Дели.

Звонила Калькутта... И я не смог
Ответить, у трубки немея.
И может, будет еще звонок,
Другой звонок из Бомбея...

И так же я трубку схвачу в огне,
Чтоб сердца накал сохранила.
И снова тогда покажется мне,
Что это
Москва
звонила!

Дорога в Порт-Саид

Египетскому журналисту Анвару САДАТУ

Меня в Каире друг назвал
При первой встрече просто братом
И просто руку мне пожал,
Как могут руки жать солдаты.

Кто знает цену этих слов
И не бросает их на ветер,
И кто без жалости готов
За правду все отдать на свете.

Шумел и цвел вокруг Каир,
Машины улица катила,
И здесь рождался новый мир,
На берегах крестьянских Нила.

Бежит дорога в Порт-Саид
Вдоль волн Суэцкого канала,
Где каждый камень все хранит
Следы недавнего накала.

Где часовые на посту
Стоят у каменных заборов,
Смотря невольно в высоту,
Когда услышат гул моторов.

Но вот уже и Порт-Саид!
Что мне сказать без предисловья?!
Пусть лучше сердце говорит
О тех, кто мертв. У изголовья,

У свежевырытых могил
Висят простреленные каски
Тех, кто страну свою хранил,
Кто шел на подвиг по-солдатски.

Руины, чей-то мертвый кров,
Еще не зажитое горе...
Шумит, шумит у берегов
Неуспокоенное море.

Еще не вытерты глаза,
Еще звучат слова молитвы,
Но поднимаются леса
Строительства на поле битвы.

...Меня в Каире друг назвал
При первой встрече просто братом
И просто руку мне пожал,
Как могут руки жать солдаты.

Над австралийскою пустыней

Над австралийскою пустыней,
Где днем прозрачный блик луны,
Моя любовь к тебе не стынет
И расстоянья не страшны.

Внизу, как будто черный дьявол,
Из ада скрывшийся козел,
Рогами землю окровавил,
Кривые борозды провел!

Зарубцевались, словно шрамы,
Навечно чуждые воде,
Они на юг уходят прямо,
Лишь исчезая кое-где.

Быть может, этот путь опасен,
Но ты опять, опять со мной...
Маршрутом новым опоясан
Внизу лежащий шар земной.

Глазами смотрит смерть пустыми,
В солончаках играет свет
Над австралийскою пустыней,
Где голос твой летит вослед.

Ноябрь, 1956 год.

Бумеранг

Вере

Как будто старый бумеранг,
Твоею пущенный рукой,
Меня к тебе бросает Ганг
И Нил у моря голубой.

Где б ни был я, родной порог,
Как жизнь моя, как мой зарок;
Я умереть бы где-то мог,
Но не вернуться я не мог!

Все набирая высоту,
Из рук твоих вперед летя,
Повиснув где-то на лету,
Все земли взглядом обведя,

Как австралийский бумеранг,
Твоею пущенный рукой,
Перелетая океан,
Лечу к тебе, к тебе, домой.

От Фудзиямы, из пустынь,
От темных гор, от Кордильер,
От ледников, как ночь пустых,
От мной не понятых химер...

И ты зови, зови, зови,—
От всех широт, из дальних стран
К тебе, к тебе, как бумеранг,
В ладони
теплые
твои.

Ночь в Каире

Алеше

Спят большие пирамиды,
Спят на рейде корабли;
И, забыв про все обиды,
Крокодилы спать пошли.

У дорог верблюды дремлют,
Утомленные на вид;
И, склонившийся на землю,
Смуглый мальчик тихо спит.

Спят в Москве, и спят в Каире,
Только я один не сплю,
Шорохи в подлунном мире
В эту полночь я ловлю.

Несмотря на расстоянье,
Все сейчас доступно мне;
Я Алешино дыханье
Слышу в этой тишине,

Как сопит под одеялом,
Как вздыхает в полусне,—

Все ему чего-то мало,
Что-то видится в окне...

Если б знали крокодилы,
Чем ему сейчас помочь,—
С берегов зеленых Нила
Уходили б прямо в ночь;

Ковыляли бы горами,
Шли б с утра и до утра,
Темно-синими морями
Плыли б, словно катера.

Не боясь в пути простуды,
По колючкам и пескам
Шли б лохматые верблюды
К иноземным берегам.

...Тихо дрогнули ресницы,
Будто слышит: я зову.
...Пусть пока ему все снится,
Что я вижу наяву.

Каир.

Алексей МУСАТОВ

БОЛЬШАЯ ВЕСНА

Повесть

Рисунки П. Караченцова.

ПРИТИХНИ!

Илья Ефимович садился за стол обедать, когда через окно заметил подходившего к крыльцу Савина с необычной ношей за спиной. Он быстро вышел навстречу директору школы и спросил, что случилось.

— Потом, потом...— бросил Савин и приказал уложить искалеченного племянника в постель. Ничего не понимая, Илья Ефимович провел Савина во вторую половину дома. Степу уложили в постель и оказали ему первую помощь.

Вскоре к Ковшовым зашел Матвей Петрович с ребятами. Учитель посоветовал перенести Степу в общежитие или отправить в зареченскую больницу, но Савин сказал, что мальчика в таком виде тревожить нельзя и надо срочно послать за доктором.

— Запрягите лошадь! — приказал он Илье Ефимовичу.

Ковшов покорно заложил лошадь в легкую тележку, и Матвей Петрович погнал ее в Заречье. Через час оттуда приехал старый фельдшер. Он протер Степе спиртом многочисленные царапины и ссадины, смазал их, потом забинтовал руки, ноги и лицо. Савину и Матвею Петровичу фельдшер сказал, что царапины и ссадины на молодом теле заживут быстро, хуже дело с левым коленом, которое посинело и распухло, как видно, от удара лошадиным копытом.

— Словом, молодой человек покатался в свое удовольствие, теперь придется ему и полежать,— невесело улыбнувшись, сказал на прощание фельдшер.

Все разошлись. За Степой осталась присматривать Таня.

В тот же день, но уже поздно вечером к Илье Ефимовичу вновь зашел Савин. Он хмуро посмотрел на Фильку, и тот догадался, что сейчас директор обо всем расскажет отцу. Значит, не миновать сегодня хорошей выволочки. Филька с надеждой посмотрел на дверь: хорошо бы сейчас смотаться куда-нибудь.

— Выйди, Филя, погуляй! — строго сказал Савин.

Филька не заставил себя просить и выскочил на улицу. Савин прошел вперед, не дожидаясь приглашения, присел к столу и забарабанил пальцами по столешнице.

— Опять чем-то недовольны, Федор Иваныч? — покосился на него Ковшов. И вдруг, что-то вспомнив, ухмыльнулся: — Подумать только, Степку на закорках тащили. Через всю деревню. Вот уж действительно любящий директор!

— Будешь тут любящим,— отозвался Савин, убирая со стола руки.— И все по милости вашего сынка.

И он рассказал, что сегодня Филька сделал со Степой.

— Ну, сынок! Лихо начинает! — покачал головой Илья Ефимович и, подумав, добавил: — А может, и поделом ему, колонисту! Пусть не шпионит, не выслеживает... Можно, пожалуй, и еще добавить!

Савин с досадой посмотрел на Илью Ефимовича. Опять тому нужно все растолковывать. Да, колонист — помеха, бельмо на глазу. Но какая польза от того, что Филька с Фомой-Еремой изобьют его еще раз? Только навлекут на себя подозрение и втянут в неприятную историю самого Ковшова. А ведь ему надо жить сейчас как можно тише и со всеми в ладу. И если Илья Ефимович хочет себе добра, он должен немедля внушить сыну, чтобы тот не распускал рук и не смел трогать Степу даже пальцем.

— Вот навязался, проказа, на мою шею, покоя нет! — закряхтел Ковшов.— Хоть бы вы его из школы убрали.

— Как то есть убрали? — переспросил Савин.

— Ну, исключили вроде или перевели куда. Только бы от Кольцовки подальше...

— Ага! Дошло наконец-то...— не без торжества заметил Савин.— А что я вам говорил в свое время! Отправьте племянника обратно в город, пока он вам в горло не вцепился. Задним умом крепки, Илья Ефимович.

— Что говорить, дал маху...— сокрушенно согласился Ковшов.— Но вы же директор школы, и все в вашей власти. Исключите Степку... Так, мол, и так: за плохое поведение, за клевету на председателя сельсовета. И делу конец!

Савин покачал головой. Он уже думал об исключении. С первого взгляда это очень соблазнительно; он едет в район и добивается перевода Степы в какую-нибудь другую школу или в детскую колонию. А когда его не будет перед глазами, станет легче жить и работать. Конечно, с мальчишкой справиться нетрудно, но он, к сожалению, не один, на его защиту всегда может встать Матвей Петрович. А этого нужно опасаться...

Окончание. Начало см. №№ 4, 5 за 1957 год.

— Нет, нельзя исключать... Пока нельзя...— недовольно сказал Савин.— Опять начнутся разговоры о спрятанном хлебе, поиски, слежка. А нам нужно сделать так, чтобы история с хлебом забылась как можно скорее...

Он все больше и больше раздражался. Слишком уж много внимания требует этот маленький Ковшов. У них есть дела и поважнее. Савин принялся расспрашивать у Ильи Ефимовича про разговоры в деревне, как проходят «беседы» с мужиками, что те думают о колхозе.

— Захожу кое к кому...— сдержанно доложил Ковшов.— Больше всего на хозяйственные вопросы напираю. Мол, ералаш в артели обязательно начнется, бестолковщина, через год все голышом ходить станут. Не колхоз получится, а голхоз...

— Правильно,— согласился Савин.— Еще и такую мыслишку подбросьте. Внушайте крестьянам, что колхозом будут управлять назначенные из города уполномоченные, что они введут казарменную дисциплину, лишат членов артели всяких прав. Но говорить надо умно, с плеча не рубить... чтобы слеза чувствовалась, боль...

— Стараюсь, Федор Иваныч. Я тут Игнату Хорькову до того сердце разбередил, что он даже за топор схватился. Лучше, кричит, я своего Красавчика жизни лишу, чем на общий двор сведу. Насилу успокоил...— Ковшов нахмурился.— Только вот Никита Еремин со Шмелевым подчас мешают. Такой старой завалью мужиков пугают — уши вянут. Тут и церковные бредни всякие, и одеяло на сто метров, и общие жены...

— Ничего, пусть пугают... Это тоже кое на кого действует,— заметил Савин и спросил Ковшова, как ведет себя Хомутов.

— Тугой мужик,— вздохнул Илья Ефимович.— На собрания ходит редко, окопался в доме. Но, чую, мужик ко всему прислушивается. Я уж до него через жену стараюсь дотянуться.

— Смотрите у меня,— погрозил Савин.— Хомутова держите крепко. По нему многие будут равняться... Надо будет — припугните.

— Это в каком смысле?

— Без кровопускания, конечно,— поморщился Савин.— Письмишко ему подбросьте, записку там с парой теплых слов... Учи вас! — Он посмотрел на часы и направился к двери.— За племянником присматривайте, лечите его. Не мешает с ним и примириться. А сыну скажите твердо, как он себя вести должен.

— Скажу,— согласился Илья Ефимович. Перед сном он подозвал Фильку и, помотав перед его носом пальцем, вполголоса выругался:

— Остолоп! Глупостями занимаешься!.. Лошадей пугаешь!

— Так я же не знал, что он в поводьях...

— Молчи, слушай! — перебил отец.— С завтрашнего дня держи себя на людях тише воды, ниже травы. О колхозе ни слова ни с кем... ни смешка, ни подначки. И Степку не задирать...

— Он же ищейка, шпионит за нами! — удивился Филька.— По следу ходит...

— Вот и не тронь его, не дразни.

Филька ничего не понимал.

— Что ж мне, замириться с ним? — насмешливо спросил он.— В обнимочку ходить. «Ах, братик, голубчик!» Да лучше я...

Что «лучше», Филька не договорил,— отец пребольно щелкнул его по голове согнутым в крючок пальцем и зашипел:

— Молчи, дурень! Я тебе еще толковать должен?! И замирись, если отец говорит. В струнку вытянись, притихни. Значит, так надо!.. Рано тебе еще своим умом жить. Да нам всем, может, землю грызть придется, на коленях ползать...

Филька на всякий случай отскочил в сторону. Но отец драться не собирался. Он только махнул рукой и подвернул фитиль в лампе.

— Спи давай! И чтоб завтра был как шелковый.

Потирая голову, Филька отошел к своей кровати. Это бывало не часто, чтобы отец щелкал его по затылку. «Замирись, притихни... Так надо». Видно, отцу сейчас приходится туго. Вздыхая и тяжело ворочаясь, Филька полез под одеяло.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Мягкое белое сияние заставило Степу открыть глаза и повернуть голову к окну. За окном валил снег, он уже прикрыл ржавую, окаменевшую дорогу, застывшую грязь и лужи, затянутые грязным, захоженным льдом, мусор и щепки около бревен. Улица выглядела чистой и белой, как вымытый и выскобленный к празднику пол в горнице, который еще не успели заследить. Тяжелые, влажные хлопья снега падали густой завесой и ложились всюду, где они только могли задержаться: на черные слеги изгороди, на бревна, на поленницу дров, на скамейку в палисаднике, на ступеньки крыльца и даже на желоб колодца.

«Зима... Пришла-таки»,— улыбнулся про себя Степа, и ему вдруг захотелось первому пройти по заснеженным ступенькам крыльца. Он пошевелил ногами, толстыми и неуклюжими от белых марлевых повязок, и приподнялся на локтях.

В избе никого не было. На стене тикали часы-ходики, на табуретке, около кровати, стояла крынка с молоком, лежал хлеб, на лежанке дремала кошка. Степа кинул взгляд на отрывной календарь на стене — вот уже восьмые сутки, как он лежит в доме у дяди. Но почему именно здесь? Почему Савин не притащил его в общежитие или не отправил в больницу? И что ему нужно, дяде Илье! Он уже несколько раз заходил в избу и заводил разговор о том, что Степа ему все-таки племянник, родная кровь, и он, дядя, его в беде не оставит. Да и вообще, говорил он, им надо помириться, забыть про старое, жить в ладу и согласии. Пусть племянник так и остается в этой избе вместе с Танькой.

В забытьи Степе начинало казаться, что, может, и в самом деле ему незачем враждовать с дядей и в чем-то подозревать его. Но, приходя в себя, мальчик готов был крикнуть дяде в лицо, что он не верит ни одному его слову и сейчас же уйдет из этого дома. Когда Степа делал попытку подняться с постели и вскрикивал от боли, Илья Ефимович успокаивал его:

— Ты лежи, поправляйся. Мы поговорим еще...

И Степа вынужден был лежать. В первые дни все тело саднило, горело, мучительно хотелось пить, и, забываясь на короткое время, он несвязно бормотал что-то про лошадей, про мешки с хлебом, про Митю Горелова.

Приятели не забывали Степу. Они забегали утром, до школы, приходили после занятий, лезли в избу, но Илья Ефимович строго-настрого наказал Тане никого к больному не пускать. Только Нюшка, минуя все запреты, пробиралась в избу и вместе с подругой ухаживала за Степой. Чаще всего заходил к Ковшовым Митя Горелов. Он приносил рябину, моченые яблоки, настойчиво заглядывал в окно, стараясь рассмотреть больного, или, упросив Таню с Нюшкой, пробирался в избу и подолгу сидел у

порога. Маленький, тщедушный, он в своем красноармейском шлеме с опущенными отворотами был похож на пришибленную, нахохлившуюся птицу.

Еще в воскресенье, когда Митя увидел изувеченного приятеля, у него словно что-то оборвалось внутри. Директор школы рассказывал, что Степа затеял лихую скачку и упал с лошади, а Мите почему-то казалось, что все это не так, что со Степой свел счеты дядя Илья или Филька, а может быть, и его отец. А ведь такое могло случиться и с ним, с Митькой Гореловым. Но Степа все принял на себя и вот теперь лежит, как пласт, изуродованный, избитый, весь в бинтах и повязках.

— Ну, чего ты сидишь, чего глаза мозолишь? — сердилась Таня.— Степе же легче не будет.

— Это ему из-за меня попало... Из-за меня,— бормотал Митя.— Надо бы нам вместе держаться...

Как-то раз к Ковшовым заглянул Матвей Петрович. Он долго смотрел на забинтованное лицо Степы, потом спросил, как к нему относится Илья Ефимович, хочет ли помириться.

— Хочет,— вполголоса ответил Степа.— А только зачем это?

— Все же он тебе дядя, родня...

Мальчик беспокойно заворочался в постели и, откинув одеяло, приподнялся.

— Рано еще вставать,— остановил его учитель.

— Матвей Петрович,— не слушая его, торопливо заговорил Степа.— Не верите вы мне. Думаете, я нарочно на дядю наговорил, выдумал все? А вот нет... Голову на отсечение даю!

— Почему ты думаешь, что я тебе не верю? — в свою очередь, спросил учитель. Он подошел к Степе и уложил его в постель.— Не волнуйся... Мне Митя и Таня обо всем рассказали. И я не могу не верить... Выдумать это невозможно. Тут, друг мой, другая загадка: куда Ковшов с Гореловым мешки с хлебом перепрятали, вот вопрос?

— Это я во всем виноват,— со вздохом признался Степа.— Надо бы мне сразу заявить о хлебе, а я все тянул.

— Да, кстати...— спросил Матвей Петрович.— Кому ты первому сообщил о мешках в подполье?

— Федору Ивановичу.

— В воскресенье утром?

— Нет... Накануне вечером.

— А почему обыск проводили утром?

— Федор Иванович сказал, что надо подождать Крючкина. А вечером Крючкина не было в деревне.

— Странно! А мне Крючкин сказал, что он весь вечер сидел в сельсовете...— Матвей Петрович пожал плечами.

Он пытался разобраться в событиях последних дней: загадочное исчезновение хлеба, падение Степы с лошади, необычная забота о нем Федора Ивановича, желание Ильи Ковшова помириться с племянником. Какая же связь между всем этим?

— Матвей Петрович, а вы что думаете?— осторожно спросил Степа.

— Нет, нет! Ничего особенного! — поспешил успокоить его учитель, но про себя подумал, что Степе следует быть настороже: мальчик слишком много знает о темных проделках в селе, и ему может не поздоровиться. «Надо будет Шурку предупредить, чтобы он Степу одного не оставлял».

— Матвей Петрович, я в общежитие хочу,— сказал Степа.— Чего мне здесь валяться?..

— Это, пожалуй, верно,— согласился учитель.— Полежи еще несколько дней — и вернешься.

Матвей Петрович попрощался и ушел. Степа остался один. На душе у него было тревожно и тоскливо. Почему Федор Иванович сказал ему неправду про Крючкина? Если бы они пошли с обыском к Горелову в субботу вечером, хлеб никуда бы не исчез. Зачем только директор оттянул обыск до утра? И почему он всегда так пристально смотрит на Степу? Может быть... Нет, нет, Степа не смеет об этом даже и подумать. Он хороший человек, Федор Иванович... Если бы не он, что сделал бы со Степой Красавчик? А как Савин тащил Степу на спине до самой деревни, как посылал за фельдшером!

* * *

Сейчас мальчик еще раз оглядел избу, прислушался и, осторожно спустив с постели ноги, встал. Тихонько сделал первый шажок. Что-то отдалось в правом колене, но терпеть можно. Придерживаясь рукой за стену, Степа добрался до двери, сунул ноги в какие-то опорки, накинул на плечи пиджак и вышел на крыльцо. Вот и молодой снежок на ступеньках! Как он свежо скрипит под ногами! Степа подобрал палку у крыльца и, опираясь на нее, пошел чистым, светлым переулком. За ним сразу пролегли четкие черные следы, проступила земля: слой первого снега был еще тонок и слаб.

Из-за угла вышли Шурка, Нюшка и Таня.

— Посмотрите только! — испуганно зашептала Таня, готовая броситься за братом.— Кто ему позволил?

— Погоди,— улыбаясь, удержал ее Шурка.— Пускай походит... Он почти и не хромает.

— А давайте считать, сколько он шагов сделает,— предложила Нюшка.

Считая вполголоса Степины шаги, Шурка с девочками тронулся вслед за приятелем. А Степа шел и шел. Он миновал амбар, старый, неприглядный сарай с похорошевшей от снега крышей, выбрался на застеленный белым руном огуменник и, расхрабрившись, даже забыл опираться на палку.

— Сто двенадцать шагов! — громко сказала Таня.— Эй, Степа! Хватит!

Мальчик обернулся и счастливо засмеялся. Подбежали опоздавшие Афоня и Митя. Всей компанией ребята вернулись в избу, заставили Степу, как он ни упирался, снова лечь в постель и принялись наперебой сообщать ему новости.

Позавчера в школе состоялся педсовет. Нюшка с Шуркой два часа просидели в пустом классе по соседству с учительской и через дверь подслушивали, о чем говорили учителя. Говорили о многом, но об исключении Степы из школы не было сказано ни слова. И больше того. Федор Иванович интересовался у ребят здоровьем больного и просил передать Степе привет.

Об обыске у Горелова кое-кто из школьников еще вспоминает, но уже редко. Теперь разговоры идут главным образом о колхозе. Его уже больше не зовут «чертовой дюжиной», в артель вошли еще десятка два мужиков. Артель назвали «Передовик», а председателем правления избрали Егора Рукавишникова. В школе началась запись в драмкружок: ребята сами будут сочинять про колхоз пьесы, стихи и частушки и выступать с ними перед крестьянами.

— Руководить будет Матвей Петрович,— сказала Нюшка.— Мы тебя тоже записали. Согласен?

Степа кивнул головой: какой может быть разговор! Вот только поскорее бы снять надоевшие повязки и вернуться в школу. В сенях кто-то затопал, дверь приоткрылась, и в избу вошел Филька Ковшов. Степа поднял голову.

— Тебе чего?

Прижимая к груди что-то округлое, завернутое в тряпицу, Филька неловко потоптался у порога. Потом подошел к Степе и поставил перед ним на табуретку глиняный горшочек, завязанный марлей.

— Мед это... Мать прислала... Поправляйся вот. А отец сказал... если хочешь, оставайся у нас в доме.

— Спасибочки,— насмешливо поклонилась Нюшка.— Он уже поправился.

— Все равно у нас лучше. Чего ему по чужим людям околачиваться?

Степа вспыхнул, с неприязнью оглядел Фильку.

— Уходи ты со своим медом. И знаешь куда...

— Подумаешь! Заелся на казенных харчах! — буркнул Филька, отступая к двери.

— Давай, давай! Скатертью дорожка! — Нюшка сунула ему в руки горшочек и подтолкнула к двери.— Не оступись, Филечка, медок не пролей... Он денежку стоит...

— И чего ему надо? — покачал головой Шурка, когда Нюшка, выпроводив Фильку, плотно закрыла за ним дверь.

— Я знаю, чего...— тихо и многозначительно сказал Митя, сидевший у порога.— Подсластить Степке хотят... чтобы всякие думки в голову не лезли...

— Какие думки? — не понял Степа.

— А вот какие...— Митя помолчал, оглянулся на дверь.— Скажи, ты помнишь, как с лошади падал?

— Ну, помню... Красавчика я разогнал... Он споткнулся, и я полетел через голову...

— На ровном-то месте — и споткнулся! — недоверчиво хмыкнул Митя.— А ты знаешь, что Филька с Фомой-Еремой в то утро тоже лошадей на озимя водили?

— И что? — Степа с недоумением посмотрел на приятеля.

— А может, они встретили тебя да и пуганули Красавчика. Вот лошадь и споткнулась... Филька, он такой, всякое умеет.

— Погоди, погоди,— остановил его Степа.— А ты видел кого-нибудь на дороге, когда я на Красавчике ехал?

— Откуда мне видеть? Я в деревне был.

— Так чего же ты болтаешь? — рассердился Степа.

Митя горестно развел руками. Потом вдруг вскочил, сорвал с головы шлем и, размахивая им, заговорил сбивчиво и возбужденно. Ну как Степка не понимает! Ведь он знает о Филькином отце такое, что тот, наверно, готов сжить его со света. И уж кто-кто, а Филька за своего отца постоит горой, и ему ничего не стоит не то что пугнуть лошадь, но избить Степу смертным боем или проломить ему кирпичом голову.

— Да ну тебя! — отмахнулся Степа.— Выдумываешь всякие страсти.

— Ничего не выдумываю! — Митя почти кричал на приятеля.— Хочешь, чтобы тебя со света сжили! — Он вытер шлемом взмокшее лицо и с тоской посмотрел на ребят.— А вы чего молчите?

Нюшка и Таня зябко поежились.

— А пожалуй, и верно,— хмуро согласился Шурка.— Дядя Матвей тоже об этом говорил. Ты, Степа, на рожон не лезь... В самом деле, может не поздороваться...— И он деловито принялся объяснять: Степе надо быть поосторожнее, от Филькиной компании держаться подальше и по вечерам одному никуда не ходить. Неплохо также на всякий случай иметь при себе увесистую палку.

— Вот-вот! — обрадовался Митя.

— Я тебе свинчатку достану,— шепнул Афоня.— Или болтик хороший... Карман не тянет, а может пригодиться.

— Будет вам! — взмолился Степа.— Вы еще охрану приставите!

— А ты слушай! Кому говорят! — прикрикнула на него Нюшка.— С волками жить — по-волчьи выть... Охрана не охрана, а ходить давайте кучно, все вместе... И за Филькой присматривать. А чуть что — сигнал подавать... Вот хотя бы так.— И она, сложив ладони коробочкой, с силой подула в щелочку между большими пальцами и гукнула филином. Изба огласилась протяжными, воющими звуками, словно ребята дули в пустые бутылки. Не получилось только у Тани, но Митя сказал, что он обучит ее гукать филином не хуже Нюшки.

— Игру затеяли! — фыркнул Степа.— Тоже мне детки-малолетки. Вы бы лучше не за Филькой — за дядей Ильей следили. Кровь с носу, а хлеб найти надо...

— А мы уже следим,— с таинственным видом сообщил Шурка.— Как тебя покалечило, мы слово дали: выведем Ворона на чистую воду, разоблачим его компанию. Это вроде как на войне: противник хитрит, петли вяжет,— ну, да мы тоже не лопоухие, смотрим в оба...

— И что же, высмотрели? — нетерпеливо спросил Степа.

— Да пока все тихо... ничего особенного. Видно, затаился Ворон, выжидает. С Гореловым он почти не видится... Только вот к нему директор школы часто заходит.

— Зачем это?

— Если бы знать...— вздохнул Шурка.

— А надо знать,— хмуро сказал Степа, оглядев ребят.— Приятного, конечно, не много — темные дела распутывать, да что делать. Зевать нельзя. Ухо держать приходится востро! И чуть что — тревога, сбор по сигналу.— И он, к немалому удовольствию Нюшки, гукнул филином.

«ФОРДЗОН»

Пролежав у Ковшовых еще дня четыре, Степа наконец вернулся в школу. Здесь творилось что-то несусветное.

В любой час — утром, до начала уроков, в перемены и особенно после занятий — ребята заводили бесконечные разговоры, и все об одном и том же: о колхозе.

Во всех подробностях они вспоминали последнее собрание взрослых — а собрания теперь проходили чуть ли не каждый день и кончались обычно под утро — и разыгрывали в лицах особо острые и забавные сцены, происходившие на этих собраниях. То женщины устроили на собрании такую перебранку, что не дали говорить Матвею Петровичу, то Прохор Уклейкин заснул на задней лавке, а кто-то швырнул его шапкой в лампу, разбил стекло и погасил свет.

В школе все мальчишки делились на многочисленные группы, в зависимости от того, как в эти дни вели себя их родители. Были «артельщики-коллективисты» — Степа, Шурка, Митя, Нюшка, были «барсуки», «подлипалы-подкулачники», «КВД», что означало «куда ветер дует». В эту группу входили те ребята, отцы которых то записывались в члены артели, то выходили обратно.

По примеру взрослых мальчишки спорили азартно, до хрипоты, не скупясь на соленые словечки, били шапками о землю и порой хватали друг друга за грудки. Нередко споры начинались даже на

уроках. Школьники одолевали учителей многочисленными вопросами: как люди будут работать в артели, как станут делить хлеб, молоко, навсегда ли эти колхозы или только на время, будут ли покупать ребятам обновки и какие: одинаковые или разные?

Учителя, сами еще многого не зная, пытались что-то отвечать, путались, сбивались и потом с ужасом обнаруживали, что на эти вопросы и ответы убита добрая половина урока.

Они шли к Федору Ивановичу и жаловались, что занятия превращаются в какие-то ребячьи сходки и педагоги ничего не могут поделать со своими учениками.

— Прошу не отвлекаться! — требовал Савин.— Школа есть школа, и мы должны придерживаться программного материала.

— Школа есть школа,— соглашался с ним Матвей Петрович.— А раз так, мы должны объяснить ребятам, что сейчас происходит в деревне.

— Может, вы по этому вопросу обратитесь в органы народного образования? — снисходительно усмехался Савин.— А пока прошу вас не нарушать школьных порядков.

Но порядки все равно были уже не те, что раньше.

Смолкал последний школьный звонок, ребята бежали по домам или в общежитие, наспех обедали и затем вновь возвращались в школу.

В зале собирался драмкружок. Школьники разучивали стихи, репетировали пьесу, мастерили и расписывали красками декорации.

В угловом классе раз в неделю занимался комсомольский политкружок. Руководил им Матвей Петрович.

Однажды на занятиях кружка Степа заметил преподавателя математики Георгия Ильича Шумова. Добродушный, мешковатый, в старомодной толстовке, с выбритой до воскового блеска головой, Георгий Ильич сидел рядом с Митей Гореловым и внимательно слушал рассказ Матвея Петровича о пятилетке, о коллективизации, о классовой борьбе, о том, что происходит сейчас в деревне.

— Чего это Шум к комсомольцам присоединился? — вполголоса спросил Степа у Шурки.

— А он политуровень повышает,— улыбнулся Шурка и сообщил, что Георгий Ильич записался в артель, у него есть свое небольшое хозяйство: корова, несколько полосок земли — и сейчас он заделался самым рьяным агитатором за колхоз. Ходит с Матвеем Петровичем по деревням и убеждает мужиков записываться в артель.

Как-то раз Афоня пришел в школу с поцарапанным носом.

— Жертва новой жизни и колхозного строя! — с хохотом встретил его Сема Уклейкин.— Расскажи, как ты вчера батьку с мамкой разнимал.

— Да ну их! — Афоня сконфуженно прикрылся ладонью.— Мать, та вконец против артели. «Одна,— говорит,— останусь, на корове буду пахать, а в колхозию не пойду...» А батька и туда и сюда кренится. То дома отсиживается, слушать никого не хочет, то на собрание бежит. Вчера мать его валенки в сундук спрятала, так батя ее новые полусапожки на босу ногу надел и давай ходу в школу. Только мать все равно уследила — и вдогонку за ним. «Иди домой,— кричит,— отдавай обувку!» Тут они и схватились... Я разнимать их начал, вот мне и досталось.

Ребята от души посмеялись над незадачливым приятелем.

— А все же за кого твой батька? — спросил Степа.— За артель или против?

— А кто его знает! И хочется и колется... Ежели бы, говорит, работящий народ подобрался, да с достатком, да еще бы трактор заиметь, тогда бы и в артели жить можно. А сейчас, говорит, все равно что шило на мыло менять. Из десятков кляч трактора не соберешь.

— Это так...— вздохнул Шурка.— Хорошо бы нашей артели железного конягу завести.

— Где они, тракторы? — спросил Митя.— Помните, Матвей Петрович про завод в Сталинграде рассказывал. Чего ж машины так долго к нам не едут?

И мальчики принялись мечтать о железном коне. Провести бы несколько субботников, собрать побольше железного лома, чтобы на вырученные деньги купить для артели трактор. Какой это был бы праздник в деревне! Смотришь, новенький трактор с броской надписью на радиаторе «Колхозу «Передовик» от Кольцовской ШКМ» с грохотом катится вдоль улицы. Вот тракторист останавливает машину у дома Василия Хомутова: «Смотри, барсук, смотри, рак-отшельник, какой теперь у нас железный конягa!» Потом трактор проходит мимо изб других единоличников и выезжает в поле. И «барсуки» выползают из своих нор и спешат записаться в члены артели.

Разговоры ребят о сборе утиля не забылись и на очередном комсомольском собрании вспыхнули с новой силой. Матвей Петрович сказал, что дело это стоящее и уже проводится во многих деревнях.

Собрание назначило Шурку Рукавишникова руководителем команды по сбору утиля и предоставило ему неограниченные права. Шурка подобрал надежную команду и не без поддержки Матвея Петровича добился от директора школы разрешения пользоваться шекаэмовской лошадью Царицей.

Затем началась подготовка к выезду. Шурка не спал две ночи, пока не сочинил частушки про утиль и трактор и вместе с Нюшкой не разучил их.

Через неделю Царица, запряженная в широкие розвальни, вышла в первый рейс. Грива и хвост лошади были украшены кумачовыми лентами, под дугой трезвонил медный колокольчик, а над передком саней возвышался фанерный щит с надписью: «Сдадим утиль — получим трактор!»

— Утиль берем! Старье берем! — голосисто выводил Шурка, подражая старикам-тряпичникам и понукая лошадь.

Остановив Царицу у очередной избы, Шурка с Нюшкой во весь рост вставали в санях и под задористый перебор Митиной балалайки, не щадя голосов, исполняли свои частушки.

Крестьяне охотно слушали, улыбались, посмеивались, потом спрашивали, какие у сборщиков расценки на утиль.

Тогда Степа разражался пламенной речью в защиту трактора и призывал собравшихся быть бескорыстными и щедрыми.

Иногда мужики и бабы бросали в сани кое-какую мелочишку, но чаще всего говорили, что трактор им ни к чему, от него хлеб воняет керосином, а коровы не дают молока.

Правда, выручали свои люди — школьники. Пока Шурка с Нюшкой распевали частушки, а Степа произносил речь, они, как ищейки, обследовали сени, чердаки, чуланы, кладовушки и вытаскивали на улицу смятые, перекошенные самовары, надтреснутые чугуны, старые печные дверцы и вьюшки, рваные галоши, бутылки, заношенные, дырявые юбки, штаны, рубахи.

Но матери довольно быстро раскусили хитрость ребят, и столь ценные вещи стали редко попадать в сани сборщиков утиля.

Шурка начинал терять веру в затеянное дело и однажды на расспросы Матвея Петровича об очередном выезде ответил довольно мрачно:

— Три часа ездили... Намерзлись, голоса надорвали, а утиля кот наплакал. На две гайки к трактору не собрали. Пустая это затея.

— Ничего, ничего,— успокоил Матвей Петрович.— Я слышал, как вы сегодня выступали. Все же слушают вас люди. И хорошо слушают. А что утиль не сдают — это понятно. Хозяйке всегда кажется, что в доме любая бросовая вещь пригодится.

И все же учитель задумался. Не посадить ли им школьный драмкружок на колеса, вернее, на сани?.. В школу на спектакли и концерты собирается не так уж много народу, а на санях ребята могут разъезжать по деревням, добраться до каждой избы. Кстати, они смогут развозить и брошюры, газеты, плакаты.

Новый план учителя школьникам пришелся по душе. На санях оборудовали что-то вроде крошечной сцены: поставили фанерные стенки, натянули занавес из мешковины, и агитсани принялись курсировать по Кольцовке и соседним деревням.

На улице лютовал мороз, березы стояли в искристом серебре. Царица, как попоной, покрывалась пушистым инеем, у школьников мерзли пальцы на руках и белели носы, но юным агитаторам сразу становилось теплее, когда их острое слово и озорная шутка вызывали раскатистый смех собравшихся.

Все же нельзя было забывать и про утиль. И там, где мужики и бабы довольно радушно встречали агитсани, Шурка не терялся и выступал со своими частушками.

Куча утиля в школьном сарае мало-помалу пополнялась, но и теперь, по Шуркиным расчетам, ее хватило бы не больше чем на одни колеса к трактору.

И вдруг ребятам повезло. В Малых Вяземах, где они выступили с особенным успехом, а Нюшку, Шурку и Митю за песенку о кулаках даже вызывали на «бис», к школьникам подошел юркий, сухонький старичок и, пожав всем руки, признался, что он и сам заядлый песельник и балалаечник.

— Записали бы вы мне на бумажку куплетцы свои,— попросил он.— Очень уж у вас хлестко получается, я на это кулачье племя вот как зол. За песни эти я вам не знаю что отвалю...

— Утиль у вас есть? Лом железный? — деловито осведомился Шурка.

Старик задумчиво поскреб подбородок.

— Что-то такое есть на примете... Гляньте вот.

Он вывел ребят за деревню, к пустующему хутору и, приоткрыв скрипучие ворота, впустил их в сарай. Здесь были свалены грабли, цепи, бороны, ржавые плуги, поломанная жатка; в углу, притрушенный соломкой, стоял трактор, и рядом с ним, вмерзнув в землю, лежал тракторный мотор.

Ребята завизжали от восторга.

— Это же клад, целое богатство! Да такое и во сне не приснится!

Шурка показал ребятам кулак и с деланным спокойствием сказал:

— Утиль как утиль! И нечего тут визжать!

Потом он спросил старика, кому все это принадлежит.

— Ведерникову, кулаку здешнему. Только он за темные делишки в тюрьму сел. Хлебом, толстосум, спекулировал. А семья его в город сбежала.— И, заметив горящие от нетерпения глаза школьников, старик раздобрился: — Да берите, берите этот хлам. Все равно другие растащат. А вы, я вижу, хлопцы правильные...

Ребята не заставили себя упрашивать. Подогнали к сараю сани и принялись нагружать их железным ломом. Шурка сразу же нацелился на тракторный мотор. С помощью ваги его оторвали от промерзлой земли и, немало попыхтев, взвалили на сани. Хотели увезти и самый трактор, но потом сообразили, что Царице его никак не стронуть с места.

В Кольцовку ребята вернулись в самом радужном настроении.

Матвей Петрович долго осматривал и выстукивал привезенный мотор.

— Американская марка... «Фордзон». Старье несусветное...

В этот же день он пригласил в школьный сарай деревенского кузнеца Егора Рукавишникова, учителя математики Шумова и даже уполномоченного по хлебозаготовкам Крючкина.

Шуркин отец, увидев мотор, так и припал к нему.

— Вот бы отремонтировать, поставить на колеса да пустить весной в поле. Какое бы это было подспорье для артели!

— А это уж как рабочий класс скажет! — Матвей Петрович лукаво посмотрел на Крючкина.

— Я, конечно, мало что в тракторах понимаю,— осмотрев мотор, признался уполномоченный.— Не приходилось еще нашему заводу с такими машинами дело иметь. Но кое-какие детали мы для вас, пожалуй, изготовить сумеем...

— Выручай, друг,— принялся упрашивать Егор,— подними там своих людей, растолкуй им... Один, мол, трактор в поле десяти агитаторов стоит...

— Матвей Петрович,— спросила Нюшка,— а если трактор починят, кто его водить будет? Вы?

— Да, Матвей,— обратился к нему Егор,— тебе тоже надо для артели поработать — садись с весны за руль. Не искать же нам тракториста невесть где!

— Да вот же они, трактористы! — засмеялся учитель, показывая на ребят.— И все первого класса... Степан Ковшов, Александр Рукавишников, Афанасий Хомутов, Дмитрий Горелов... Полным-полно трактористов.

Мальчишки, хотя и не совсем понимали, в чем дело, но, услышав свои имена, невольно вытянулись и замерли.

— Не шуткуй, Матвей,— нахмурился Рукавишников.— Ребятам, конечно, спасибо, что они мотор разыскали, но сейчас нам не до шуток...

— А я не шучу,— заговорил Матвей Петрович.— Ты, Егор пойми: через год — два сколько тракторов на колхозных полях будет? Сотни, тысячи... А кому же их водить, как не этим ребятам! Это же их будущее, завтрашний день!

— Ты к чему это речь клонишь?

— Спроси вот самих ребят.

— Тятька...— сказал Шурка.— Мы трактор изучать собираемся.

— Вот именно,— подтвердил Матвей Петрович.— Пора уже ребятам к технике привыкать, за мотор садиться.— И он, обернувшись к Шумову, спросил, не поможет ли тот организовать с ребятами изучение мотора.

Разведя руками, Георгий Ильич признался, что видит трактор впервые.

— Ну, это — дело наживное,— сказал Матвей Петрович.— Вы же физик, Георгий Ильич, вам и карты в руки...

— С превеликой охотой помогу,— согласился Шумов.— Но для начала мне, как видно, самому придется поучиться.

Шурка достал бумагу, карандаш и предложил сейчас же произвести запись в кружок юных трактористов. Мальчишки окружили его.

Нюшка с Таней стояли в стороне — про них словно забыли. Степа наклонился к Шурке и, кивая на Нюшку, что-то шепнул ему. Тот отмахнулся:

— Да ну тебя, Ковшик, не смеши! Куда им, свиристелкам! Это не сивку-бурку погонять.

Нюшка закусила губу и, схватив подругу за руку, сердито растолкала мальчишек.

— Записывай...— бросила она Шурке.— Ветлугина Анна... Ковшова Татьяна.

Кто-то из мальчишек фыркнул. Шурка прикрыл ладонью список и с недоумением посмотрел на Матвея Петровича.

— Всех мальчишек перебрали — трактористы первый класс,— с обидой сказала Нюшка учителю.— А мы, значит, девчонки-свиристелки... не годимся.

— Да нет, почему же,— опешил Матвей Петрович.— Если желаете,— пожалуйста. Записывай, Шура...

Шурка, тяжело вздохнув, послюнил карандаш и склонился над списком.

На другой день на санях, запряженных парой лошадей, из Малых Вязем привезли остов «Фордзона», а еще через день кружок юных трактористов приступил к занятиям.

АГИТАТОРЫ

В воскресенье Степа, Шурка и Нюшка отправились агитировать Афонииного отца. Вернее сказать, побеседовать с Хомутовым наедине было поручено преподавателю математики Шумову, а ребята увязались за ним.

Ради такого случая Георгий Ильич надел праздничную дубленую шубу черной покраски с расшитой узорами грудью и лисью шапку с острым суконным верхом. Учитель шел неторопливо, степенно, и ребята с нескрываемым уважением посматривали на него.

Им было чем гордиться. Не в пример другим учителям Георгия Ильича охотно принимали в крестьянских избах, и ему уже удалось вовлечь в артель двух упрямых мужиков. Не случайно Матвей Петрович и Егор Рукавишников направили сейчас Шумова к такому «барсуку», как Афонин отец.

— Георгий Ильич! — попросил учителя Степа.— Поговорите вы заодно и с Афоней. Чего он от всех бегает и учится еле-еле, словно из-под палки?

— Да, да, я уже слышал,— кивнул Георгий Ильич.— Жалуются на него учителя.

Афоня Хомутов в последнее время стал хуже учиться, часто пропускал занятия, сторонился приятелей. На все вопросы Степы и Шурки отвечал что-то невразумительное и после уроков спешил поскорее уйти домой.

Добравшись до дома Хомутовых, агитаторы долго стучали в калитку.

Наконец из сеней послышался голос Афони.

— Кто там? Если к батьке, так его нет... Он в лес уехал.

— Это я, Георгий Ильич,— ответил учитель.— И ребята со мной. Мы к тебе в гости пришли...

В сенях замолчали. Видимо, Афоня соображал, как ему поступить. Затем послышались шаги, он ушел в избу, вскоре вернулся и, молча открыв калитку, пропустил агитаторов в избу.

Здесь было тепло, пахло стружкой, свежим деревом, столярным клеем. Афонин отец, широко расставив ноги, стоял за самодельным верстаком и утюжил тяжелым фуганком сосновый брусок. Кремовая длинная стружка со свистом вырывалась из фуганка и змейкой обвивалась вокруг волосатой руки Василия.

Георгий Ильич поздоровался, обвел взглядом старую, низкую избу, прогнувшуюся матицу, дубовую подпорку под ней.

— Когда ж, Василий Силыч, новоселье справлять думаете?

— Хотел бы в рай, да грехи не пускают! — Хомутов отложил фуганок, снял с руки стружку и, сдержанно усмехнувшись, пригласил учителя пройти к столу.— Агитировать пришли! Просвещать! Мне уж давно сказывали: сам Георгий Ильич по домам ходит. Значит, и до меня очередь дошла. Ну что ж, давайте по-быстрому, пока жена из церкви не вернулась. Она этого духа вот как не любит. Ну-ка, Афоня, распорядись!

Стараясь не смотреть на ребят, Афоня быстро снял с лавки заготовленные, видимо, для рам бруски, смахнул с табуреток стружку и поставил их к столу.

— Вы, я вижу, с подкреплением.— Василий кивнул на ребят.— Ну, что скажете, молодые уговаривальщики?

— Мы вам книжек достали,— сказал Шурка, вытаскивая из-за пазухи пачку брошюр.— Насчет колхозов... Очень понятные... Почитайте вот.

— Читал, поди.— Василий отстранил брошюры.— Афоня их немало из школы таскает.

— А еще плакат принесли...

Нюшка выскочила и повесила на стену большой лист серой бумаги с крупными печатными буквами: «Без артели крестьянину из нищеты не выбраться».

— Видал, знаю! — Василий повернулся к сыну.— Сними: мать увидит — в клочья порвет. Ну, а ты с чем? — обратился он к Степе.

Тот пожал плечами и посмотрел на Георгия Ильича.

— Василий Силыч, уважаемый,— неторопливо начал учитель.— Я вам речей говорить не буду. Не люблю и не мастер. Давайте лучше подойдем к вопросу, так сказать, с цифрами в руках.— Он достал остро очиненный карандаш и записную книжку.— Нуте-с, что мы имеем? У вас в хозяйстве три десятины пахотной земли. В этом году вы намолотили шестьдесят пудов хлеба, накопали двадцать мешков картошки... Правильно? Овса еще собрали пудов пятнадцать, так? А вот у меня и другие данные есть.— Георгий Ильич перебросил две странички.— Сельскохозяйственная артель объединяет сорок хозяйств... Пахотной земли у них — сто семь десятин. Хлеба колхозники собрали три тысячи шестьсот пятьдесят пудов, картошки — тысячу двести семьдесят мешков. В прошлом году члены артели построили новый скотный двор, два овощехранилища, купили конную молотилку. Вот давайте и решим задачку, Василий Силыч, кому вольготнее живется на Руси: вам или члену артели?

Василий беспокойно заерзал на табуретке.

— Что это за артель такая хваленая?

— Артель называется «Заре навстречу». Находится в селе Дубняки. Не так уж далеко от нас.

Степа вздрогнул и с недоумением посмотрел на учителя: «Откуда он знает про Дубняки?»

— Вы сами-то бывали там? — спросил Хомутов.

— Лично не довелось,— признался Георгий Ильич.— Списался с ними, мне и прислали все данные.

— Бумага все терпит,— недоверчиво хмыкнул Василий.— Можно и прихвастнуть ненароком.

— Допустим, вы сомневаетесь. Тогда приведу другой пример,— заговорил учитель, вновь берясь за карандаш.

— Обождите, Георгий Ильич,— поморщившись, перебил его Василий, подходя к двери и прислушиваясь.— Кажется, ходит кто-то... Посидите тут, я сейчас...— И он вышел в сени.

Георгий Ильич и ребята остались ждать.

На стене мерно тикали часы-ходики с чугунной гирькой, отлитой в форме еловой шишки. По столу несколько раз бойко пробежал рыжий таракан. Облезлая кошка дважды спускалась с печки и тыкалась мордой в пустое блюдце.

Георгий Ильич, постукивая карандашом, то и дело поглядывал на дверь.

— Скоро он там? — вполголоса спросил Степа у Афони.

Афоня молчал. Потом подошел к двери и нажал на нее плечом. Дверь не поддавалась.

— Так и есть,— виновато признался Афоня.— Ушел батя... И дверь запер.

Степа и Шурка вскочили из-за стола и по очереди толкнулись в дверь. Она действительно была чем-то снаружи приперта.

— Батя всегда так,— пожаловался Афоня.— Как надоест кого слушать, так и уходит...

— Да-с, положеньице! — усмехнулся Георгий Ильич, не проявляя особого беспокойства.

Шурка заявил, что это — неслыханное издевательство над агитаторами, и предложил высадить дверь.

— Зачем же так? — остановил его учитель.— Посидим, подождем. Да!.. Между прочим, не заняться ли нам математикой? Нуте-с, присаживайтесь...

Афоня оделил всех бумагой, карандашами, достал учебник. Георгий Ильич спросил его, что было задано по математике на завтра. Афоня неуверенно открыл учебник и показал задачу.

— Э-э, нет, братец, это уже пройденный этап,— заметил учитель.— Да ты, Афанасий, вчера опять, кажется, не был на занятиях?

— Не был...— признался Афоня.

Георгий Ильич пытливо посмотрел на мальчика.

— Послушай, дружок... Это как же понимать? Тебе что, учение не по душе? Видно, придется мне о твоем поведении с батькой поговорить.

— Ни к чему это,— вяло сказал Афоня.— Он и слушать не будет.

— То есть как это «слушать не будет»! — начал сердиться учитель и по привычке постучал ногтем по ободку очков.— Он родитель тебе или нет? Василий Силыч всегда интересовался твоими успехами. В школу заходил... И вдруг, пожалуйте.

Афоня молчал, опустив голову. Георгий Ильич погрозил ему пальцем и полез из-за стола.

— Тут, братец мой, что-то не так. Я сейчас же должен все выяснить.— Он толкнулся в дверь, но, вспомнив, что та закрыта, с досадой махнул рукой и вновь обратился к Афоне.— Так-с! Школьник Хомутов, не желая учиться, перекладывает свою вину на родного отца. Очень похвально!

Лицо у Афони пошло пятнами.

— Георгий Ильич! — вскочил он.— Это... это неправда... Вы знаете, что с батькой делается? Знаете? — Он вдруг сорвал с гвоздя на стене школьную холщовую сумку, порылся в ней и, вытащив какую-то бумажку, протянул ее учителю.— Вот... смотрите.

Георгий Ильич отошел к окну. Прочтя бумажку, он дернул головой, потом снял очки, зачем-то протер стекла, еще раз пробежал бумажку глазами и озадаченно покачал головой:

— Вот оно как бывает!

Степа, Нюшка и Шурка с любопытством вытянули шеи. Что там за бумажка? Она была кургузая, с неровными краями, затертая, с кусочками засохшего хлебного мякиша по углам. Учитель посмотрел на ребят.

— Слушайте и вы.— И он вслух прочел: — «Хомутов! Колхоз не для таких, как ты! Хочешь носить голову на плечах — сиди дома, как барсук в норе. Не дорожишь собой — пожалей семью! Твои доброжелатели».

Ребята невольно сжались и пригнулись к столу, словно их прибило холодным колючим дождем.

— Где ты нашел эту записку? — спросил учитель.

— К калитке была приклеена.... хлебом,— объяснил Афоня.— И другие записки были. В сарай подбрасывали, под дверь подсовывали. Вот батька и мечется. Злой стал, не подступись. Он из деревни уехать хочет... А мне, говорит, и учиться незачем...— Афоня тоскливо посмотрел на учебники, на тетради, потом взял из рук учителя записку.

— Оставь,— сказал Степа.— Надо ее Матвею Петровичу показать или Крючкину...

— Нет, нет! — испугался Афоня.— Батька никому не велел показывать. Еще хуже будет. Это я только вам.— Он сунул записку в сумку и умоляюще посмотрел на учителя.— Георгий Ильич! Не ходите вы к батьке. Не уговаривайте. Он и так как больной... За нами следят, все видят.

— Ну, Афанасий, нельзя так. Будь посмелее.— Учитель потрепал мальчика по спине и обратился к ребятам: — О записке надо сообщить. Видите, как враг-то орудует. Последние дни чует — вот и беснуется. Где пулю, где слушок пустит, где записку подбросит... Вот вам и урок обществоведения...

В сенях раздались шаги, дверь распахнулась — и Василий с женой вошли в избу.

— Вот все и обошлось,— усмехнулся Афонин отец, заметив, что ребята с учителем, обложившись тетрадями, сидят за столом.— Я дров нарубил, и вы, видать, делом занялись.

Катерина, высокая, сухая, в черном платке, поджав губы, недружелюбно оглядела школьников, Георгия Ильича и прошла за перегородку, к печке.

Учитель поднялся из-за стола.

— Не обессудьте, Георгий Ильич,— сказал Василий.— Поговорить нам не удалось.— Он покосился на перегородку, за которой жена ожесточенно гремела посудой, и, понизив голос, с болью признался: — Занозистая задачка мне досталась. Думаю, голову ломаю, а решить не могу.

Ребята вышли вслед за учителем.

В сенях Степа замедлил шаги. Ему показалось, что он чего-то не доделал, не досказал. Он вдруг повернул обратно и бросился к Афониному отцу.

— Дядя Вась! Если вы боитесь чего... Моему отцу тоже грозили, а он все равно смелый был. И вы не бойтесь! — Степа вытащил из кармана гимнастерки заметку и сунул Василию в руку.— Почитайте вот...— И выбежал за дверь.

ДУБНЯКИ

К концу недели Василий Хомутов исчез из деревни. Случилось это, видимо, очень рано утром, когда в доме Хомутовых все еще спали. Проснувшись и не обнаружив в постели Василия, Катерина решила, что ее беспокойный муж ни свет ни заря уехал в лес за хворостом. Но, выйдя во

двор, Катерина увидела на привязи у яслей заиндевелую лошадь, в переулке приметила запорошенные снегом сани, и сердце ее замерло.

Она вбежала в избу и растолкала Афоню.

— Сынок! Отец-то наш...

Афоня вскочил, как от крика «горим!»

И без того в последние дни Хомутовы жили тревожно, ночью просыпались от каждого стука, калитку в сенях, кроме того, что закрывали на засов, подпирали еще тяжелым дубовым чурбаком.

Заметив встревоженное лицо матери, Афоня с деланной сонливостью зевнул.

— Он, должно, к Маркелу в Заречье пошел. Двери выторговывать для нового дома...

— В такую-то рань...— не поверила мать.— Еще черти на кулачки не сходились.

Все же они решили подождать отца до полудня.

Чтобы еще больше успокоить мать, Афоня даже отправился в школу. Но на первом же уроке выяснилось, что он положил в сумку не те учебники, какие были нужны, и забыл дома пенал с карандашами и ручкой. Учителям он отвечал невпопад и, не расслышав, о чем его спрашивали, просил повторить вопрос. На уроке обществоведения Афоня занял за партой Шуркино место — оно было у окна,— продышал в опушенном крупитчатым инеем стекле круглый глазок и все время смотрел на улицу (дорога из Заречья проходила мимо школы).

— Может, тебя срочные дела ожидают? — спросил Афоню Матвей Петрович.

— Ага! — кивнул Афоня, посмотрел на учителя отсутствующим взглядом и вновь припал к «глазку».

Но отец не показывался. Афоня вспомнил, что он еще на прошлой неделе разругался с Маркелом, который заломил за двери несусветную цену. Тогда пришло на ум другое: подметные письма, записки с угрозами. Афоня вздрогнул и принялся торопливо собирать учебники. Матвей Петрович вновь прервал урок.

— Дела, я вижу, не только срочные, но и весьма важные,— шутливо сказал он.— Тогда сделай одолжение, иди!

— И то пойду!.. Нужно мне,— согласился Афоня и, провожаемый удивленными взглядами учителя и ребят, вышел из класса.

В перемену Матвей Петрович, отозвав Степу и Шурку в сторону, попросил их сходить к Хомутовым: не иначе у них в доме что-то случилось. Переглянувшись с Шуркой, Степа рассказал учителю о записке «доброжелателей», которую получил Афонин отец.

— Почему раньше не сказал? — рассердился Матвей Петрович.— Такие дни, а вы в молчанку играете...

— Так Афоня же просил...— сконфуженно признался Степа.— Он за отца боится.

Матвей Петрович попросил учителя математики занять его урок и, пригласив Степу с Шуркой, отправился к Хомутовым. Там уже билась в слезах Катерина. Ее утешали соседки, говоря, что Василий где-нибудь загулял и к ночи непременно притащится домой. Да и как не загулять от такой жизни, когда все кругом трещит, рушится, полно слухов и недомолвок. За крыльцом Афоня прилаживал к валенкам широкие, с круто вздернутыми носами лыжи.

— Матвей Петрович, вы-то зачем? — удивился он, увидев учителя и ребят.

«А дела-то действительно серьезные»,— подумал Матвей Петрович и спросил Афоню, где он думает разыскивать отца. Мальчик поспешно наклонился и зачем-то стал развязывать ремешок на валенке.

— Не знаю...— глухо ответил он.— Метет в поле, следов не видно.

Вернувшись в школу, учитель вызвал с уроков еще четверых комсомольцев, и вскоре небольшой отряд лыжников вышел на поиски.

В поле посвистывала поземка. Сыпучий, сухой снег с шорохом скользил по возвышенным местам, курился в низинах, оседал острогранными сугробиками у каждой сухой былинки.

Лыжники заглянули в пустые, холодные овины, обшарили все овраги, прочесали по-зимнему убранные Замызганки, просмотрели заснеженную реку: нет ли где на ней свежей проруби или не затянутой льдом полыньи.

На другой день на поиски вышли Егор Рукавишников, Аграфена, Игнат Хорьков и еще несколько взрослых. Но Василий Хомутов исчез бесследно.

Афоня почернел от горя, еле передвигал лыжи, и ребята запретили ему выезжать на поиски. Катерина бегала то к попу, то к гадалке, дома жгла лампадки и во весь голос причитала, что это колхоз погубил ее мужа и сделал детей горемычными сиротами.

На третий день утром к Хомутовым заехал незнакомый мужик в оранжевом тулупе, долго крестился на угол с иконами, потом, выпросив чарку водки, сообщил Катерине, что привез ей от хозяина поклон. Он видел Василия в Пустоваловке, километров за двадцать пять отсюда; тот сидел в сельской чайной, уплетал яичницу и о чем-то толковал с мужиками. Василий просил передать, что он жив, здоров, но домой вернется еще не скоро: надо ему побродить по округе, поговорить с людьми.

Катерина решила, что муж, перепугавшись неизвестной артельной жизни, совсем рехнулся и сбежал из дому. Забыв свои недавние страхи, она принялась собираться в Пустоваловку.

— Уж я его разыщу... пропишу ему яишенку, чай с сахаром! — грозила она.

— Мама, а давай я съезжу,— предложил Афоня.— Дома же у тебя скотина, Никитка.

Мать подумала и согласилась, посоветовав сыну прихватить с собою для смелости кого-нибудь из приятелей. Афоня вспомнил про Шурку и Степу. Кого из них взять? Шурка, как и Афоня, никуда не выезжал из деревни, а Степа — парень бывалый, тертый калач. И Афоня пригласил Степу. Тот не колебался ни минуты.

Распрощавшись со всеми, Афоня и Степа тронулись в путь...

Метель утихла еще накануне, в лицо светило невысокое зимнее солнце, и мороз вел себя совсем сносно: не кусал щек и ушей, не забирался нахально в рукава и за спину.

В сумерки мальчишки добрались до большого села Пустоваловки.

Отыскали сельскую чайную и принялись расспрашивать продавца о Василии Хомутове: мол, высокий такой, плечистый, с черной бородой, в мохнатой бараньей шапке.

— В шапке, говорите? С бородой? — переспросил продавец.— Кажется, сиживал такой чудак. На чай налегал крепко...

— Чай он любит! — обрадовался Афоня.— В жару ведерный самовар выпивает.

— Тогда он самый! Все с мужиками спорил... О нашем колхозе их допытывал: что да как. Потом по хозяйству ходил, примеривался ко всему.

— Это батя мой,— окончательно уверился Афоня.— Где он сейчас?

— Собирался на Дубняки податься...

— В Дубняки? — вскрикнул Степа.

— Я, говорит, не я буду, а в Дубняках побываю. Это верст за сорок отсюда,— пояснил продавец.

— И зачем ему в такую даль переть? — пожаловался Афоня приятелю.— Мать и без того ругается. Теперь вот шлепай за ним. А ты еще ногу натер.

— Это же здорово! — Степа потряс Афоню за плечи.— Помнишь, Георгий Ильич про Дубняки отцу рассказывал... И цифры всякие приводил. Помнишь? Давно бы дяде Васе в Дубняки сходить надо.

— Ну и сходит,— махнул рукой Афоня,— пощупает, понюхает... А потом опять в берлогу да лапу сосать. Знаю я своего батю!

— А ты тоже хорош... Хомутов-второй! — упрекнул его Степа.

— Уж какой есть! — буркнул Афоня.

Немного досадуя друг на друга, мальчишки почти без сна провели ночь в чайной, а утром отправились дальше. В деревнях, что встречались по пути, они старались узнать, не пил ли у кого чай рослый, бородатый мужчина в бараньей шапке. И люди нередко подтверждали, что действительно такой мужчина у них чаевничал и все расспрашивал дорогу на Дубняки. «Правильно идем, по следу»,— думал Степа, и у него сжималось сердце: ведь скоро Дубняки, которые ему никогда не забыть!

* * *

На второй день около полудня, поднявшись на увал, мальчишки увидели черные стены изб на белом снегу, а на пригорке — голый, просвечивающий белесым небом парк.

Это были Дубняки. Степа на минуту приостановился, перевел дыхание и, подхватив Афоню под руку, прибавил шагу.

— Дай хоть отдышаться,— взмолился Афоня.— Сам ведь хромаешь.

Дядю Василия мальчишки нашли не сразу. Сначала им сказали, что «ходок из Кольцовки», как здесь уже прозвали Василия Хомутова, осматривает коров. Степа с Афоней пошли на скотный двор. Черно-белые, одна в одну, коровы стояли в стойлах и, шумно вздыхая, жевали сено. Шла обеденная дойка. Доярки сидели около коров на низеньких, словно игрушечных, скамеечках. Струйки молока со звоном ударялись в жестяные подойники, и казалось, что в коровнике кто-то трогает балалаечные струны.

В углу, бренча цепью, возился сытый, гладкий бык, лениво толкая бревенчатую стенку страшным, как дубовый заостренный кол, рогом. Почуяв посторонних, бык выгнул шею, отчего кожа на ней собралась в гармошку, скосил на ребят лиловый, как слива, глаз и вдруг протяжно и трубно замычал. Мальчишки шарахнулись в сторону.

— Э-эй, кто там Кузнечика дразнит? — раздался голос, и к ребятам, катя перед собой тачку с навозом, подошел скотник в кожаном фартуке.— Опять на ферму самопером пробрались... без учителя. Сказано вам: бычина посторонних не любит, аппетиту лишается!

Степа сказал, что они совсем не из местной школы, а из Кольцовки и пришли сюда, чтобы найти Василия Хомутова.

— Шут вас угадает,— развел руками скотник.— Все вы на одну колодку. А ваш кольцовский был здесь, был. Два часа по коровнику лазил. Как ревизор какой. Коровам все хвосты перещупал. Сам удои замерял. Еле отвязались от него.

— А где он теперь? — спросил Афоня.

— За лошадей, поди, взялся,— сказал скотник.

Ребята отправились на конюшню. Здесь они узнали, что «ходок из Кольцовки» уже заходил сюда, устроил коням полный осмотр, а сейчас председатель артели повел его смотреть машины.

Наконец ребятам повезло. Они нашли Василия Хомутова в колхозном амбаре. Подвернув рукава шубы, Василий загребал из сусеков полные пригоршни ржи, овса, гречихи, пересыпал зерно с ладони на ладонь, наклонялся к нему, чтобы лучше рассмотреть, вдыхал его запах. Особо заинтересовало Афониного отца льняное семя. Скользкое, золотистое, оно вытекало из ладоней, как вода, и Василий вновь и вновь погружал в сусек руки.

— Доброе зерно, отменное,— бормотал он.— Я, пожалуй, возьму на разживу щепоточку.

— Сделайте одолжение! — Председатель артели, пожилой бритый мужчина в полушубке, свернул из газеты фунтик и, наполнив его льняным семенем, с улыбкой протянул Хомутову.

Василий убрал фунтик в карман. И тут в дверях амбара он заметил Афоню и Степу.

— Вас откуда принесло?

— А мы тебя ищем,— с обидой сказал Афоня.— Ушел, ничего не сказал... Мамка с ума посходила...

И он, подмигнув Степе, принялся расписывать на все лады, как кольцовские мужики и ребята всей деревней разыскивали отца по лесам и оврагам.

— Ну, ну...— сконфуженно затоптался на месте Василий.— Я ж передавал: жив, здоров. Зря там переполошились.

— И совсем не зря. Уйди я или мамка, ты что бы стал делать? — продолжал донимать отца Афоня и, наконец, строго спросил: — Когда домой тронем?

— Теперь можно и домой.— Василий покосился на председателя артели, еще раз окинул взглядом сусеки с зерном и чуть приметно улыбнулся: — Теперь можно!

Из амбара все пошли к правлению колхоза. Степа шагал позади всех и вглядывался в знакомые места. Все ему здесь было памятно и дорого. Вот старый парк, где он бегал с сестренкой, вот сквозь деревья виден бывший помещичий дом. В нем когда-то находилось правление коммуны. Степа помнит, как отец, с молотком в руках поднявшись по лестнице, прибивал к стене дома железную вывеску и кричал ему: «Эй, коммунар, смотри вверх! Правильно прибиваю, не перекосил?»

А вот и она, железная вывеска. Только надпись на ней немного другая: «Правление Дубняковской сельскохозяйственной артели «Заре навстречу». Но последние два слова те же, что и при отце, написаны крупными красными буквами и хорошо заметны издали. Перед домом на заснеженной поляне, заслонив полнеба, одиноко высится могучий, раскидистый дуб. Он жестко шелестит бурой, пожухлой, еще не успевшей облететь листвой, словно зовет мальчика подойти поближе. Степа поискал глазами тропинку и, не найдя ее, полез к дубу прямо через сугроб. И сразу же ноги его выше колен провалились в рыхлый снег.

— Куда тебя понесло? — оглянувшись, спросил Афонин отец.

Но Степа ничего не слышал. Придерживая валенки за голенища и с усилием вытаскивая их из сугроба, он, как одержимый, шаг за шагом вспарывал

снежную целину. «Забыли... никто и не ходит»,— подумал мальчик. Но вот ноги его нащупали что-то твердое — тропинка! Узенькая, припорошенная мягким снежком и почти неприметная для глаза, она тянулась от дороги к дубу, через весь сугроб. Степа выбрался на тропинку. Как же он ее не заметил раньше? Значит, ходят люди, помнят... Мальчик, притопнув валенками, стряхнул снег и с облегчением прибавил шагу. Председатель артели понял Степу.

— Пойдемте, Василий Силыч,— позвал он Афониного отца и свернул на тропинку.— Это вам тоже посмотреть надо.

А Степа был уже около дуба. У подножия дерева, до половины занесенный снегом, виднелся невысокий дощатый обелиск. На верху его была укреплена пятиконечная звезда, вырезанная из светлой жести. Степа притоптал снег вокруг обелиска и поправил прислоненный к нему заиндевевший снопик ржи. Искристый, колючий иней покрывал обелиск, мешая разобрать надпись. Степа наклонился, смахнул варежкой иней, потом несколько раз провел голой теплой ладонью по дощатой стенке обелиска, и на ней четко проступила надпись: «Здесь похоронены убитые врагами первый председатель сельскохозяйственной коммуны «Заре навстречу» Григорий Ефимович Ковшов и его жена».

К могиле подошли председатель артели и Афоня с отцом. Прочтя надпись на обелиске, Василий медленно снял шапку и посмотрел на Степу. Тот стоял, плотно сжав губы, устремив глаза в одну точку, забыв надеть на закоченевшую руку варежку.

— А ведь это сынок Григория Ефимовича,— шепнул Василий председателю артели, показав глазами на Степу.— У нас живет, в Кольцовке.

ТРОНУЛИСЬ!

Утром председатель артели распорядился запрячь в возок лучшую лошадь и доставить Василия Хомутова с ребятами в Кольцовку. Всю дорогу Василий дремал или, молча потягивая самокрутку, вглядывался в накатанную до блеска дорогу, в синие дымки над избами, в снежную, слепящую светом даль за очередным увалом. Ехали быстро и первую остановку сделали только в Пустоваловке. Пока ребята закусывали в чайной, Василий куда-то исчез и вернулся минут через двадцать. Волосы у него были подстрижены под кружок, борода и усы аккуратно подправлены.

— Так-то вот... ходоки! — Василий загадочно усмехнулся.— Живем, значит, хлеб жуем...

Домой вернулись на другой день в сумерки. Несмотря на грозные окрики жены, Василий затопил баню.

— Ты не уходи... побудь с нами,— попросил Афоня Степу.

Василий попарился, переоделся в чистое белье и послал ребят узнать, когда будет сельский сход.

— Да уж сходуют, поди...— насторожившись, ответила Катерина.— Вчера до полуночи галдели... И ныне опять за то же.

Василий надел полушубок, перекрестился на киот с иконами, что с ним случалось довольно редко, и, отстранив вцепившуюся в рукав жену, шагнул к двери.

— Пойду, Катерина! Не обессудь! Надо и нам к твердому берегу прибиваться.

Катерина с воплем кинулась за мужем.

Появление Василия на собрании было замечено сразу. Заглушив речь какого-то нового уполномоченного из города, мужики и бабы разразились веселыми восклицаниями и выкриками.

— Все? Выговорились? Прочистили горло? — Василий строго оглядел собрание и, сняв шапку, шагнул вперед.— Теперь я скажу.

— Василий Силыч... уважаемый,— остановил его Савин: он вел сегодня собрание.— Товарищ из города еще не закончил своего доклада. Нельзя ли в порядке очереди?

— Нельзя ему ждать! — неожиданно выкрикнул от порога Афоня и, испугавшись своей смелости, спрятался за чью-то спину.

Степа одобряюще сжал приятелю локоть и шепнул:

— Правильно, Афоня...— и, чувствуя, что сейчас произойдет что-то необычное, вытянул шею, чтобы лучше видеть дядю Василия.

Савин пошептался с уполномоченным, с Егором Рукавишниковым, которые сидели рядом с ним за столом, и снисходительно кивнул Хомутову.

— Так и быть, говорите. Сделаем для вас исключение. Только пожалуйте к столу...

Василий развернул плечи, по-бычьи склонил голову, но к столу не пошел.

— Поездил я по округе, мужики, посмотрел...— как бы раздумывая вслух, заговорил он,— в Дубняках побывал. Есть там такая артель «Заре навстречу». Я у них все выглядел. Справно люди живут, в согласии, дело ведут с умом. К слову сказать, зачинал ту артель наш земляк,— Василий кивнул на Степу,— вот его батька, Григорий Ковшов. Сами знаете, что с ним стало... Постоял я на его могиле, подумал: «Погиб человек, а колхоз живет, здравствует, значит, правильно зачинал Григорий, от хорошего шел».— Он оглядел мужиков с таким видом, словно хотел сказать, как говорил обычно весной или летом: «Потеплело, мужики, пора и сеять», «Дошла ржица, можно и жнитво начинать».— И вот вам мой сказ: нас Советская власть не к плохой жизни толкает. Болтаться, как дерьмо в проруби, нам вроде и не пристало. Надобно прибиваться к какому-то берегу. А твердый берег у нас один...

— Да не слушайте вы его, беглого греховодника! — закричала Катерина, проталкиваясь к мужу.

— Помолчи! — прикрикнул на нее Игнат Хорьков.— Дай послушать! — И он попросил Василия побольше рассказать о Дубняковской артели. Кто-то дернул Катерину за полу шубы и усадил рядом с собой.

Василий оживился, потрогал бородку и охотно заговорил о коровах и лошадях, о машинном сарае, об амбаре с полными сусеками зерна. Потом, достав фунтик с льняным семенем, разрешил мужикам заглянуть в него и потрогать семя пальцами, но не больше. А еще таинственно, словно по секрету, сообщил он о том, что лен в артели «Заре навстречу» — золотая жила и что дубняковский председатель не прочь ссудить урожайными семенами кольцовских мужиков, если они, конечно, станут колхозниками.

— А ты оборотист, Василий,— заметил Хорьков.— Не зря, выходит, ноги трепал.

— Коль на артель поворот, пора и о хозяйстве подумать,— разведя руками, согласился Василий.

Катерина, зажатая между двумя дюжими парнями, все еще порывалась помешать мужу говорить, обзывала его «чумовым», «бессовестным», «рехнувшимся», грозила: «Вот я тебя дома...»,— но ее почти не слушали, да и сама она умолкла и, сняв с головы шаль, принялась вытирать распаренное лицо.

К удивлению Степы, мужики не кричали, как обыч-

но. Они собирались группами, закуривали, вполголоса переговаривались.

«Ну, что вы топчетесь, чего ждете? — хотелось Степе подтолкнуть их.— Все же ясно, как на ладони... Идите, записывайтесь поскорее!»

За столом президиума Егор Рукавишников о чем-то вполголоса переговаривался с уполномоченным из города.

— Тише, граждане! — постучал по графину Федор Иванович.— Сейчас товарищ уполномоченный продолжит свой доклад.

Уполномоченный поднялся и заявил, что он от продолжения доклада отказывается и предлагает сразу перейти к прениям.

— Что там к прениям! — подхватил Егор Рукавишников.— Василий Силыч яснее ясного доложил... Давайте поддержим его... Да подружнее, всем миром.

Первым отозвался Игнат Хорьков. Он поднялся над головами мужиков, как верстовой столб, и с такой силой шлепнул шапкой по ладони, что выбил из нее облачко пыли.

— Эх, была не была! Раз Хомутов передом пошел, оно и нам не так страшно. Пиши, Егорий, иду следом!

И мужики тронулись. Один за другим они поднимались со скамеек и подходили к столу, где Егор Рукавишников, достав старый, памятный Степе список, заносил в него новых членов артели. Егор явно не справлялся с непривычным делом: слишком часто клевал ручкой в чернильницу, перо брызгало, рвало бумагу.

Степа поднялся с места и хотел уже было вызваться помочь, но Егор не заметил его и попросил вести список Федора Ивановича. Не успел Савин приступить к делу, как из задних рядов попросил слова Илья Ефимович. Степа с удивлением покосился на дядю: на собраниях тот обычно молчал и до конца не досиживал. О чем же собирается дядя сказать сегодня?

— Покаюсь, граждане,— заговорил Ковшов, подходя к столу.— Я ведь тоже, как Хомутов, на перепутье стоял, колебался... Все думал в Дубняки поехать, посмотреть, что там после моего брата осталось. Да вот не удосужился. Опередил меня Василий Силыч. Но я ему верю. Человек он справедливый, совестливый, хозяин что надо... И раз на артельную жизнь повернул, не годится и нам отставать.

— Прикажете записать? — подняв голову, спросил Савин.

— Согласен. Вступаю! — почти торжественно заявил Ковшов.— Всей семьей. И других хозяев зову... Пусть все видят, какие мужики в Кольцовке. Мы с нашей властью всегда заодно.— И он кивнул Савину.— Записывайте, Федор Иваныч... Чего там других задерживать!

— Скажи на милость, и Ковшов тронулся,— не то удивленно, не то недоверчиво произнес кто-то в углу.

Федор Иванович, обмакнув перо в чернильницу, склонился над списком, но его остановил Егор Рукавишников.

— Обождите,— вполголоса сказал он.— Пусть раньше люди скажут.

— Семью в колхоз, а коровок с лошадьми куда? — подала голос Аграфена, обернувшись к Илье Ефимовичу.

— Как по закону полагается! — с достоинством ответил Ковшов.— Все в артель сдаю — всю живность, все постройки... Хоть сейчас забирайте.

— А с хлебом как быть? — спросил Егор.

— Сам знаешь, обидели меня... Но я голеньким в артель не приду... Разорюсь, последнее продам, но семена на посев раздобуду.— Ковшов мельком скользнул по фигуре Рукавишникова и обратился к собранию: — Решайте, граждане! Если не угоден Илья Ковшов, можете, конечно, и воздержаться... Только я от чистой души прошусь. Вижу, что настоящий мужик в артель пошел, работяга, будет с кем хозяйство вести...

— Так какое же ваше мнение, граждане? — выдержав паузу, спросил Рукавишников.

— Не худо бы пока и воздержаться,— сказала Аграфена, но ее голос сразу потонул в гуле возмущенных выкриков.

Опять эта Грунька мутит людей! Илья Ефимович готов записаться в артель, отдает все свое хозяйство, а перед ним закрывают двери, подозревают в каких-то грехах. А кто же из мужиков без греха, если поглубже покопаться!

Василий Хомутов сердито доказывал Аграфене, что такого серьезного и умственного хозяина, как Илья Ковшов, следует не только что принять в артель, но даже избрать в члены правления. Игнат Хорьков через головы мужиков кричал Егору, что артель — дело добровольное, командовать тут не годится, а надо слушать, что говорят люди. Егор развел руками:

— Ваша воля, граждане... Принять так принять. Записывайте, Федор Иваныч.

Степа зябко поежился и прижался к стене. Ему показалось, что скрип пера под рукой Федора Ивановича отозвался у него в самом сердце. Что же это такое? Всю жизнь дядя Илья смеялся над его отцом и считал, что тот жил неправильно. Без зазрения совести Ворон набивал добром свое хозяйство и превратил в батраков не только Аграфену, но даже Нюшку с Таней и вдобавок спрятал неизвестно куда хлеб, только бы он не достался Советской власти. И вот теперь Ворона принимают в артель...

Нет, Степа ничего не мог понять. И почему дядя Егор, всегда такой правдивый и смелый, так легко согласился с собранием? Почему молчит тетя Аграфена? Где Матвей Петрович? Где Крючкин? Степа тоскливо оглядел мужиков и, протолкавшись к двери, вышел из класса.

ПОЖАР

Ночью Степа проснулся от далекого тревожного звука: где-то отрывисто, резко и часто били в чугунную доску.

— Пожар! Школа горит! — истошно закричал кто-то в углу общежития и босой, в нижнем белье выскочил за дверь.

Началась суматоха. Школьники забегали, закричали. С грохотом упал опрокинутый бачок с водой. Встав на табуретку, кто-то торопливо чиркал спичками и тянулся к лампе.

Наспех обувшись и на ходу вдевая руки в рукава пиджака, Степа выбежал на улицу. Теперь набат доносился явственно и четко — били в чугунную доску около пожарного сарая. Никакого пожара в школе не было. Горело где-то в деревне. Над заснеженными крышами домов поднималось багровое зарево, порозовели стекла в окнах, на фоне зарева проступили высокие голые деревья, и над ними всполошенно кружилась галочья стая.

Плохо разбирая дорогу и часто оступаясь в сугроб, Степа вместе с другими школьниками — товарищами по общежитию — помчался вдоль деревни. Пожар свирепствовал у Хомутовых. Многоцветное

воющее пламя со всех сторон охватило старую избу, как шубой, закутанную на зиму соломой. Шипящие языки огня пробивались сквозь крышу, вырывались из чердачного окна, лезли под застреху.

Хлопья огненного пепла, как сказочные птицы, легко поднимались вверх и летели во все стороны. У соседних изб с ведрами воды стояли бабы и девки, кропили стены мокрыми вениками, сбивали и тушили огненные хлопья.

У горящей избы Хомутовых толпились мужики, парни, мальчишки. Они носили ведрами от колодца воду, плескали на огонь, растаскивали баграми пылающую солому. Всем распоряжался Егор Рукавишников.

Из окна с выбитой рамой летели табуретки, чугуны, тазы, обувь, одежда. Сквозь клубы дыма Степа заметил в проеме окна Василия Хомутова и Матвея Петровича. Афоня с группой мальчишек подбирал выброшенные вещи и относил их в сторону от горящего дома, где уже в беспорядке валялись стол, сундук, кровать, постель, шкаф с разбитыми стеклами. На вещах, прижимая к груди подушку, сидела Катерина и тупо смотрела на огонь. Рядом с ней стоял бледный, трясущийся Никита. Неожиданно Катерина покачнулась, бросила на снег подушку и с воплем кинулась к крыльцу. Афоня ухватил мать за полу шубы.

— Рушник там... на гвоздике! Еще валенцы Никиткины... чесанки... новые,— бормотала Катерина, пугливо косясь на огонь.

Афоня усадил мать на вещи и, заметив Степу, поманил его к себе.

— Присмотри за ней... Я сейчас! — И, нахлобучив на глаза шапку и прикрыв лицо варежкой, он бросился сквозь дымную завесу, окутавшую крыльцо, в избу.

Вскоре на крыльце появился Матвей Петрович. Одной рукой он тащил Афоню, другой — придерживал самовар. Вслед за ним с ворохом одежды выскочил Василий. Он бросил одежду к ногам жены и погрозил кулаком в сторону пруда, где пожарники суетились около пожарного насоса.

— Василий... рушничок там... на гвоздике. И валенки еще! — забормотала Катерина, хватая мужа за руку. Василий крякнул, потер слезящиеся от дыма глаза и, пригнувшись, снова шагнул к крыльцу.

— Остерегись!.. Завалить может! — удержал его Матвей Петрович. И как раз кстати. В сенях что-то обрушилось: видимо, прогорели стропила,— взметнулось облако крупных, горячих искр, затем из калитки повалил густой, черный дым, и, наконец, языкастый огонь забушевал с новой силой. Василий попятился.

Разматывая брезентовый рукав, к горящей избе подбежали пожарники. Игнат Хорьков, одетый в брезентовую куртку и с блестящей пожарной каской на голове, надел на конец рукава медный брандспойт и, как ружье, взяв его на изготовку, нацелился на огонь. Потом, обернувшись в сторону пруда, свирепо закричал:

— Вода! Где вода? Качай живее!

Плоский рукав постепенно начал оживать. Он вздрогнул, округлился, и, наконец, вода с треском вырвалась из брандспойта и белой шипучей струей ударилась в пылающую стену. Василию показалось, что Хорьков слишком далеко стоит от огня. Он вырвал у него из рук брандспойт и, подтянув пожарный рукав, почти вплотную подошел к горящей избе.

Подул ветер, пламя перебросилось на сруб нового дома, загорелась щепа, стружки, а вскоре занялись и смолистые стены. В старой избе прогорел потолок, рухнула крыша, жаркое пламя охватило сухие бревна, и изба стала похожа на плавящуюся золотую коробку.

От нестерпимого жара Василий отпрянул назад, бестолково направляя струю воды то на один, то на другой угол избы. Но огонь было уже не унять. Егор Рукавишников отобрал у Хомутова брандспойт.

— Отойди, Василий! Без тебя управимся... Надо сруб спасать, а не это старье.— И он принялся сбивать пламя с нового сруба. Потом передал брандспойт Хорькову, а сам, схватив багор, скомандовал:— Багорники, за мной!

С криками «раз, два — взяли» мужики и парни зацепляли длинными баграми верхние пылающие бревна старой избы, вырывали их из гнезд и оттаскивали в сторону. Здесь мальчишки заливали бревна водой и забрасывали снегом. Бревна шипели, чадили, стреляли угольками. Работы хватало каждому. Матвей Петрович не отпускал от себя ребят. Мальчишки то качали пожарный насос у пруда, то таскали от колодца ведрами воду, то тушили горящие бревна снегом. Они были мокрые, черные, пропахли дымом.

— Ты не знаешь, как загорелось? — спросил Степа Шурку, столкнувшись с ним у колодца.

— Разное говорят...— неопределенно ответил Шурка.

Мальчишки тяжело вздохнули. Кто не знает, какая большая беда для хозяйства пожар! Теперь Хомутовым придется скитаться по чужим углам, собирать на погорелое место, залезать в долги, кланяться мужикам, чтобы помогли отстроиться заново. А ведь Василий и без того замучился с новым домом. Теперь, пожалуй, он и в артель не пойдет: не до того ему.

Наконец пожар потушили. На месте старой избы осталась груда черно-красного кирпича, куча чадящих досок и бревен да вытаявшая земля. Рядом высился потемневший от копоти сруб с мокрой обугленной стеной.

Над горизонтом забрезжил рассвет. Крикливая галочья стая все еще кружилась над крышами домов.

Пожарники скатывали в круг брезентовый рукав, выталкивая из него воду. Мужики, поглядывая на пепелище, вытирали шапками опаленные лица. Василий все еще бродил вокруг сгоревшей избы, зацеплял багром то кусок половицы, то обломок бревна и тащил в сторону.

— Хватит тебе,— остановил его Игнат Хорьков, отбирая багор.— Что сгорело, то сгорело.

Пошатываясь, к пепелищу подошла Катерина. Она перекрестилась в сторону церкви, обвела глазами мужиков.

— Вот и покарал господь, наказал за грехи...— забормотала она.— А все через ваш колхоз хваленый! Заманили Василия, опутали...

— Не убивайся, Катерина! — остановил ее Егор Рукавишников.— Что покарали — это верно. Только богу теперь не до нас. Тут другие божки орудуют — местные, деревенские...— И он обратился к Василию: — Ты лучше скажи, с чего пожар начался? Фонарь во дворе оставил или за лампой недоглядел?

— Какой там фонарь? — Василий вяло махнул рукой.— Пожар снаружи вспыхнул... в трех местах соломy запалили.

— Погоди, погоди...— Пораженный услышанным Хорьков даже снял шапку.— Подожгли, выходит? С умыслом?

Хомутов молча развел руками.

— Василий Силыч, вы про записочки расскажите,— шепнул ему Матвей Петрович.

Мужики обступили Хомутова.

— Это что ж, граждане! — озираясь по сторонам, зло заговорил Хорьков, когда Василий рассказал об угрозах «доброжелателей».— Вражина зубы показывает. Огнем нас пугает. Да мы кто? Овцы на убой? Тля капустная? — Он вдруг погрозил шапкой вдоль улицы.— Повымести их отсюда к бесовой матери, чтобы землю не поганили!

— Все корни им порубить,— подхватила Аграфена.

— Так оно и будет... теперь уж скоро,— вслух подумал Егор Рукавишников.

Мужики обернулись в сторону двухэтажного дома Никиты Еремина. За ним смутно проступала изба Шмелева.

Черные от гари и копоти лица мужиков были сумрачны, белки глаз сверкали, и Степе показалось, что мужики вот-вот тронутся вдоль деревни, поднимут богатеев на ноги, притащат их к пожарищу. Смотрите, мол, что натворили ваши подлые руки! И расправятся с ними так, как расправляются в деревне с ворами и конокрадами.

— Да помолчи ты! — прикрикнул Хорьков на Катерину, которая принялась уговаривать мужа поскорее, пока не случилось новой беды, выписаться из артели.— Никуда Василий не уйдет... Некуда ему больше податься.. Так, что ли, Силыч?

Василий молчал.

— Где мы теперь жить будем? Где? В сарае, на улице? — Катерина обхватила за плечи подошедших Афоню с Никиткой и запричитала: отец у них чурбан бесчувственный, и им ничего не остается, как надеть котомки и пойти по деревням собирать на погорелое место.

— Да не вой ты, не вой! — замахал на нее руками Игнат Хорьков.— Не пойдете вы по миру... Сообразим что-нибудь.

— Верно, Игнат,— поддержал его Рукавишников и, пошептавшись о чем-то с мужиками, подошел к Хомутову.— Уйми ты свою половину. А мы тебе вот что скажем, Василий. Здесь почти все артельщики. И вот наше слово. Завтра же начнем тебе новый дом достраивать...

— Мне? Новый дом?! — опешил Василий.

— А как же иначе? У врагов расчет простой. Запугать одного, другого, посеять панику, артель развалить. Нет, нам теперь вот как кучно надо держаться. Волк тогда и нахален, когда стадо в разброде...

— А пока строить будем, можешь у меня пожить,— сказал Игнат Хорьков.

Его поддержали другие артельщики: места у всех хватит. Женщины окружили Катерину и принялись уговаривать, чтобы она не очень убивалась: люди помогут.

Степа во все глаза смотрел на мужиков. Вот они какие! Значит, не только умеют горланить да ругаться.

— А ты к нам в интернат перебирайся,— шепнул он Афоне.— Вместе спать будем... топчан у меня широкий.

Василий, тиская бороду, диковато озирался по сторонам. Потом снял шапку и низко поклонился мужикам:

— Спасибо, мир честной! Век не забуду!

ОБЩИЙ ДВОР

В воскресенье Степа долго валялся в постели. Утро выдалось морозное, общежитие за ночь выстыло, дверь покрылась шершавым инеем, от окон тянуло пронизывающим холодом. Интернатцы давно поднялись и ушли завтракать, а Степа все еще продолжал лежать. На душе было пусто, тоскливо, мучила обида.

Вчера комсомольцы работали на хомутовском участке, расчищали пожарище. Потом пришли колхозные столяры и плотники, врыли в землю дубовые столбы и венец за венцом принялись укладывать на них бревна нового дома.

Вместе с другими колхозниками явился на стройку Илья Ковшов. И это более всего поразило Степу; ему казалось, что после собрания колхозники все же одумаются и не допустят Ворона в артель, на самом же деле дядя Илья работал на стройке, как равный с равными, тесал топором бревна, курил с мужиками, рассказывал какие-то побаски.

«Присосался клещ»,— тоскливо вздохнул Степа, закутываясь с головой в одеяло. Идти ему никуда не хотелось. «Вот просплю весь день, все и забудется». Да и какое ему до всего этого дело? Ну, приняли Ворона в артель и приняли. Они же взрослые, у них своя голова на плечах, а он всего лишь мальчишка, школьник, залетная птица в деревне. В конце концов, ему здесь и жить-то недолго. Кончит седьмой класс, уедет в город, поступит куда-нибудь в мастерскую или учеником на завод.

Размышления его прервал Афоня Хомутов. Все эти дни после пожара он жил в общежитии и даже питался в школьной столовой. Сейчас Афоня вернулся после завтрака и поставил на тумбочку возле Степиного изголовья полную миску с гречневой кашей-размазней, выложил хлебную пайку и крошечный бумажный фунтик с сахарным песком.

— Заболел, что ли? — спросил он.— Ешь вот — двойную порцию тебе раздобыл... А жалко, что заболел. Такой день сегодня...

Степа высунул голову из-под одеяла.

— Какой такой?

— Лошадей на общий двор сводят,— оживленно пояснил Афоня.— Колхозники-то за дело берутся. Теперь артель не только на бумаге числится...— Он поглядел в окно и заторопился.— Ты лежи, ешь, а я побегу... Мне к отцу надо. Сейчас лошадь к Ковшову поведем.

— Это зачем? — насторожился Степа.

— Ну и дрыхнешь ты знатно! Так все на свете проспать можно! — засмеялся Афоня и рассказал, что вчера на собрании, когда Степа уже ушел, колхозники решили обобществить лошадей, а Илья Ковшов предложил до постройки новой конюшни свести лошадей к нему во двор.

— К Ворону?! — вскрикнул Степа.— И все согласились?

— А что ж такого? Он теперь член артели, дядя Илья. И двор у него просторный, теплый...

Степа сбросил с себя одеяло, схватил штаны и рубаху.

— Куда? — удивился Афоня.— Раз болен — лежи. Чаю могу принести...

— Нет уж,— забормотал Степа, торопливо одеваясь.— Сам говоришь, такой день сегодня.

— Ну, как знаешь,— пожал плечами Афоня.

Они вышли из общежития вместе. Афоня направился к избе Игната Хорькова, где временно жили его отец и мать, а Степа зашагал к дому своего дяди. У двора с распахнутыми настежь воротами толпились взрослые и ребятишки. Снег кругом был размешан ногами людей и лошадей, исполосован полозьями саней. Из ворот доносился стук топоров, пофыркиванье пил: плотники заканчивали мастерить для лошадей коновязь и кормушки. То и дело подъезжали на санях члены артели.

Егор Рукавишников, Аграфена и Илья Ковшов осматривали лошадей, сани, сбрую и записывали в

толстую конторскую книгу. Всем распоряжался Илья Ковшов. Шумный, оживленный, в заношенном пиджаке, он ловким движением открывал лошадям рты, осматривал десны, зубы, проверял копыта, щупал кости в коленях и показывал колхозникам, куда поставить лошадь или повесить сбрую.

Почти каждому колхознику Илья Ефимович делал замечания. Одного стыдил, что тот заморил лошадь, другого корил за сбитую седелкой спину, третьему совал в руки скребницу и заставлял вычистить лошадиные ляжки и брюхо, покрытые ошметками засохшего навоза.

— Не куда-нибудь конягу привел — на общий двор. Совесть надо иметь! — громко говорил он.

Приняв от старика Курочкина, известного в Кольцовке своей скупостью, сбрую, Илья Ефимович подозрительно оглядел старый хомут, прелую, порыжевшую шлею, веревочные в узлах вожжи и брезгливо бросил сбрую к ногам старика.

— Заваль в артель сбываешь. Старье, шурум-бурум. Негоже так, Никодим Семенович... Набожный ты человек, а сразу грех на душу берешь.

— Так чем богаты...— начал было старик.

— Я-то знаю, чем вы с сынком богаты. Мы с ним вместе новую сбрую в городе покупали. А ну-ка, Федор, не поленись,— кивнул он рослому бородатому сыну Курочкина,— доставь сюда сбрую. Она у вас в чулане висит. Полный набор... Новенькая. И дегтем, поди, смазана...

Колхозники кругом засмеялись.

— А ведь в аккурат... Насквозь видит!

— Я ж говорил, папаша... надо по совести,— буркнул Федор и, забрав старую сбрую, направился к дому.

Степа отыскал в толпе Шурку с Нюшкой и вполголоса спросил, почему Ворон здесь всем распоряжается.

— Так уж вот,— неохотно ответил Шурка.— Старшим конюхом назначили... начальником...

— А моя мать — за помощника у него,— со вздохом добавила Нюшка.— Только они все равно зараз поцапаются...

Степа зябко поежился, поднял воротник пиджака и заглянул во двор. Ему нестерпимо захотелось подбежать к Аграфене или к дяде Егору. Ну как они не понимают! Кому они доверили артельных коней? Но Аграфена и Егор были заняты своими делами и не замечали Степу.

В дальнем углу двора, сердито фыркая и подозрительно косясь друг на друга, уже стояло с десяток лошадей, а рядом с ними толпились их хозяева. Они оглаживали своих лошадей по спинам, расправляли гривы, подбрасывали в кормушки сена.

— Хватит, граждане! Разнюнились тут,— прикрикнул на них Илья Ефимович.— Не сына на чужбину провожаете... Лошадям здесь плохо не будет... напоим и накормим...— И, видя, что слова его не действуют на колхозников, он пожаловался Егору Рукавишникову:— Скажи им, председатель. Приемку только задерживают...

— Не мешайте конюхам, граждане,— попросил Егор.— Сами же их назначили.

Колхозники молча и неохотно вышли за ворота.

Ко двору приближался необычный обоз. Коротконогая вислобрюхая лошаденка с трудом тащила широкие сани-розвальни; позади саней, скрипя немазаными колесами, тянулась телега. На телеге лежали два запасных колеса, новая ось, моток веревок и даже лагунка с дегтем. В санях, то и дело оглядываясь назад, сидел Василий Хомутов и погонял лошадь.

— Вот это снарядился! — одобрительно заметил кто-то в толпе.— С полной выкладкой... Ничего не утаил.

Илья Ефимович первый подошел к остановившемуся обозу.

— Ай, Силыч! Да с тебя только пример брать.— И он назидательно обратился к колхозникам: — Вот как в артель надо входить... от чиста души!

— Принимай, не задерживай,— перебил его Василий и вновь оглянулся. Ко двору, тяжело дыша, подбежал Афоня и шепнул отцу, что сюда идет мать, а с нею трое соседок.

— Выпрягай! Живо! — Василий передал сыну вожжи, а сам размашисто направился к дому.

Афоня рассупонил хомут, стащил его с шеи лошади, снял со спины остро пахнущую потом седелку, аккуратно смотал вожжи и передал всю сбрую Илье Ефимовичу. Потом ввел лошадь во двор, привязал к коновязи и, достав из кармана кусок посоленного хлеба, сунул его в мягкие губы лошади.

— Что, молодой Хомутов, жалко расставаться-то? — подходя к Афоне, участливо спросил Рукавишников.

— Жалко,— признался Афоня.— Мы за ней, знаете, как ухаживали...

— Погоди, Афанасий... Через год — другой на трактор сядешь. Сразу двадцать пять лошадиных сил поведешь...

— Это когда еще будет! — возразил Афоня.— И все равно машина, она железная, мертвая. И слов не понимает. А Пегашка с понятием.

— С понятием! — усмехнулся Егор.— А сколько вы через нее натерпелись! То лошадь в борозде ляжет, то из стада убежит. Только и утешения, что свое, хотя и горбатенькое. Ох, уж эта жалость! Долго она еще нам ноги будет путать.

К полудню тридцать две лошади уже стояли на общем дворе.

Колхозники разошлись по домам.

Илья Ефимович искоса посмотрел на Аграфену, которая хлопотала около коней: задавала им корм, поила из ведра, трепала по губам, гладила шеи, ласково называла по именам.

— Ишь, разгулькалась,— снисходительно усмехнулся Ковшов.— Хотя понять можно. Раньше ты и за конячий хвост не держалась, а теперь целая конюшня у тебя под началом... Как говорится, из грязи да в князи...

— Да и ты, Ефимыч, не прогадал,— в тон ему ответила Аграфена.— Ходишь аккуратно, через порожки не спотыкаешься...

Илья Ефимович поспешил перевести разговор на другое: кони, мол, для начала ухожены неплохо, и им, конюхам, пора отдохнуть.

— Можно и отдохнуть,— согласилась Аграфена и, оглядев лошадей еще раз, пошла домой.

Нюшка кормила сестер и братишек обедом. На столе был водружен пузатый, закопченный чугун. Нюшка доставала из него горячие, как угли, картофелины, ожесточенно дуя и перекидывая из ладони в ладонь, очищала их и подкладывала ребятишкам, приговаривая при этом: «Петьке дала, Маньке дала...» Малыши обмакивали картофелины в блюдце с льняным маслом, посыпали солью и уничтожали с такой быстротой, что Нюшка начала даже сердиться: «Чего, как на пожар, гоните! Остепенитесь!» На лавке у бокового окна, молчаливый и насупленный, сидел Степа.

— Чего ж гостя не угощаешь? — заметила Аграфена дочери.

— Я звала... он говорит, что сытый,— сказала Нюшка, кинув на Степу вопросительный жалостливый взгляд. Потом спохватилась и строго добави-

ла: — Сидит, как истукан. Хотя бы картошку помог лупить... Видит, что не поспеваю.

Степа поднялся и молча подошел к столу. В доме Ветлугиных, куда Степа часто заходил в последнее время, он многому научился. Научился готовить мурцовку — незатейливую еду из воды, хлеба, лука и нескольких капель льняного масла; сучить варовину и подшивать валенки, которые «просили каши»; искусно ставить заплатки на одежду; почти без мыла стирать белье; мастерить из обыкновенных дощечек и чурок презабавные игрушки для ребятишек. И все это он делал охотно, с интересом.

Вскоре малыши были накормлены и занялись своими делами. Аграфена, вымыв руки, села за стол и усадила рядом с собой Степу.

— Ешь, не чванься! Чего-чего, а картошки хватит.— И, помолчав, спросила: — Ты чего во дворе у Ковшова смотрел на меня так? Спросить хотел о чем-нибудь?

— Да нет... вам показалось,— уклончиво ответил Степа, давясь обжигающей картошкой.

— Не юли, не обучен еще! — погрозила ему Аграфена.— Знаю, о чем спрос. О дяде, о Вороне. Зачем его в артель записали? Зачем коней доверили? Так ведь?

— Так, мамка, так,— поспешно закивала головой Нюшка.— Степка так и сказал: «Дядю Илью к коням допустить — все равно, что волка в овчарню...»

Степа с досадой покосился на Нюшку, и Аграфена поняла, что ребята до нее уже обо всем переговорили.

— Вот и я под стать тебе думаю,— помолчав, хмуро заговорила Аграфена, обращаясь к Степе.— Не нашего он поля ягода, Ворон этот. Ластится, льнет к нашему делу, а чую, не к добру. Надо бы его подальше от артели держать. Мы с Матвей Петровичем так Егору об этом и сказали. И даже поругались с ним. А Егор свое твердит: у Ворона, мол, полно родни в деревне, кумовья да сваты всюду. Отпугнем его, он других от артели потянет. Вот и приходится его терпеть.

— А все равно коней ему зря доверили,— упрямо сказал Степа.— Будет, как с хлебом... А там ищи-свищи...

— Ну, уж нет! За коней я головой отвечаю. Мне так Егор и наказал: «За конями гляди в оба, да и с Ворона глаз не спускай».— Аграфена густо посолила картошину, но есть не стала, задумалась: «Вот если бы нам тот хлеб найти! Мы бы тогда Ворону руки укоротили. Заказали бы ему по нашей дорожке ходить...»

— Мы искали... все закоулки обшарили,— вполголоса призналась Нюшка.

Степа вздохнул. Это верно, в начале зимы ребята кое-что делали. Забирались в сараи, овины, погреба. Острыми кольями пронзали ометы соломы и стога сена, старались нащупать мешки с зерном. Подолгу бродили по лесу, зорко высматривая, нет ли где следов свежевыкопанной земли. Осматривали каждую кучу хвороста. А хлеб словно сквозь землю провалился...

— Плохо мы искали,— признался Степа.

С этого дня присматривать за Вороном стали еще пуще. Шурка и Степа то и дело появлялись около дома Ковшовых, заглядывали во двор, где стояли лошади, запоминали, кто и куда выезжает на них, кто приходит к Ковшовым. Илья Ефимович не раз наталкивался во дворе на ребят и с досадой говорил, что школярам на артельной конюшне делать нечего.

— А у нас задание... от комсомольской ячейки... конюхам помогать,— торопливо объясняли Шурка и Степа и принимались чистить лошадей или вытаскивать со двора навоз.

— Пусть стараются,— заступалась за мальчишек Аграфена.— Нам же легче.

Следили за Вороном и Нюшка с Таней. Девчонки все ждали, что вот-вот дядя Илья как-нибудь поздно вечером направится к избе Горелова, вызовет его таинственным стуком на улицу, потом, забрав лопаты, крадучись и воровато озираясь, они пойдут в какой-нибудь овраг или старую ригу, вскроют яму и долго будут проверять, не сопрело ли зерно. И тогда-то Нюшка с Таней подадут сигнал тревоги.

Но ничего подозрительного они не замечали. К Горелову дядя Илья не заходил, словно забыл дорогу к его дому, а все больше посещал крестьянские избы или сидел с мужиками в чайной, пил крепкий чай, заказывал яичницу на сковородке и вел мирную беседу.

СЛЕД ПОТЕРЯЛИ...

Кружок юных трактористов собирался каждую неделю. Матвей Петрович и Георгий Ильич проводили занятия вперемежку — то в классе, то в школьном сарае прямо у трактора.

Занимались все с интересом, особенно Нюшка. Она не расставалась с учебником по тракторному делу, вызубрила названия всех частей и без конца упрашивала ребят «погонять ее по трактору». Нюшке очень нравились новые и такие звучные слова — «карбюратор», «магнето»,— и она без конца, к месту и не к месту, употребляла их в разговоре.

По вечерам около «Фордзона» возился Матвей Петрович с кружковцами, приходил в школьный сарай и Георгий Ильич, иногда заглядывал колхозный кузнец. Кузнец с опаской поглядывал на мотор, на сложное и загадочное переплетение трубочек и проводов и виновато разводил руками:

— Мудрено все очень... легче блоху подковать.

Потом приехал из города Крючкин с тремя слесарями. Они привезли с собой набор запасных частей, жили в колхозе три дня, перебрали весь мотор и окончательно нарушили покой кольцовских мальчишек. А кружковцы, те просто не могли спокойно сидеть на уроках и все время настороженно прислушивались, не загудит ли в сарае тракторный мотор. На четвертый день Крючкин и его помощники довольно неожиданно уехали, а трактор как стоял, так и продолжал стоять в сарае, холодный и недвижимый.

— Утиль, значит? Не будет мотор работать? — огорченно допрашивали кружковцы Матвея Петровича.

Учитель объяснил: все, что можно, слесари сделали, теперь дело упирается в такие запасные части, которые вручную изготовить нельзя. Нужно достать новые поршневые кольца, свечи, магнето, карбюратор и еще кое-что. Правление колхоза уже послало в район письмо с просьбой обеспечить трактор запасными частями, а Крючкин обещал где следует протолкнуть это письмо.

— Бумага ходит, контора пишет, а мы без дела сиди,— обиделась Нюшка.

— Дело найдется,— сказал Матвей Петрович.— Начнем с первой заповеди тракториста — мытье и чистка...

И кружковцы принялись за работу. Притащили тряпки, ведра с горячей водой, керосин. Как-то само собой получилось, что мойкой и чисткой командовала Нюшка. Она доводила до блеска все, что только могло блестеть в машине, и не без

удовольствия обличала мальчишек в том, что они грязнули и неряхи.

Потом возникла мысль покрасить машину. Тут уж в каждом мальчишке проснулся прирожденный художник, и они принялись изощряться в выборе колеров. Большинство высказалось за революционный красный цвет, но красной краски хватило только на колеса, а остальные части машины пришлось покрасить оранжевой. На капоте нарисовали пятиконечную звезду и перекрещенные серп и молот, а на железных крыльях крупно написали: «Колхоз «Передовик».

Своей работой мальчишки остались вполне довольны, хотя Нюшка и сказала, что от такой огненной машины будут шарахаться все лошади. Вскоре из района пришло извещение, что колхоз «Передовик» может получить недостающие части.

* * *

Вернувшись из школы, Филька передал отцу, что директор школы просит его вечером зайти к нему на квартиру.

«Опять дела да наказы... И когда конец этому будет?» — чуть было не сказал Илья Ефимович, но, покосившись на сына, сдержался.

— Попозже велел зайти,— повторил Филька.— И чтобы не очень приметно...

— Время хватит — схожу,— недовольно буркнул отец.

Поужинав, он вместе с Аграфеной задал коням корму, переждал еще немного и часам к десяти вечера направился к школе.

После того, как Савин перестал заходить в дом к Ковшовым, Илья Ефимович даже обрадовался: меньше будет беспокойства, тревожных разговоров, всяких неожиданных поручений.

Но Савин не забывал Илью Ефимовича. Он то приглашал его к себе на квартиру, то передавал с Филькой записки, то присылал на дом школьного сторожа. Задания и поручения росли с каждым днем. Особенно ошеломило Ковшова последнее поручение — поддержать на собрании Василия Хомутова и записаться самому в члены артели. Сначала Илья Ефимович наотрез отказался от этого,— лучше он бросит все хозяйство и уедет в город, чем станет работать бок о бок со всякой голью вроде Груньки Ветлугиной и Егора Рукавишникова.

Илья Ефимович до сих пор помнит тот вечер, когда об этом зашел разговор. Савин кричал на него, топал ногами. Он доказывал, что хотя Ковшов и считается умным человеком, но сейчас действует глупо, опрометчиво, под стать Еремину и Шмелеву. Бежать в город Илье Ефимовичу уже поздно; скорее всего он попадет под раскулачивание, лишится всего своего добра, и его, помимо воли, выселят из деревни. Выход остается только один: сделать искусный ход и вместе со всеми пойти в колхоз.

Осторожненько напомнил Савин и о спрятанных мешках с хлебом: достаточно ему, директору, сказать хоть одно слово, и Ковшову явно не поздоровится. Схватившись за голову, Илья Ефимович, в свою очередь, закричал, что директор вьет из него веревки, превратил в своего подчиненного, но в конце концов вынужден был согласиться.

— Вот и договорились,— улыбнулся Савин.— Значит, так на собрании и скажете — умненько, душевно...

А после вступления Ковшова в колхоз произошли еще более неожиданные вещи. На собрании членов артели, когда зашла речь об обобществлении лошадей, Савин предложил занять двор Ковшова, а самого Илью Ефимовича как человека грамотного и хозяйственного назначить старшим конюхом. Директора школы поддержали Игнат Хорьков и Василий Хомутов: «Послужи обществу, Ефимыч... Ты в конях толк понимаешь». Пораженный Илья начал было отказываться, но, уловив сверлящий взгляд маленьких свинцовых глаз директора, только махнул рукой: «Раз общество просит — уважу!..»

«И зачем я ему снова понадобился? — раздумывал сейчас Илья Ефимович, шагая вдоль улицы.— Неужто Савин что-нибудь новенькое придумал? Может быть, еще лошадей голодом морить заставит или сапом заразить. С него станется... Школой заведует, детей учит — а сам, как матерый волчище, вцепится в горло, не оторвешь. И откуда только такой забежал в Кольцовку?»

Клейкий пот выступил у Ильи Ефимовича на спине. Он остановился, расстегнул верхний крючок дубленой шубы. А может, не ходить к директору... Это ведь верная гибель, если он, Ковшов, начнет пакостить на конюшне. За ним и так во все глаза смотрят. Недаром председатель артели прислал к нему вторым конюхом Аграфену. Да еще эти чертенята-ребятишки, Степкины ищейки!

Илья Ефимович воровато оглянулся — нет, сегодня, кажется, никто за ним не следит.

Но что это? Мимо палисадников крадутся две фигуры. Они то останавливаются в густой тени, которую отбрасывают избы, то стремглав перебегают через голубую лунную прогалину и опять затаиваются.

Илья Ефимович прибавил шагу и перешел на противоположную сторону улицы. Фигуры сделали то же самое. Илья Ефимович дошел до конца деревни, где дорога поворачивала к школе, и, еще раз оглянувшись на своих преследователей, присел за омет соломы. Вскоре фигуры поравнялись с ометом, замедлили шаг, и Ковшов услышал их разговор:

— Куда же он подевался?

— Должно, к школе повернул, к директору...

— И зачем он ходит к нему?

— Кто его знает! Раньше Федор Иваныч все к дяде заглядывал, а теперь почему-то дядя к директору бегает...

«Скажи на милость, и девчонки ищейками заделались»,— подумал Илья Ефимович, узнав по голосам Таню и Нюшку. Первой его мыслью было нагнать девчонок, отодрать их за уши и отослать домой. Но потом он передумал... Илья Ефимович снял шубу и вывернул ее шерстью наружу.

Таня и Нюшка, пройдя еще немного по освещенной лунным светом зимней дороге, замедлили шаг и вскоре повернули обратно. Когда же они поравнялись с ометом соломы, через дорогу с хриплым рычанием бросился огромный лохматый зверь.

Обмерев от ужаса, девчонки завизжали, шарахнулись в сторону и, увязая по колено в сугробе, побежали к деревне. И только когда они добрались до первой избы и почувствовали под ногами твердую дорогу, Нюшка догадалась, что их перепугал не кто иной, как Илья Ковшов.

— А я сапог потеряла,— испуганно призналась Таня, обнаружив, что на левой ноге у нее нет валенка.

Нюшка всплеснула руками. Мало того, что подруге попадет теперь за валенок, дядя Илья, наверное, догадался, что они следили за ним.

— Ах ты, невезучая, вроде Митьки Горелова! — упрекнула Нюшка и полезла искать в снегу валенок.

Таня, как цапля, поджала ногу и, растирая ее руками, осталась на дороге. Подруга долго не воз-

вращалась. Она шла по старым следам, рылась палкой в снегу, но валенка нигде не было видно.

— Нюш, у меня нога коченеет...— позвала ее Таня.

Нюшка поняла, что с морозом шутки плохи. Она перестала копаться в снегу, сорвала с головы платок и обмотала им замерзшую ногу подруги.

— Бежим в общежитие... тут близко.

Вскоре девчонки были в теплом общежитии. Степа первый бросился навстречу сестренке.

— Кто тебя?

— Потом, потом... неси снегу! — приказала Нюшка.

Сгорая от любопытства, интернатцы обступили девчонок и забросали вопросами: интересно было знать, от кого это Таня так улепетывала, что даже потеряла валенок.

Никому ничего не объясняя, Нюшка усадила Таню и до красноты растерла ей ногу. Только после этого, отведя Степу в сторону, она вполголоса рассказала о том, что произошло с Таней.

— А куда Ворон пошел? — спросил Степа.

— Не знаю... Мы его след потеряли...

— Тогда вот что...— подумав, распорядился Степа.— Возьми Афоню и иди с ним искать валенок. А я побуду у школы...

ВО ФЛИГЕЛЕ

Перепугав Таню и Нюшку, Илья Ефремович обогнул кругом школу, отыскал калитку, ведущую в сад, и оглянулся по сторонам. Убедившись, что за ним никто не следит, он привычным движением нажал щеколду, прошел мимо заснеженных деревьев и цветочных клумб к флигелю и сухо, подятлиному, постучал в боковое окно. Вскоре на крыльце показался Савин.

— Поздновато, Ковшов. Ждать себя заставляете,— заметил он, вводя Илью Ефимовича в полутемную комнату.

— А вы знаете, почему я задержался? — пожаловался тот.— Ребятишки по пятам ходят. Степка, как видно, целую компанию сколотил. Даже девчонки ищейками заделались.— И он рассказал о встрече с Таней и Нюшкой.

— А они случайно за вами не увязались? — встревоженно спросил Савин, внимательно выслушав Ковшова.

— Да нет... Я их здорово припугнул... убежали...— усмехнулся Илья Ефимович.— А вообще долго ли до беды? От этого колониста жизни не стало. Зря вы осенью тогда из школы его не убрали. Очень уж момент был подходящий.

Отдернув занавеску на окне, Савин посмотрел в сад, залитый лунным светом. Как будто все тихо и спокойно. Тянутся черные тени от деревьев, мерцает снег, к окну прильнули ветви яблони. Савин кивнул на вешалку, на которой висело несколько шуб и полушубков.

— Раздевайтесь!

— А что, разве надолго?—немного опешив, спросил Илья Ефимович.

— Сколько нужно, столько и задержитесь.

Савин провел его в соседнюю комнату. Здесь было светло, с потолка свисала лампа-«молния», на полу лежала огромная медвежья шкура.

У стен, на венских стульях, поджав ноги, чтобы не наступать на шкуру валенками, сидело шесть или семь мужиков. Илья Ефимович почти всех узнал с первого взгляда. Кто был из Больших Вязем, кто из Торбеева, кто из Заречья.

— Надеюсь, вы знакомы.— Савин кивнул мужикам на Ковшова.— Садись, Илья Ефимович, послушай...

Ковшов осторожно присел на краешек стула.

— Так продолжим наш разговор, дорогие гости,— заговорил Савин, подходя к столу.— То, что вы раньше делали — всячески удерживали крестьян от вступления в колхозы,— было правильно. Но времена меняются. Как ни говорите, а мужик тронулся с насиженного места. Удержать его сейчас уже невозможно. А потому надо быть ловчее. Идите в колхоз вместе со всеми, не плетитесь в хвосте. Вступайте сами в артель и зовите туда других. Да что там зовите!.. Сейчас кричат о сплошной коллективизации. Вот вы и подыгрывайте. Пустите слушок, что кто не запишется в артель, будет раскулачен. Припугните мужиков выселением из деревни, Сибирью...

— Чудно́ говорите, Федор Иваныч,— сумрачно перебил его большеголовый, горбоносый мужик из Торбеева.— Нам эти колхозы, как кость поперек горла, а вы нас туда же заталкиваете... А зачем, спрашивается? Для мебели, что ли, для вида?

— Наоборот, Сидор Карпыч...— обернулся к нему Савин.— Вы в колхозах первыми людьми должны стать. Пробирайтесь в члены правления, в завхозы, в бригадиры, занимайте, как они говорят, командные посты. А там поворачивайте хозяйство как вам будет угодно.— Савин кивнул на Ковшова.— Берите пример с Ильи Ефимовича. В артели без году неделя, а уже старший конюх, ведает всем колхозным тяглом.

— Навалилось это тягло на мою шею,— пожаловался Ковшов,— разорваться впору! Хоть бы пооколевала половина конюшни.

— Ничего, привыкайте, нужно это,— перебил его Савин.— И не вздумайте лошадей морить. Ухаживайте за ними по совести, чтобы люди вам поверили... А там... все в ваших руках.

— Федор Иваныч, гляньте сюда,— вполголоса позвал Савина горбоносый мужик из Торбеева, сидевший ближе всех к окну.— Кто-то снаружи вроде скребется...

Савин обернулся. За окном, царапая верхнее стекло рамы, слегка покачивалась яблоневая ветка. Савин прижался к темному холодному стеклу, прикрыл глаза ладонями, чтобы свет лампы не отражался в окне, и вперил взгляд в ночную темноту. И тут совсем близко от себя он увидел настороженные, неморгающие глаза и приплюснутый к стеклу мальчишеский нос.

«Ковшов! Колонист!» — мелькнуло у Савина. На какое-то мгновение взгляды их скрестились, потом глаза за окном исчезли, что-то глухо треснуло, и ветка закачалась быстрее. Прошло немного времени, и все стихло.

Колючий холодок пробежал по спине Савина. В кои веки он собрал у себя на квартире «гостей», а этот колонист успел уже все выследить. И что ему надо? А Илья Ефимович, пожалуй, прав: в свое время зря он не убрал Степку Ковшова из школы. Момент был действительно подходящий. А теперь вот расплачивайся... С трудом сдерживая себя, Савин отошел от окна и встретил вопросительные взгляды «гостей».

— Кто там? Девчонки, что ли? — вполголоса спросил его Илья Ефимович, приподнимаясь со стула.— Я вот уши им оборву, будут знать!..

— Племянник твой балуется,— сдержанно ответил Савин.— Чересчур любопытен стал.

— Ах, собачья кровь! — выругался Ковшов.— Теперь разнесет по белу свету: то, сё, собрание в ночь-полуночь, разговоры потайные...

— Накличешь ты нам беды, директор, подведешь под монастырь...— сердито сказал горбоносый мужик, поднимаясь со стула.— А ну, граждане, расходись, пока не зацапали...

Мужики устремились в соседнюю комнату и, толкая друг друга, принялись срывать с вешалки шубы и полушубки.

— Тихо! К порядку! — властным шепотом прикрикнул на них Савин и постучал карандашом по столу. Потом быстро подошел к двери, повернул ключ в замочной скважине и опустил его в карман.— Срам, позор! Серьезные люди, и кого испугались? Школьников, баловников. А ну, садитесь по местам...

Мужики, не выпуская из рук одежды, вновь заняли стулья. Не скрывая брезгливой усмешки, Савин принялся объяснять, что через двойные рамы никто их разговора подслушать не мог и не может, а придти к нему на квартиру мужики могли по любому поводу: побеседовать о школе, о своих детях, да мало ли еще о чем! На то он и директор школы.

— Да ведь время-то какое!.. Всякое могут наговорить,— опасливо заметил кто-то из мужиков.

Савин покосился на темное окно. Вновь представились качающаяся ветка, настороженные глаза колониста. «Убрать его, убрать надо, и как можно скорее...»

— Тогда вот что,— сказал он.— Кое-кто из вас ходил ко мне раньше в хоровой кружок. Давайте-ка споем во избежание всяких кривотолков... Спевка и спевка — и никаких подозрений быть не может.

— Это пожалуй,— согласился горбоносый.— Только маловато нас... да и баритона нет: осужден по сто седьмой статье за сокрытие хлеба.

— Ничего! — усмехнулся Савин.— Илью Ефимовича попросим подтянуть. У него вроде тоже баритон... Так с чего же начнем? С нашей любимой?

Он достал камертон, щелкнул им по ногтю, поднес к уху, прислушался. Потом взмахнул руками и глуховато запел:

Ты гуляй, гуляй, мой конь,
Пока ты на воле...

Высоким, почти женским голосом его поддержал горбоносый, потом, недоуменно переглядываясь, не в лад, разноголосо, подхватило песню еще несколько человек, и позже всех тугим, натужным голосом принялся подпевать Илья Ефимович.

А в это время на улице, под окном, стояли Степа и Нюшка. Еще раз забраться на яблоню и заглянуть через верхнее стекло во флигель Степа не решился. Прижав ухо к окну, он все пытался подслушать, о чем директор школы разговаривает с мужиками. Но голоса звучали глухо, отдаленно, и Степа с Нюшкой ничего не могли разобрать. Но вот во флигеле запели.

— Спевка у них,— догадалась Нюшка.— Фис это любит.

— А разве Ворон тоже в хору состоит? — спросил Степа.— У него же никакого голоса нет...

— Это так, от его голоса лошади шарахаются, коровы молока не дают.

— Так зачем же Ворон на спевку пришел? Да еще ночью?

Нюшка пожала плечами и потянула Степу за рукав.

— Ох, уж и поют мотивно, слушать противно!.. Пошли отсюда...

Часто останавливаясь и поминутно озираясь на флигель, Степа побрел вслед за Нюшкой.

КЛЮНУЛО

Урок у Георгия Ильича шел как обычно. Сначала учитель увлеченно объяснял очередную теорему по геометрии. Он размашисто рисовал на доске чертеж и так звонко стучал мелком, что летели белые брызги.

Потом Георгий Ильич перешел к опросу. Тут он спуску ученикам не давал. Спрашивал придирчиво, обстоятельно, «докапываясь до корня», как он выражался, и не жалея язвительных словечек для тех, кто отвечал путано и сбивчиво. «Так-с, молодой человек, пенки снимаете, шкварки выковыриваете,— обычно говорил он.— На халтурку хотите проехать!»

И, надо сказать, что школьники побаивались острого языка учителя.

Уклейкин толкнул в бок соседа по парте — Фильку Ковшова — и признался ему, что он не приготовил урока по геометрии.

— Выручай... Сейчас в лужу сяду.

— Да я и сам не успел,— шепнул Филька.— Прогулял вчера.

— А Шум уже поглядывает на нас... Как кот на сало. Сейчас спросит, поди... Вот уж осрамит.— И тут Уклейкин решил применить свой излюбленный прием — заговорить учителя и затянуть время. Он тряхнул рыжей шевелюрой и поднял вверх длинную, в коротком рукаве руку:

— Георгий Ильич, можно вопросик?

Учитель кивнул головой. Уклейкин, громыхнув крышкой парты, поднялся, шмыгнул носом и спросил Георгия Ильича, где мягче климат: в Сибири или в Соловках?

— Позвольте,— удивился учитель.— Какое это, собственно, имеет отношение к геометрии? Если уж угодно, так спросите об этом на уроке географии.

— Имеет, Георгий Ильич,— невозмутимо пояснил Уклейкин.— Мужикам знать надо, куда лучше ехать: в Сибирь или в Соловки?

Степа оторвал глаза от тетради и переглянулся с Шуркой: они сидели за одной партой. Уж какой раз Уклейкин начинает на уроках вот такие разговорчики. И почему только Георгий Ильич терпит?

— Мужики, Сибирь... О чем ты говоришь? — пожал плечами учитель.

— А вы разве не знаете? — продолжал Уклейкин.— Сейчас такой закон вышел: кто в колхоз не пойдет, того, значит, на высылку из деревни в дальние края. Могут даже к Ледовитому океану отправить, к белым медведям.

— Что за глупости, Уклейкин! — рассердился Георгий Ильич.— Садись! И давайте заниматься делом.

Лукаво подморгнув своим приятелям, Уклейкин сел. А приятели, сообразив, что урок может пройти без вызова к доске, принялись забрасывать учителя вопросами, правда ли, что семена, которые засыпают сейчас в общий амбар, потом отвезут в город для отправки за границу, а колхозных лошадей угонят на живодерку и забьют — мясо пойдет на конскую колбасу, а из кож пошьют городским дамам модные туфельки.

— Это же брехня кулацкая! — заливаясь краской, выкрикнул Степа.

— Самая что ни на есть отборная! — поддержал его Митя Горелов.

— Эй, вы, бражка! — Шурка исподлобья посмотрел на компанию Уклейкина.— Не мешайте урок слушать.

— А мы не мешаем,— невинным голосом сказал Уклейкин.— Мы вопросы задаем. Пусть Георгий Ильич нам по правде все скажет.

Озираясь по сторонам, Степа выискал глазами комсомольцев.

— Ребята, что же вы?.. Запретить им! — И он прикрикнул на Уклейкина.— Ты... подлипало! Замолчи сейчас же!

— Вот уж и подлипало! Что ж теперь, и спросить нельзя?

— Может, еще нас голоса лишите? — поддержали Уклейкина приятели.

— К белым медведям сошлете?..

— Привыкли тут комиссарить!

— Начальники! Гольтепа!

И класс забурлил. Мальчишки повскакали с мест, размахивали руками, кричали друг на друга, стучали крышками парт.

И только Филька неподвижно сидел на своем месте. Как хотелось и ему ввязаться в перепалку с «артельщиками», но он помнил наказ отца: ни в какие споры о колхозах не лезть!

Все-таки странная у него жизнь, у Фильки. Дома говори, что душе угодно, ругай колхозы, Рукавишниковых, Аграфену, Степку-колониста, а на улице или в школе веди себя паинькой, помалкивай. С каким бы удовольствием Филька подстерег Степку где-нибудь в темном переулке и намял бы ему бока, чтобы колонист не шпионил за Ковшовыми! А отец говорит, нельзя!..

Неделю назад Филька получил от отца совсем уж причудливое поручение — раззадорить Степку, вызвать на драку, но самому его не бить; сделать так, чтобы вся вина пала на колониста. Милое дельце! Тебя будут дубасить, а ты стой и облизывайся. Хорошо еще, что на свете есть Семка Уклейкин, который за деньги сделает все, что угодно. Семка, конечно, ободрал Фильку, как липку, но дела до сих пор почему-то не начинает. Сейчас Филька исподтишка наблюдал за распалившимся Степкой и Уклейкиным. Пожалуй, драки сегодня не миновать. Хотя бы перемена поскорее...

— Прекратите! Сейчас же! Я кому говорю? — взывал Георгий Ильич, стуча карандашом по столу.— Что это такое, спрашивается? Урок в классе или деревенская сходка? Уклейкин, Ковшов! Да вы скоро за грудки друг друга схватите...

Класс наконец угомонился, но было уже поздно: прозвенел звонок. Георгий Ильич вытер взмокшее лицо и, расстроенный, вышел из класса.

Степа бросился к Уклейкину:

— Ты что, нарочно урок сорвал? Издеваешься над Георгием Ильичом?

— А тебе какая забота? — с вызовом ответил Уклейкин.— Подумаешь, коммунар приблудный! Заявился невесть откуда и командует тут...

— Гнида ты! — брезгливо сказал Степа.— Да тебе за такое дело...

Филька затаил дыхание: лучшего момента для драки и быть не может. Колонист разъярен, не помнит себя, кругом полно свидетелей. Филька надавил приятелю на ногу — действуй! Уклейкин вылез из-за парты, расправил грудь, вплотную подошел к Степе и толкнул его плечом.

— Стукнуться хочешь?.. А ну, тронь, попробуй... Покажи свой бокс.

Степа отпрянул назад, глаза его сузились, все тело напряглось. Он уже не помнил себя от гнева. Но драке помешали Шурка с Митей. Они отвели Степу к двери и вытолкали в коридор.

— Дурной, с кем вяжешься? — сердито зашептал Шурка.— Уклейкина не знаешь? Сейчас хай поднимет на всю школу, жаловаться побежит...

Тяжело дыша, Степа засунул руки в карманы и отошел в конец коридора. И препротивный же у него характер! Сколько раз Матвей Петрович предупреждал его, чтобы он сдерживался, не лез на рожон. Но как тут сдержаться, если слышишь такие подлые слова!..

Тем временем в опустевшем классе Филька сердито отчитывал Уклейкина:

— Телок, размазня! Колониста не мог подначить.

— Видал, боится он меня,— похвалился Уклейкин.— Задний ход дал.

— Кому нужна твоя храбрость? Забыл, чему я тебя учил?

— Помню, помню...— отмахнулся Уклейкин.— Ладно, он еще у меня клюнет.

Весь день Уклейкин обдумывал, как бы ему раззадорить колониста. Может, подставить ножку или толкнуть в узком коридоре... Но ничего путного в голову не приходило.

В большую перемену Уклейкин заглянул в школьный зал. Когда-то здесь была барская гостиная, и до сих пор сохранились следы былой роскоши: лепные потолки с амурами, потертый фигурный паркет, камин, выложенный цветной майоликой, огромное, чуть ли не во всю стену полукруглое окно, застекленное толстым зеркальным стеклом, через которое так хорошо видны школьный парк, речка, а еще дальше холмистое поле и дорога, уходящая на станцию.

В зале прогуливались девочки, мальчишек было немного. Они предпочитали проводить большую перемену в нижнем коридоре, подальше от дверей учительской и кабинета директора, которые как нарочно выходили в школьный зал.

По примеру девчат Уклейкин принялся чинно прохаживаться по залу. У окна, достав из кармана маленькое круглое зеркальце, Таня Ковшова расчесывала гребенкой короткие волосы.

«Вот Степка на кого клюнет... на сестрицу»,— мелькнуло у Уклейкина. Улыбаясь, он подкрался к девочке, выхватил у нее из рук гибкую, прозрачно-желтую гребенку и, сжав ее, как пружину, пустил вверх. Гребенка ударилась о лепной потолок, потом о паркетный пол, подпрыгнула, и не успела Таня схватить ее, как Уклейкин, словно мяч, уже гнал гребенку по залу. Мальчишкам игра пришлась по душе. Гребенка летала из угла в угол, скользила по паркету и никак не давалась Тане в руки.

— Эй, мужики, пас на меня! — войдя в азарт, командовал Уклейкин и под одобрительный смех приятелей ловко обводил девочку — и что там ни говори, а он не последний футболист в Кольцовке!

— Отдай гребенку! — со слезами в голосе просила Таня, гоняясь за Уклейкиным.— Как не стыдно? Я вот Степе скажу!..

Но и без Тани кто-то из девочек уже успел позвать Степу. Тяжело дыша, он влетел в зал и шагнул к Уклейкину.

— Забавляешься?

Уклейкин остановился, гребенка лежала у его ног.

— Ага! — весело ухмыльнулся он.— Можем сыграть!

— Подними! — глухо приказал Степа.

Уклейкин сделал вид, что хочет нагнуться, но потом, кряхтя и скоморошничая, потер поясницу.

— Ох, прострел у меня!.. Спина не гнется.

Мальчишки кругом засмеялись. Степа побледнел и, стиснув зубы, вдруг схватил Уклейкина за шиворот, и, собрав всю силу, словно переломил его в пояснице, и наклонил к полу:

— Поднимай, говорю!

Пыхтя, Уклейкин принялся сопротивляться, но Степа все ниже пригибал его к паркету. Вот уже руки Уклейкина коснулись гребенки. Мальчишки

вновь засмеялись — в этот раз, пожалуй, не над Степой.

Чувствуя, что драка опять может не состояться, Уклейкин, изловчившись, изо всей силы ударил Степу под ложечку.

У мальчика потемнело в глазах. Выпустив Уклейкина, он отступил назад, жадно глотнул воздух, потом ринулся вперед. Он уже не помнил, как дрался — боксом или с плеча, он просто наносил удар за ударом во что-то большеротое, испуганное, хрипло орущее.

— Караул! Убивают! — истошно, на всю школу, вопил Уклейкин, пятясь назад и размазывая по лицу кровь из разбитого носа. Вот он натолкнулся на стремянку, которая стояла недалеко от окна. Не зная, куда деться от частых ударов, Уклейкин принялся карабкаться на стремянку. Степа полез следом, схватил Уклейкина за грудь и потащил вниз. Стремянка покачнулась. Девчонки завизжали и шарахнулись в сторону. Описав дугу, стремянка, как подрубленное дерево, упала на окно и верхним концом ударилась в стекло. Сцепившиеся мальчишки свалились на пол. Оглушительный звон стекла сразу отрезвил драчунов. Оттолкнув Уклейкина, Степа поднялся, бросил взгляд на окно и замер. Большое стекло было исполосовано причудливыми трещинами, в середине зияла пробоина с острыми зубчатыми краями...

Из учительской, приоткрыв дверь, на Степу смотрел директор школы.

А на полу валялась Танина гребенка...

«ТРУДНОВОСПИТУЕМЫЙ»

Педсовет состоялся в тот же день. Савин коротко доложил о дикой, беспримерной в истории школы драке, которую учинил ученик седьмого класса Степан Ковшов. Голос Савина звучал болезненно, устало: побаливало горло, шея была обмотана шарфом,— всем своим видом директор как бы говорил, что вопрос о Ковшове предельно ясен и его можно было бы не обсуждать, но, что поделаешь, такова уж судьба учителей!

— Я не сторонник крайних мер, как исключение из школы,— сказал под конец Савин,— но в данном случае иного выхода не вижу... Тем более, что за Ковшовым немало и других проступков.

Матвей Петрович, сидя у окна, вел протокол педсовета. Он с трудом сдерживал себя. Конечно, Степа Ковшов — подросток не из спокойных, резок, угловат, порой несдержан, но он честен, смел, любознателен, хороший товарищ и неплохой ученик. Так почему же сейчас, в конце учебного года, его надо исключать из школы? И почему обычная школьная драка, в которой еще неизвестно, кто больше виноват — Ковшов или Уклейкин,— так раздувается и превращается в чрезвычайное происшествие?

Закончив речь, Савин попросил учителей высказать свое мнение.

Первой заговорила преподавательница географии, дородная, флегматичная Клавдия Мартыновна. Ковшов, по ее наблюдениям, плохо влияет на товарищей, на уроках от него одно беспокойство, и будет куда лучше, если мальчика удалят из школы. Преподаватель столярного дела Хромцов заявил, что давно пора применить к Ковшову решительные меры: ведь всем известно, что он оклеветал председателя сельсовета, своего родного дядю, непочтителен к учителям.

Матвей Петрович, усмехаясь, спросил, как это понимать «непочтителен к учителям». Уж не в том ли дело, что Степа Ковшов написал в школьную стенгазету заметку о Хромцове, который на уроках неодобрительно отзывался о колхозах?

— Прошу прекратить эту недостойную травлю,— побагровев, закричал Хромцов, обращаясь к Савину.— Какой-то мальчишка подрывает авторитет учителя, а товарищ Рукавишников потакает этому... Когда же будет положен конец?! А Ковшова я требую немедленно исключить из школы и написать в характеристике, что он собой представляет...

— Это что же, вроде волчьего паспорта мальчишке выдать? — покачав головой, переспросил Георгий Ильич.

— Понимайте как угодно,— запальчиво бросил Хромцов.— Такие, как Ковшов, способны разложить всю школу...

— Это уж вы чересчур хватили,— недовольно перебил его Савин.— Все-таки Ковшов — только еще подросток, к тому же сирота, и нам надо подумать о его дальнейшей судьбе. Я бы так сформулировал наше решение. Считать дальнейшее пребывание в Кольцовской школе крестьянской молодежи ученика Ковшова, как трудновоспитуемого, невозможным и просить роно определить его в трудовую колонию... Записывайте, Матвей Петрович,— обратился он к Рукавишникову.

— Нет... этого я записывать не стану.— Учитель отложил ручку в сторону.

— Что с вами? — Савин с удивлением вскинул голову.— Вы не согласны с большинством?

Матвей Петрович поднялся, сжал в ладони пустой стакан.

— Да, не согласен... Назвать ученика трудновоспитуемым — это все равно, что поставить на нем клеймо. Позорное клеймо! Я не верю, что Степа Ковшов такой. Да вы и сами в это не верите...

Матвей Петрович вдруг вспомнил странные столкновения Степы с директором школы, его рассказы о подозрительных встречах Савина с Ильей Ковшовым... «Быть может, в этом-то все дело»,— мелькнуло в голове.

— Мне... мне кажется, что вы пристрастны к Ковшову,— глухо заговорил он, в упор глядя на директора.— Создается впечатление, что он вам в чем-то мешает и вы задались целью во что бы то ни стало удалить его из школы...

В учительской стало очень тихо.

— Это вы мне... мне говорите?—побледнев, вполголоса спросил Савин. Он поднялся, схватился за сердце и, обведя всех грустным взглядом, вновь опустился на стул.

Учителя бросились к директору. Клавдия Мартыновна поднесла графин с водой. Кто-то вырвал у Матвея Петровича стакан. Раздались возмущенные восклицания: «Неслыханно!», «Безобразие!», «Мы должны протестовать!». Савин отпил глоток воды и слабым голосом попросил проголосовать его предложение. Преподаватели подняли руки: пятеро — за исключение и двое — Матвей Петрович и Георгий Ильич — против.

— Другие вопросы обсудим завтра,— сказал директор.— Идите по домам, прошу вас...

Матвей Петрович первым вышел из учительской. На лестнице его догнал Шумов.

— Это уж вы зря погорячились,— ворчливо заметил он.— И наговорили бог знает что. Савин вам этого не простит... Завтра же поедет куда нужно...

— Ну что ж...— усмехнулся Матвей Петрович.— Как веревочке ни виться, а кончику быть... А за Степу, Георгий Ильич... большое спасибо вам.

* * *

Весть об исключении Степы Ковшова из школы молниеносно разнеслась среди ребят и обросла, как это часто бывает, небылицами и досужими домыслами.

О хулиганстве Степы передавались самые невероятные истории. Рассказывали, что Ковшов держит в страхе весь класс и способен сорвать любой урок, что преподаватели ходят перед ним на цыпочках, а Клавдия Мартыновна замирает от одного взгляда колониста и всегда ставит ему в журнале только отличные отметки.

Нюшка, Митя и Афоня лезли из кожи, доказывая всем, что все это глупые выдумки и враки, а Шурка в азарте даже поколотил одного болтливого шестиклассника. Пользы это никакой не принесло. Наоборот, в школе пошли разговоры, что дружки у Степы Ковшова — такие же драчуны и забияки, как и он сам, и их тоже не вредно бы отправить в трудовую колонию.

По утрам, как обычно, Степа приходил на занятия. Преподаватели из числа тех, которые голосовали за его исключение, делали вид, что не замечают его присутствия в классе.

Как-то раз Клавдия Мартыновна вызвала отвечать урок Шурку Рукавишникова.

Шурка, кинув взгляд на Степу, подошел к географической карте, взял указку и начал было рассказывать о реках Сибири, но потом неожиданно умолк.

— В чем дело Рукавишников? — спросила учительница.— Уже выдохся?

— Да нет... мы вчера со Степой здорово подготовились.— Шурка помялся.— Клавдия Мартыновна, вызовите Ковшова, чего он, как неживой, сидит.

— Я спрашиваю тех, кто учится в моем классе,— сухо заметила учительница.— А Ковшов, как известно, человек здесь посторонний.

Не дождавшись конца урока, Степа выскользнул из класса, ушел в общежитие и, швырнув на тумбочку книжки, повалился на топчан.

— Это по какому праву с урока улизнул? Кто такой? — сердито закричал заглянувший в общежитие школьный сторож дядя Петя.— А-а, колонист! Ну, тебе можно... Лежи, отдыхай останные дни. Не прижился, значит, в нашей школе, буйная голова помешала... Ничего, в колонию попадешь, там тебя ошкурят, приберут к рукам. Да ты ладно, не убивайся,— пожалел дядя Петя мальчика, заметив, как у того дрогнули плечи.— Все равно из деревни-то уходить. Родни у тебя здесь немного, да и та не очень привечает... И на артель особо не надейся: она долго не проживет.

— Чего ты мелешь, Емеля! — Степа зло посмотрел на сторожа.— Иди вот звонок на перемену давай!

Спохватившись, словоохотливый дядя Петя выбежал из общежития. В перемену к Степе зашли Таня, Нюшка, Шурка и принялись уговаривать его вернуться в школу.

— А зачем? — вяло пожал плечами Степа.— Я ж пустое место в классе... Меня, верно, и в списках уже нет.

— А ты... ты плюнь!.. И не думай ничего плохого. Учись себе и учись,— пыталась утешить его Нюшка.

— Матвей Петрович сказал, что он за тебя до последних сил драться будет,— сообщил Шурка.— И комсомольская ячейка вступится...

Но в этот день в школу Степа так и не пошел.

В сумерки в общежитии побывал Матвей Петрович. Он сказал: Степа поступил очень неразумно, что ушел самовольно с занятий. Это только лишний повод, чтобы Савин и другие преподаватели смогли обвинить его в озорстве и недисциплинированности. К тому же вопрос об исключении Степы будет еще утверждаться в роно. Комсомольцы уже написали в район письмо, а на днях Матвей Петрович сам поедет туда и сделает все возможное, чтобы отстоять Степу.

— Понимаю, тяжко тебе,— вздохнул учитель.— Но что делать! Постарайся все-таки посещать уроки...

Наутро скрепя сердце Степа отправился на занятия.

Дней через десять после педсовета директор школы вызвал Степу к себе в кабинет. Он сказал, что все устраивается даже лучше, чем предполагалось. Районный отдел народного образования уже подыскал для Степы место в одной из трудовых колоний. Колония старая, благоустроенная, имеет мастерские и подсобное сельское хозяйство. Так что по части обучения Степа, пожалуй, только выиграет.

У мальчика сжалось сердце. Он с трудом поднял голову и поймал на себе взгляд Савина. Маленькие свинцовые глаза директора смотрели на него пронзительно и выжидающе. Но это длилось лишь одно мгновение.

— За что вы меня так, Федор Иваныч?..— горестно и растерянно спросил Степа.

— При чем, собственно, я? — Савин поспешно отвел глаза в сторону и пожал плечами.— Пеняй на свой характер... Ты ведь почти всех педагогов восстановил против себя...— И он попытался ободряюще улыбнуться. Пусть Степа не огорчается, что ему приходится оставлять Кольцовскую шекаэм. Это даже не исключение, а просто перевод в другое место для его же, Степиной, пользы. Мальчик поживет в новом коллективе, подтянется, изменит свое поведение.

Степа, опустив голову, молча смотрел себе под ноги.

— Ну, что ж, Ковшов,— вздохнул Савин.— Будем прощаться. Получай документы, стипендию за месяц. Все тебе уже заготовлено...— Он поднялся из-за стола и, подойдя к Степе, сунул ему в руку небольшой пакет.— На новом месте тебе хуже не будет...

Что-то сильно, словно клешнями, сдавило Степе горло, и он, не помня себя, выбежал из кабинета директора.

В школе стояла тишина: в классах шли уроки. Тяжелый медный колокольчик покоился на камине. Полукруглое окно в школьном зале было забито фанерой.

«Вот и все, отучился»,— сходя с лестницы, подумал Степа. Его выгоняют из школы, разлучают с сестрой, с ребятами... Да еще как выгоняют! С позорной славой: «хулиган», «трудновоспитуемый»... А за что? Кому он встал здесь поперек дороги?

В раздевалке Степа отыскал свои пиджак и шапку, зачем-то оделся, хотя и сам еще не знал, куда он должен сейчас пойти.

С лестницы осторожно, на цыпочках, спустилась Нюшка.

Взглянув на Степу, она без слов поняла, что случилось.

— А это что у тебя? — Нюшка кивнула на пакет, который мальчик до сих пор держал в руке.

— Документы, стипендия за месяц...— вяло ответил Степа.— Сейчас директор вручил...

У Нюшки округлились глаза. И зачем только он взял этот пакет?! Ведь Матвей Петрович еще по-

завчера уехал в район, и он, конечно, докажет там, что Степу совсем не за что исключать из школы.

— Эх ты, простота-доброта! — упрекнула его Нюшка.— Стоял бы на своем: «Не имеете права исключать!» — и вся недолга... А ты уже и раскис!

Степа с недоумением посмотрел на пакет — в самом деле, зачем он взял документы и деньги? Может быть, с приездом Матвея Петровича все еще изменится? Нет, Нюшка определенно права. Раскис Степа перед директором, заслушался... А вот он возьмет да и вернется к Савину, отдаст ему пакет и скажет, что ни в какую колонию не поедет. Может, кому-нибудь и очень нужно, чтобы Степа исчез из Кольцовки, но он уезжать не собирается, он будет учиться только здесь.

— А когда Матвей Петрович приедет? — с надеждой спросил Степа.

— Сегодня должен.— Нюшка украдкой поглядела на осунувшееся лицо мальчика.— А может, он уже и приехал. Пошли к Рукавишниковым!

— У тебя же уроки, прогул запишут.

— Подумаешь, прогул!..— Нюшка махнула рукой и сорвала с вешалки свою куртку.

В ОСАДЕ

Они вышли из школы.

— А на воле-то как хорошо! — зажмурившись от солнца, вскрикнула Нюшка.

И верно: весна уже давала о себе знать. Солнце пригревало вовсю, снег осел, дороги и тропки побурели, с крыш частой серебряной дробью стучала капель, завалинки у изб вытаяли, и на них уже хозяйничали горластые куры и петухи.

Степа и Нюшка прошли липовой аллеей и, свернув на улицу, направились к Рукавишниковым.

В деревне царило необычное оживление. У пожарного сарая стояла кучка стариков и что-то бурно обсуждала. У колодца собрались женщины. Размахивая руками и потрясая коромыслами, они тоже о чем-то спорили. Потом, забрав пустые ведра, женщины пошли к дому Никиты Еремина, в котором теперь, после раскулачивания и выселения хозяина, помещалось правление артели.

— Что за собрание сегодня? — спросил Степа.

— Да нет, вроде не должно...— озадаченно сказала Нюшка.— Артельщики в рощу ушли... Лес рубят для новой конюшни.

— А смотри, сколько народу собралось...— показал Степа в сторону правления, откуда доносились шум и крики.— Ясное дело, собрание будет. И, видно, важное. Давай послушаем...

Нюшка хотела было напомнить Степе, что они и без того идут по важному делу, но как тут не послушать, о чем будут говорить колхозники!.. И она вслед за Степой свернула с дороги.

У правления толпилось человек пятнадцать мужиков. Ругаясь и выкрикивая угрозы, они осаждали счетовода Ваню Селиверстова, который стоял перед ними на ступеньках крыльца в распахнутом ватнике и в сбитой набок кепке. С первых же дней артельной жизни Ваню, как комсомольца и грамотея, выдвинули работать в правление колхоза: он был и счетоводом, и учетчиком, и делопроизводителем.

— Граждане! Я вам русским языком поясняю,— тяжело дыша, говорил Селиверстов.— Ну, нет Егора Петровича. В район уехал, на совещание... А другие члены правления вместе с сознательными колхозниками в роще бревна пилят... для артельной конюшни стараются. А вы в такой день от работы отлынываете да еще бузу поднимаете...

— Ты, Ванька, нас не учи. И зубы не заговаривай! — пьяно покачиваясь, закричал на него голенастый, сухой, как жердь, Тимофей Осьмухин.— Мы теперь вольные казаки. Выдавай бумагу... и баста!

— Чего ему надо? — недоумевая, спросил Степа.

— Назюзюкался, вот и несет околесицу...— фыркнула Нюшка.

— Ну, ну! — прикрикнул на нее Прохор Уклейкин.— Укороти язычок-то, балаболка... Сидите там в школе, не знаете ничего. Колхозы-то распущаются...

— Как это? — опешила Нюшка.— Что ты, дядя Прохор?

— Вот тебе и дядя-тетя,— циркнул сквозь зубы Уклейкин.— Из Москвы такой приказ пришел. От самой партии. Во всех газетах пропечатано. Расходись, мужики, живи, как жилось...

Степа и Нюшка даже подались от Прохора в сторону. Кому же не известно, что старик Уклейкин, как и его внук Семка, способен наговорить такое, в чем никогда и не разберешься.

— Вот народ и выходит из артели,— кивнул Уклейкин на мужиков, осаждавших Ваню Селиверстова.— А теперь лошадей требуют...

— Выдавай бумагу, Ванька! — орал Осьмухин, напирая грудью на Селиверстова и все выше загоняя его по ступенькам крыльца.

Осьмухина поддержал Никодим Курочкин. Тыча Селиверстову пальцем в грудь, он все пытался втолковать ему, что раз мужики не согласны жить в артели, никто не имеет права задерживать их лошадей на общем дворе. И пусть Ванька сейчас же напишет распоряжение, поставит артельную печать, и они пойдут на конюшню за своими лошадьми.

— Да вы кто — дети малые? Младенцы грудные? — силился образумить мужиков Селиверстов.— Как можно? Я же прав таких не имею... Это правление должно решить.

— Да что с ним болты болтать! — Осьмухин махнул мужикам рукой.— Айда до конюшни!

Широкое лицо Селиверстова покрылось росинками пота.

— Это... это знаете, как называется,— задохнулся он, расталкивая мужиков.— По закону отвечать будете... Я вот в сельсовет...

— Нет уж, милок, обожди,— Курочкин крепко схватил его за плечо и подмигнул мужикам.— Посиди пока в чуланчике, не мешай нам...

Селиверстов ухмыльнулся, неожиданно присел, вырвался из рук Курочкина и, спрыгнув с крыльца, метнулся в сторону. Но мужики быстро нагнали его, сбили с ног и, скрутив за спину руки, потащили в сени.

— Что вы делаете? Не смейте! Отпустите! — в один голос закричали Степа и Нюшка, бросаясь к мужикам.

Услыхав знакомые голоса, Ваня обернулся.

— А-а, шекаэм! — обрадовался он.— Бегите в сельсовет! Или нет... лучше к Аграфене...— Ваня не договорил: его втолкнули в сени.— Пусть ворота закроют... ворота,— донесся его голос уже из-за стены.

— Сунуть и этих за компанию, что ли?..— услышал Степа голос, и к нему потянулась чья-то рука. Но он, не раздумывая, отпрянул в сторону и помчался вдоль деревни. Рядом бежала Нюшка. Они влетели в ковшовский двор и едва не сбили с ног дядю Илью. Аграфены во дворе не было.

— Мужики идут!..— хрипло крикнул Степа.— Лошадей забирать!

— Кыш ты, оглашенный! — замахал на него руками Илья Ефимович.— Опять тебе мерещится?

— Да нет же... Вот Нюшку спросите! Закрывайте ворота!

Во двор с полной плетенкой сена за спиной вошла Аграфена. Нюшка бросилась к матери и коротко рассказала о том, что произошло у правления.

— Мужики? Осьмухин, говоришь? Пьяный? — побледнев, переспросила Аграфена. Она быстро закрыла ворота, заложила их тяжелым засовом и спросила Илью Ефимовича, нет ли поблизости какого-нибудь бревна или доски, чтобы для большей прочности припереть ворота.

— А может, уйти нам подобру-поздорову? — начал было Илья Ефимович, но, заметив злой взгляд Аграфены, замялся.— Есть подпорки, есть... достану сейчас.

Он толкнул дверцу, ведущую со двора в сени, и скрылся.

Аграфена кинула взгляд на Степу и Нюшку и велела им уходить домой.

— Что вы, тетя Груня! — заспорил Степа, а Нюшка сделала вид, что не расслышала слов матери. Она заглянула под сени и, обнаружив там старые, облепленные паутиной доски, закричала:

— Смотрите, да здесь полно подпорок!

Аграфена с ребятами принялась подтаскивать к воротам доски. Не успели они поставить третью подпорку, как снаружи донеслись возбужденные голоса и в ворота забарабанили тяжелые кулаки.

— Илья, выдавай лошадей! Правление приказало!..— закричал Осьмухин.— Бумагу на руках имеем.

— Врешь, Тимофей, нет у тебя никакой бумаги!..— отозвалась Аграфена.— Самоуправством занимаешься.

— Это ты, Грунька?—узнал ее Осьмухин.— Честью просим, не супротивничай, открывай ворота!

— И я по-хорошему прошу: не ломись, отойди от артельной конюшни.

— Да пойми, дурья твоя голова, весь народ из колхоза выходит!..

— Все не уйдут...— засмеялась Аграфена.— А кто и шарахнется, так тоже вроде тебя... жалеть не будем! Ну, кто там еще с тобой? Прохор Уклейкин да Никодим Курочкин? Эти тоже из тех «куда ветер дует», ни рыба ни мясо.

— Грунька! — вновь закричал Осьмухин.— Последний раз говорю... Не доводи до остервенения... Ворота высадим!

Аграфена сжалась, схватила острые железные вилы, ударила ими по стене. Вилы зазвенели.

— Только посмейте! — хрипло погрозила Аграфена.— Вилы в ход пущу. Вот те крест, пропорю!..

— А-а, стращать нас? — взревел Осьмухин.— Навались, мужики!

Ворота затрещали, заходили ходуном, заерзали на железных петлях. По ним дубасили кулаками, кольями, ногами.

Лошади во дворе насторожились, запрядали ушами, застучали копытами. Красавчик протяжно заржал.

«Как с цепи сорвались! — подумала Аграфена.— Не ровен час, и высадят ворота. И куда это Илья подевался?» — И она приказала ребятам принести еще досок...

Степа и Нюшка полезли под сени.

— Это как осада крепости,— блестя глазами, шепнула Нюшка.— Ты как думаешь, выстоим?

— Должны вроде... если, конечно, ворота выдержат,— ответил Степа.

Напор в ворота между тем начал ослабевать, крики и брань снаружи утихли.

Нюшка бросилась к воротам и припала к щели.

— Мамка, они уходят! — восторженно завопила она.— Наша взяла!

Но тут в сенях послышался топот, возня, загремело пустое ведро, и раздался возмущенный голос Ильи Ефимовича:

— Разбой, насилие! Я жаловаться буду!

Потом дверца из сеней распахнулась, и с высокого приступка прыгнул во двор Тимофей Осьмухин. Он бросился к воротам и принялся вытаскивать засов. Аграфена вцепилась в Осьмухина, стараясь оттащить его от ворот. Но было уже поздно: двор наполнился мужиками. Они оттеснили Аграфену в сторону, посбивали подпорки и, распахнув настежь ворота, начали выводить на улицу лошадей. Кое-кто прихватывал даже хомуты, вожжи и седелки.

Аграфена бегала по двору, хватала лошадей за поводья, заворачивала их обратно в стойла, отнимала у мужиков сбрую, уговаривала их не разбойничать.

Вот она вновь столкнулась с Осьмухиным, который, выведя свою лошадь из стойла, начал взбираться ей на спину. Изловчившись, Аграфена с криком ухватила его за ногу. На помощь ей подбежали Степа с Нюшкой, и совместными усилиями они стащили Осьмухина с лошади.

Обозленный Тимофей бросился на Аграфену и, нехорошо выругавшись, с силой толкнул ее в грудь. Аграфена отлетела в угол, ударилась головой о кормушку.

Глаза у Нюшки загорелись злым огнем.

— Мамку бить! — воинственно завопила она и, схватив метлу, начала яростно охаживать Осьмухина и других мужиков по спинам. Не отстал от нее и Степа. Зачерпнув из кадки ведро воды, он принялся обливать мужиков, словно тушил пожар.

Ребят отталкивали, хлестали поводьями, пинали ногами...

ГЛУХАЯ СТЕНА

Наконец все утихло.

Аграфена, держась за голову, прошлась по двору, пересчитала оставшихся лошадей — не хватало одиннадцати. Из сеней выглянул Илья Ефимович.

— Отсиделся? — насмешливо встретила его Аграфена.

— Озверел народ... Под руку не попадайся.— Он покачал головой и оглядел растрепанную Аграфену, поредевший ряд лошадей, разбросанные по двору метлы и ведра.— Чисто мамаево побоище.

Кинув на Ковшова подозрительный взгляд, Аграфена спросила, зачем он пустил мужиков во двор через сени.

— Что ты, окстись-перекрестись! — Илья Ефимович обиженно замахал руками.— Я-то при чем? Мужики силой ворвались, нахрапом... Слышала, как я кричал...— Он поднял опрокинутые ведра, поставил в угол метлы, вилы, потом сказал Аграфене, что им надо немедля пойти в правление и заявить, как все случилось. А то, не ровен час, еще подумают, что они в чем-то виноваты.

— Иди заявляй,— отвернувшись, бросила Аграфена.— И как в сенях отсиживался, тоже не забудь сказать.

Сделав вид, что не расслышал последних слов, Илья Ефимович поспешно ушел. Аграфена обернулась к Нюшке и Степе. Не глядя друг на друга, мрачные, нахохлившиеся, они сидели молча на соломе.

— Идите-ка вы по домам... Чего уж здесь!—устало сказала Аграфена. Степа медленно поднялся, поправил шапку на голове, посмотрел за ворота...

«По домам». Легко сказать. А где он, его дом? У дяди, что ли? Или в школе?.. Да вот и с артелью что-то не ладится. Сколачивали ее долго, трудно —

и вдруг все зашаталось, поползло... За что же ему держаться теперь, где жить? Может, и в самом деле послушать Савина да уехать в колонию? Будет крыша над головой, учение, товарищи, новые дела...

— Да, как у тебя со школой-то? — вспомнила Аграфена, заметив, что Степа чем-то удручен.

— Да так... по-старому все.

— По-старому...— с горечью отозвалась Нюшка.— А у самого уже все документы в кармане.— Голос ее полез вверх.— Завтра его и в столовой больше не накормят... И в общежитие не пустят.

— Вытряхнули, значит? Вчистую? — Пораженная тем, что услышала, Аграфена подалась к Степе, желая по-матерински привлечь его к себе.— Ах ты, сиротина-горемыка! И заступиться некому! Что же это Матвей Петрович молчит? Ведь он обещал...

— Ждем вот... на него вся надежда,— ответила Нюшка и, вскочив, виновато всплеснула руками.— Ой, мы и забыли! Нам же к Рукавишниковым надо.

На улице послышались голоса. Аграфена выглянула из ворот. Ко двору приближалась большая группа колхозников. Многие были с топорами и пилами: видно, только что вернулись из рощи. Впереди всех шагал Егор Рукавишников. Справа от него шел Илья Ефимович, слева — Ваня Селиверстов.

— Ну как, артельщики, живы? — встревоженно спросил Егор, подходя к воротам.— Крепко досталось?

Аграфена только махнула рукой:

— Лучше не спрашивай.

— Им от нас тоже перепало,— буркнула Нюшка и, заметив лукавый взгляд Селиверстова, улыбнулась.

— Знаю, знаю,— кивнул Егор.— Илья Ефимович уже доложил. Осаду, однако, вы держали неплохо...

— Держали, да не выдержали,— вздохнула Аграфена.— Одиннадцать коней как не бывало... Моя вина, Петрович... я в ответе.

Колхозники зашумели. Раздались голоса, что надо сегодня же собрать общее собрание артели и потребовать, чтобы самоуправщики привели лошадей обратно.

— Да что с ними цацкаться, с бузотерами! — предложил Илья Ефимович.— Пойти да забрать коней силой. А такого, как Осьмухин, за бесчинство и в милицию отправить не грех...

— Ну нет, горячку пороть не будем,— хмуро перебил его Рукавишников.

— Дядя Егор, а это правда, что колхозы распущаются? — переглянувшись со Степой, негромко спросила Нюшка.

Рукавишников поморщился, вытащил было кисет, но тут же снова сунул его в карман.

— Слыхали, какие разговорчики пошли? — обратился он к колхозникам.— Враги уже поработали... постарались... За каждую ошибку цепляются... На любую подлость готовы.— Он достал из нагрудного кармана затертый номер газеты и, развернув ее, показал собравшимся.— Смотрите вот. Постановление Центрального Комитета нашей партии. Сегодня людей соберем, читать будем... Горькое постановление, но, как говорится, не в бровь, а в глаз. Случилось такое, что кое-кто из работничков про главное забыл, про святая святых — про добровольное вступление в колхозы. Нажимать на людей стали, командовать. За цифрами погнались. Кое-где вместо артелей на коммуны начали перескакивать, принудительно мелкий скот обобществляли, курей, жилые постройки. Ну, люди, конечно, недовольны. А кулачье и их подголоски раздували все это: любая провокация хороша, только бы честных людей с Советской властью поссорить. Вот партия и призывает нас — перегибы надо исправлять. И, заметьте, враги и тут зацепились. Не успело еще постановление до людей дойти, а они уже слушок подбросили: колхозы распускаются, можно, мол, из артели лошадей забирать, коров, семена. Вот и у нас в Кольцовке кое-кто клюнул на эту удочку.

— Что ж теперь с самоуправщиками-то делать? — спросил Василий Хомутов.

— Очухаются от угара — сами лошадей приведут...— Рукавишников не договорил и вгляделся вдоль улицы. По дороге трусила осьмухинская пегая лошадь. Верхом на ней сидели двое мальчишек: впереди Митя Горелов, а сзади, обхватив его за живот руками, Колька Осьмухин.

Подъехав ко двору, мальчишки сползли со спины лошади.

— Берите обратно... она уже здесь привыкла,— деловито сказал большеглазый худенький Колька Осьмухин, протягивая Аграфене поводья.

Аграфена недоверчиво поглядела на мальчишек.

— Вы что, тоже самовольно лошадь увели? А Тимофей прибежит, скандал поднимет...

— Не прибежит. Его тетка Матрена не пустит больше,— объяснил Митя.— У них дома перепалка идет. Тетя Матрена два горшка от злости расколотила. «Веди,— кричит,— лошадь обратно, хочу в артели жить, надоело тебя слушать, суму переметную!» А дядя Тимофей свое твердит: теперь никаких колхозов на свете не будет. И тоже бац горшком об пол. Пока они там горшки бьют, мы с Колькой на лошадь сели да сюда...

Колхозники засмеялись. Аграфена вопросительно посмотрела на Рукавишникова: принимать или не принимать осьмухинскую лошадь?

— Пожалуй, примем,— улыбнулся Егор.—Я так думаю, Матрена теперь обломает своего хозяина.— И он обернулся к Нюшке, Степе и другим ребятам, которых уже немало собралось у двора: — Слышали, о чем разговор? И плюньте тому в глаза, кто про колхозы зазорное скажет. Нет, теперь их никакая сила с нашей земли не вырвет!

— Ну, вот, как гора с плеч,— облегченно вздохнула Аграфена,— а то ведь, пока в осаде сидела, всякое передумала...

Колхозники начали расходиться. Рукавишников задержался с Аграфеной около лошадей. Степа подошел к нему и спросил, не вернулся ли из района Матвей Петрович.

— Да, у меня ведь с тобой разговор,— вспомнил, роясь в карманах, Рукавишников.— Матвею пришлось задержаться... Но он тебе написал кое-что. Утешительного, правда, пока мало...

Дрогнувшей рукой мальчик взял записку.

«Степа,— прочел он.— Твое исключение в роно утвердили. Дело запуталось и осложнилось. Буду драться. В трудовую колонию пока не выезжай, переходи жить к нам. Крепись!

Матвей Петрович».

Поднявшись на цыпочки и заглядывая через плечо Степы, прочла записку и Нюшка. Потом, боясь взглянуть в лицо мальчику, она взяла записку у него из рук и дала прочесть матери.

— Что же это, Петрович? — в сердцах сказала Аграфена.— Так и отдадим парня на съедение! Вытурили ни за что ни про что, а мы и сделать ничего не можем...

— Да, дела на белом свете! — удрученно протянул Егор.— Матвей говорит, стена глухая в этом роно, не пробьешь. А Савину там почему-то полная поддержка. Признаться, Матвею и самому туго приходится.

Егор замялся, искоса поглядел на ребят, стоит ли при них говорить об этом, но потом решился...

— Жалоба в роно поступила... Матвей, дескать, учеников на учителей натравливает, директора оскорбил, порядки нарушает. Ну, вот Матвея и переводят в другую школу... От Кольцовки подальше.

— А кто пожаловался-то, дядя Егор? — спросила Нюшка.

— Ваши же преподаватели. Коллективное заявление... пять подписей!

— Степа, что же теперь? — еле слышно спросила Нюшка.

— Я, пожалуй, в колонию,— глядя в сторону, глухо произнес мальчик.— Все равно уж...

— Вот ты как решаешь! — не скрывая обиды, заговорил Егор.— Тут такой клубок распутывать надо, а ты подальше уходишь! Нажали на тебя — ты и лапки кверху. Ухожу, мол, не мешаюсь, дорогу не загораживаю — творите, что хотите. А вот Матвей пишет: он драться будет. Да и отец твой так же бы поступил...

Степа с тоской поднял на Егора глаза.

— Да будет тебе строжить парня-то,— вступилась Аграфена.— Не чужой он нам, роднее родного... И никуда он от нас не уйдет.

ЭКЗАМЕН

На другой день Степа перенес свои вещички к Рукавишниковым. В маленькую комнату за дощатой перегородкой, где спал Шурка, Егор втиснул еще один топчан, его жена приготовила постель, а Шурка вбил в стену огромный гвоздь для одежды приятеля и освободил для его книг часть своей полки.

— Твоя законная половина... Занимай и властвуй!

— А зачем мне? — удивился Степа.— Я же теперь не учусь. Книги можно и в чемодан убрать.

— Это ты зря,— насупился Шурка.— Пробросаешься учением-то.— И он принялся доказывать, что учиться вполне можно и дома. Он, Шурка, будет рассказывать Степе, о чем говорили учителя на уроке, потом они вместе станут заниматься, потом Шурка будет гонять приятеля по всем вопросам и может даже проставлять ему оценки.

В конце концов Степа решил заниматься, как советовал Шурка. Но это было непривычно и странно — сидеть одному в пустой избе, не слышать ровного ребячьего гула в классе, не ждать с нетерпением звонка на перемену.

И занятия плохо шли на ум. К тому же постоянно находились какие-нибудь дела: то надо вытащить Шуркиной матери из печи тяжелый чугун с картошкой, то сбегать на колодец за водой, то наколоть дров...

Потом нельзя же не заглянуть в правление артели: теперь это было самое оживленное и шумное место в Кольцовке. Здесь постоянно толпились люди, шли споры о семенах для сева, о плугах, боронах, телегах, сбруе. В просторной горнице бывшего ереминского дома пахло сыромятной кожей, овчинами, дегтем, на подоконниках лежали горки зерна.

Егор Рукавишников, сидя на широкой лавке с резной спинкой, выписывал колхозникам наряды на работу.

— Дядя Егор, а можно и мне наряд? — попросил Степа.

— Ну что ж,— подумав, согласился председатель.— Раз у тебя такое дело... простой со школой — можно и на работу.— И он послал Степу к амбару, где колхозники сортировали зерно.

После сортировки семян председатель направил Степу к землеустроителям, которые нарезали колхозу полевые угодья. Степа таскал на плече тяжелую геодезическую линейку с черными делениями, помогал делать промеры, ставил вешки. Уже определялись границы просторных земельных угодий артели. Они вбирали в себя десятки и сотни узких, горбатых полосок, и Степа даже жалел, что ребята не видят вместе с ним, как закладывается общее поле. Вот уж будет где развернуться «Фордзону»! Да что там «Фордзон» — пускай сюда хоть десять тракторов, всем хватит места!

Дня через три, когда землеустроительные работы кончились и Степа вернулся домой, его встретил Шурка.

— Степану Григорьевичу наше вам! Где пропадаешь?

— Срочная, понимаешь, работа. Колхозу землю нарезали...— с достоинством пояснил Степа.

— Ого! Совсем артельщиком заделался...— Шурка не без зависти оглядел тронутое первым загаром лицо приятеля, его загрубевшие руки, заляпанные грязью сапоги, подвернутые рукава куртки.— Незаменимый, значит... А учение вроде побоку?

— Да нет...— слегка смутился Степа.— Засяду вот сегодня... наверстаю. И чего это Матвей Петрович вестей не подает!

— Есть вести,— нахмурился Шурка и сообщил, что знал.— Сегодня Матвей прислал записку: дела у него неважные. В восстановлении на старой работе ему отказали, а в новую школу он ехать не согласился. Сейчас Матвей в область отправился... стенку пробивать,— сказал Шурка.— До Москвы, пишет, дойду, а своего добьюсь.

Вечером Егор Рукавишников спросил ребят, работает ли у них тракторный кружок.

— С теорией покончили, теперь практическое вождение началось. Только без Матвея Петровича страшновато за руль садиться,— признался Шурка.

— А вы все-таки поторапливайтесь,— попросил Егор.— Время не терпит, скоро весна, сев. На худой конец, Георгия Ильича раскачайте.

Степа и Шурка задумались. По теории Георгий Ильич объяснит, что угодно, а вот водить трактор он не умеет и даже побаивается. В этом деле члены кружка и то больше понимают.

— А знаешь что,— предложил Степа.— Давай самостоятельно заниматься. Тихо будем ездить, осторожно... Все-таки практика.

Шурка согласился.

На другой день после занятий члены тракторного кружка собрались у школьного сарая. Залили мотор водой, заправили керосином и принялись крутить заводную ручку. Трактор молчал.

В сарай заглянули любопытные интернатцы.

Наконец мотор, словно сердясь, что ему не дают покоя, зафыркал, дал серию холостых выстрелов и, окутав всех черным вонючим дымом, затрясся, как припадочный.

— Спасайся кто может! — дурашливо закричали интернатцы.— Сейчас взорвется!

Степа сделал вид, что ничего не слышит.

— Начинаем! Чья очередь водить? — обратился он к кружковцам и, заглянув в тетрадь, вызвал Нюшку.

Шурка кинул на приятеля выразительный взгляд.

— Опять наколбасит,— шепнул он.— Пусть первым хоть Афоня едет.

Степа покраснел и, не глядя на Нюшку, скомандовал:

— Ветлугина, за руль!

Нюшка ловко вскарабкалась на железное сиденье трактора. Степа и Шурка в роли инструкторов примостились за ее спиной, на крыльях.

Подавшись вперед и вцепившись в баранку так, что побелели пальцы на сгибах, Нюшка вывела трактор из сарая, развернулась и направила его к школьному огороду.

Наклонившись, Степа крикнул, чтобы Нюшка ослабила пальцы и не горбилась, но она ничего не слышала и с отчаянным лицом кружила по огороду.

Все шло благополучно, если не считать того, что Нюшка слегка зацепила забор перед флигелем директора школы и раздавила старую бочку, которой вообще было не место в огороде. Но все это были сущие пустяки по сравнению с тем, что выделывала Нюшка на первых занятиях по практическому вождению трактора.

Степа не без торжества покосился на Шурку и разрешил Нюшке проехать еще полтора круга сверх положенных пяти.

Потом по очереди водили «Фордзон» остальные кружковцы. Они останавливали трактор, трогали вновь, переключали скорости, делали развороты направо и налево, старались провести машину как можно прямее, чтобы весной в поле «борозда пролегла, как по шнуру».

Степа сел за руль самым последним.

— Эх, плужок бы прицепить да в поле — вслух подумал он, поглядывая на вытаявшие черные пригорки.

— Теперь уж скоро! — мечтательно отозвался Шурка, сбив на затылок шапку и глубоко вдыхая теплый воздух, что волнами накатывался с поля.

Степа сделал два круга по размешанному серому снегу и, заскучав, повел трактор вдоль изгороди, да так близко от нее, что Шурка даже оторопел: не иначе приятель решил поозоровать и позлить директора. Но нет, трактор не зацепил ни одного столба, ни одной тычинины. Потом Степа обогнул на тракторе школу, ловко лавируя между старыми, толстыми деревьями, пересек парк и выбрался в липовую аллею.

— Ты куда? — спросил Шурка.

— По деревне разок проедем... Пусть люди на трактор посмотрят!

Шурка хотел было предупредить, что мотор у трактора с норовом, может забарахлить, а они в технике не так еще сильны, но искушение показать трактор в деревне было столь велико, что он лишь махнул рукой.

— А ну, давай! Газуй!

Степа переключил мотор на третью скорость. Кружковцы, догадавшись, куда направились ребята, побежали следом за трактором. Нюшка сорвала с головы красную косынку, привязала ее к палке и, догнав «Фордзон», бросила флажок Шурке.

Разные звуки знала деревенская улица: по утрам неистово перекликались петухи, вечерами наяривала шальная гармошка и горланили задорные песни девчата, ранней весной с первыми теплыми днями трубно мычали во дворах коровы и заливисто ржали лошади, в рабочие летние дни жестко стучали о затвердевшую землю колеса телег, зимой в мороз визжали железные подрезы саней, в праздники над улицей плыл тягучий колокольный звон, а во время пожаров всех пугал тревожный набат.

Но сегодня до слуха людей дошел новый, непривычный звук. Деревня впервые услышала железный голос мотора.

И все, кто был в избах, стар и мал, высыпали на улицу. Так вот он, железный коняга, о котором так много было разговоров в деревне! Вот он без заминки идет вперед, крепкогрудый, маслянистый, горячий, попыхивает синим дымком, глубоко вдавливается в зимнюю дорогу шипами своих широких колес. Попробуй-ка останови его!

Значит, все это не пустые слова, не болтовня ребятишек — доказали-таки свое школьники! Колхозники, еле поспевая, шагали за трактором.

Степа и Шурка встретились глазами и не могли скрыть довольных улыбок: вот это агитация! Покрепче любого слова.

— Маши флагом, маши! — приказал Степа приятелю.

Проехав под окнами правления, он лихо развернулся и выписал трактором замысловатую восьмерку.

Но тут случилось то, чего больше всего боялся Шурка. Мотор, гудевший до сих пор ровно и басовито, вдруг захлебнулся, неприятно, по-старчески, затарахтел и вскоре заглох.

Степа и Шурка спрыгнули с сиденья и принялись с ожесточением крутить заводную ручку. На помощь им бросились кружковцы. Но мотор, словно решив, что сегодня он и без того изрядно поработал, позорно молчал. Подняв капот, Степа и Шурка с сосредоточенным видом склонились над мотором.

Их бросило в жар: вот и всегда так с этим «Фордзоном»! То бегает, как молодой, то встанет ни с того, ни с сего, а они ломай голову, в чем тут загвоздка. Похуже любой каверзной задачи по алгебре. Вот и сегодня задача оказалась нелегкой. К тому же ее надо решать в присутствии доброй сотни людей, которые со всех сторон уже обступили трактор.

— Ребята, быстрее! Не срамотитесь! — шепнула Нюшка, озираясь на толпу.

Мальчишки проверили свечи, зажигание, продули топливопровод, еще раз покрутили ручку, но мотор по-прежнему не заводился.

— С придурью машина-то! — послышались возгласы.

— Лошадь, ту хоть кнутом да криком поднять можно... А эту железяку чем?

— А в борозде трактор встанет?.. Так и кукуй до вечера, грейся на солнышке.

— Эх вы, мастаки-механики! Кататься умеете, а чинить да править чужого дядю кликать надо.

— Может, знахаря позвать, он поколдует?

Обливаясь потом, Степа с Шуркой ползали вокруг машины, забирались под мотор, измазались маслом, суетливо хватались за разные инструменты, мешали друг другу и под конец начали злиться и препираться.

— Граждане! — упрашивал толпу Егор Рукавишников.— Ну застопорило машину, заело. Что за беда! Дайте же одуматься хлопцам. Расходись по домам! — И, пробравшись к мальчишкам, он просительно зашептал: — Да ну же, сынки! Поднатужьтесь!

Мальчишки готовы были провалиться сквозь землю. Проехать с форсом по деревне, собрать столько людей, а теперь сидеть посреди улицы и слушать, как зубоскалят колхозники,— это ли не срам? А Матвей Петрович еще гордился ими как лучшими кружковцами.

— Может, за Георгием Ильичом сбегать? — шепнула Нюшка.

— Беги,— выдохнул Шурка, но Степа удержал ее. Что ж, так они и будут при всякой неполадке бегать к учителям да старшим? Грош цена в таком случае молодым трактористам!

Он обтер разгоряченное лицо снегом и вновь полез под капот. Главное, как учил Матвей Петрович,— не суетиться, осмотреть все по порядку, начать с самого простого...

— Стоп, Шурка,— чуть не закричал Степа.— Вот

же она, заковыка. Никакой поломки нет. Смотри, провод отошел... Ах, дубье мы стоеросовое!

Почем зря ругая себя, кружковцы наконец завели мотор, и «Фордзон» тронулся в обратный путь.

У школы их встретили Георгий Ильич и Савин.

— Что у вас там случилось? — с тревогой спросил Шумов.— Почему меня не позвали?

— Справились, Георгий Ильич,— улыбнулся Шурка.— Вы же не всегда нас за ручку водить будете.

— Молодцы, молодцы! — похвалил Савин, кинув взгляд на возбужденные лица кружковцев.— Первый выезд прошел неплохо... Колхозники очень довольны школой.— И он обратился к Шумову: — А вам я думаю благодарность объявить. Хорошему делу вы ребят обучили...

— Не привык, чтобы меня за других хвалили,— сухо ответил Георгий Ильич.— Вы бы лучше Матвея Петровича вспомнили... Его же затея.

— Да, да, может, вы и правы,— поспешил согласиться Савин.— К сожалению, не сработался с нами товарищ Рукавишников... Неуживчивый, знаете, характер...

Он заметил около «Фордзона» Степу.

— Ковшов?! Ты почему у трактора? Почему в колонию не уехал?

Стиснув зубы, Степа рывком открыл капот трактора и склонился над мотором, хотя в этом сейчас не было никакой надобности.

— Напрасно задерживаешься, Ковшов, напрасно,— продолжал Савин.— Можешь потерять место в колонии... Советую поторопиться.

Степа продолжал молчать. Казалось, скажи он хоть слово, и ему уже не сдержать себя: так люто ненавидел он сейчас директора школы.

— Странная, между прочим, манера отмалчиваться.— Савин вздохнул и, взяв под руку Георгия Ильича, отошел с ним в сторону.

— Видал Лису Патрикеевну? — шепнула ребятам Нюшка.— Съел учителя да еще облизывается. Теперь Степку догладывает.

Зло проглотив слюну, она скатала крепкий, как камень, снежок и, размахнувшись, врезала им в ворота сарая, метрах в двух от Савина.

— Это что такое? — Директор подозрительно покосился на девочку и направился к школе.

— Так бы вот и запустила,— буркнула ему вслед Нюшка.— Фис треклятый!

Митя Горелов вдруг поманил ребят к себе и вполголоса сказал, что неплохо бы объявить Фису это самое... Он долго стучал себя по лбу, забыв нужное слово.

— Бойкот,— подсказал Афоня.

— Это что? — не поняла Нюшка.— В глаза ему наплевать?

— А видали, как Степка сейчас...— пояснил Митя.— Не отвечает Савину — и все тут. Будто и не видит его. Вот давайте и мы так. Не разговаривать с Фисом, не здороваться...

— Он того стоит. Я— за,— решительно поддержал Шурка, обведя всех глазами.— И пусть каждый еще пять человек подговорит.

— Можно и уроки Фису не отвечать! — обрадованно добавила Нюшка.— Я вот буду учить, а отвечать—ни за какие коврижки. Скажу, что зубы болят...

ГУДИ, НАБАТ!

Загнав трактор в сарай, ребята пошли по домам. Над далекой волнистой грядой леса навис багровый закат. Ему уже пора было угасать, но солнце, опустившееся за горизонт, так причудливо окрашивало облака, что они казались раскаленными, огненными, обжигающими. Вскоре запылала почти добрая половина неба.

Красноватый отблеск заката падал на снег, на избы, на стволы деревьев, и все кругом казалось необычным и тревожным. Ребята с опаской поглядывали на закат и прибавляли шагу: почему-то хотелось поскорее попасть домой.

— Словно пожар на небе,— вполголоса сказала Нюшка, переведя взгляд с неба на Степу и почти не узнавая его: такой он был медно-красный, непривычный.

— Должно, ветер будет...— ответил Степа.— И похолодает.

— А мне страшно чего-то! — помолчав, призналась Нюшка и торопливо заговорила: — Ты не видел, как давеча Фис на тебя посмотрел? Ух! Мне почудилось, словно он зубами клацнул. Такому ночью лучше и не попадайся... Ой, Степа, сделает он что-нибудь с тобой!..

— Он уже сделал...— усмехнулся Степа.— Большего не придумаешь...

Они замолчали, шагая плечо в плечо по красноватому снегу. И тут Нюшка заметила, что все ребята разошлись и они со Степой остались на улице только вдвоем.

Вот показался и дом Рукавишниковых. Но Степа к нему не свернул, а шел все дальше и дальше. В другой бы раз Нюшка, наверное, забеспокоилась, побежала к себе домой одна, но сейчас ей, как никогда, не хотелось расставаться с другом. Наверное, Степа все же скоро уйдет из Кольцовки, раз Матвей Петрович не шлет никаких добрых вестей.

«Ну и пусть смотрят, пусть... Хоть последний разок пройдусь!» — с вызовом подумала девочка, косясь на окна изб, и даже выше вскинула голову.

Закат отгорел, облака померкли, стали пепельными, тусклыми, на улице потемнело.

Степа и Нюшка подошли к избе Ветлугиных, остановились у крыльца.

— Степа,— осторожно заговорила Нюшка.— А если Матвей Петрович не отстоит тебя и сам не вернется?.. Ты ведь уйдешь отсюда, правда?

Степа вздрогнул.

— Да что ты меня отпеваешь!

— Надо же тебе доучиться где-нибудь,— пояснила девочка и совсем уже робко спросила: — Ну, а потом, позже... когда выучишься, ты приедешь опять в Кольцовку? А? Степа? Тогда уж здесь совсем по-другому будет... Колхоз на ноги станет. Ворона разоблачат, выгонят... И с Фисом, наверное, что-нибудь сделают... Вернешься, Степа?

— Вот как!.. На готовенькое, значит. Приезжай, мол, Степочка, у нас все тихо, ладно, мир, гладь, божья благодать.— Голос у Степы стал злым, полез вверх.— Эх ты, человек!.. Да я с тобой...—Он с презрением махнул рукой и бросился прочь от крыльца.

Из сеней выглянула Аграфена.

— Опять не поладили? Чем ты его допекла?

— Ой, мамка! И озлился же он...— каким-то необычным голосом сказала Нюшка.

Аграфена подошла к дочери и заглянула ей в лицо. Нюшка смотрела вдоль улицы, в темноту, куда исчез Степа, и счастливо улыбалась.

* * *

Когда Степа вернулся с улицы, у Рукавишниковых уже поужинали и ложились спать.

Шурки не было: он ушел в школу. Каждую ночь комсомольцы дежурили в шекаэм, и сегодня подошла Шуркина очередь.

Степа поел картошки, запил молоком и только было собрался лечь спать, как за окном гукнули фили-

ном — сигнал тревоги. Степа поспешно вышел. У крыльца стоял Митя Горелов. Озираясь по сторонам, он шепотом сообщил, что в деревне появился Фома-Ерема.

— Померещилось тебе,— не поверил Степа.

— Своими глазами видел! Иду сейчас мимо правления колхоза, а у палисадника трое стоят... Закуривают. Двоих-то я сразу узнал: Филька Ковшов да Уклейкин. А третий... вроде Фомы-Еремы.

— Вроде Володи, а зовут Акулькой,— усмехнулся Степа.— Что ж ты как следует не разглядел?

— Не успел,— виновато признался Митя.— Только хотел послушать, о чем они говорят, а Филька с Семкой как схватят меня, повалили — и давай лицо снегом натирать. «Это,— говорят,— мы тебя умываем, чтобы румяный был да красивый». Чуешь, и сейчас щеки горят... А когда я вырвался, Фомы-Еремы у палисадника уже не было...

Степа сокрушенно покачал головой.

— Эх ты, кожа дубленая! Опять досталось...

— А Фома-Ерема не зря приехал,— вновь заговорил Митя.— Смотри, устроит он тебе темную.

— Опять за свое,— отмахнулся Степа.— Ты же сам говоришь, это не Фома, а вроде... Да и откуда ему быть: Ереминых же выселили из деревни.

— Нет, это Фома... Я видел, — упрямо твердил Митя.

— Знаешь что,— Степа начал сердиться.— Иди-ка ты спать. Завтра видно будет...

Буркнув что-то под нос, разобиженный Митя ушел, а Степа вернулся в избу. Быстро разделся и лег в постель. И сразу, словно на крыльях, его куда-то понесло, закачало. Промелькнула улица, толпа колхозников у трактора, красный флажок в руках у Шурки. Потом все ушло вдаль, завесилось туманом...

Проснулся Степа от какого-то грохота. Оказывается, из школы вернулся Шурка и опрокинул в темноте табуретку.

— Уже утро? Отдежурил? — подняв голову, спросил Степа.

— Да нет... еще только первый час,— смущенно признался Шурка.— Мы там малость всхрапнули на дежурстве. А Савин нас разбудил и говорит: «Если уж спать, так лучше дома».

— Вы и обрадовались?

— Так теперь все спокойно... Школе ничего не грозит... Да и сторож там поглядывает... Ох, и спать хочу! — Шурка сладко зевнул и юркнул под одеяло.— А знаешь, что ребята говорят: будто они Фому-Ерему на улице видели и его брата Оську.

— Фому с Оськой?!

— Ага,— сонным голосом ответил Шурка.— Завтра их пощукаем...

Опершись на локоть, Степа приподнялся на кровати. Значит, Митьке не померещилось: Фома-Ерема действительно в Кольцовке. И что ему здесь надо? Может, он не один заявился, а с целой компанией? Фома-Ерема ходит по деревне, выглядывает все, как разведчик, а остальные раскулаченные прячутся где-нибудь в овинах или за ометами соломы и ждут сигнала...

— Шурка!— позвал он.

Приятель, посапывая и чмокая губами, уже спал.

Степа невольно покосился на окно.

А вдруг стекла порозовеют от зарева пожара и на улице ударят в набат?.. Но окна были черны, как деготь, и кругом стояла тишина.

Степа усмехнулся и опустил голову на подушку. Право же, он стал мнительным, как Митька.

Но сон все-таки не шел. Опять полезли в голову всякие мысли. Наконец Степа не удержался и встал. Шурку он, пожалуй, будить не станет, а на улицу выглянуть все же не мешает. Осторожно оделся и вышел на крыльцо. Дул пронзительный, холодный ветер, посвистывая в застрехе, тоскливо скрипела в переулке старая, дуплистая липа, над головой яростно метались ветви берез, словно хлестали темное ночное небо.

Степа наугад побрел к дому Ковшовых. В окнах темно, ворота во двор закрыты. В переулке никаких следов. Степа постоял за крыльцом, прислушался. Тихо, нигде ни звука, только во дворе, за стеной, шумно вздыхают во сне лошади. Степа пошел к правлению колхоза. И здесь ничего подозрительного.

Куда же идти дальше? Может, к школе?

Вот и шекаэм. Здесь тоже все спокойно. И даже сторожа не видно на ступеньках крыльца, где он обычно сидит, закутавшись в тулуп, похожий на большой, туго набитый мешок с сеном. Наверное, сторож забрался на кухню и дрыхнет около теплой плиты.

Как видно, напрасны все твои подозрения, Ковшов. Ночь есть ночь, и люди сейчас спят, набираются сил к завтрашнему дню. Пора и тебе вернуться домой и досмотреть последние сны.

Он завернул за угол школы, сделал несколько шагов и вдруг услышал впереди себя позвякиванье уздечки и легкое пофыркиванье. Степа вгляделся. В узком проезде, отделяющем школу от огорода, смутно проступали лошадиная морда, дуга, оглобли... Лошадь запряжена в сани. Степа одним прыжком очутился около саней, вытянул руки. Сверху жесткий, залубеневший от сырости брезент, под ним — мешки. Тугие, полные мешки с зерном!

У мальчика перехватило дыхание.

За первой подводой вторая, третья, четвертая... И в каждых санях мешки. И откуда столько хлеба? Может быть, это тот самый хлеб, который Степа так давно разыскивает? Но что с ним делают: прячут или увозят?

Впереди мелькнул тусклый свет фонаря. Кто это может быть? Прижимаясь к стене, Степа продвигается дальше; еще минута — и все станет ясно.

Будто из-под земли поднимаются одна за другой фигуры людей, скрюченные под тяжестью мешков. Они сбрасывают мешки в сани. Так вот откуда хлеб! Из школьного, забытого всеми подвала. А ведь на нем всегда висел ржавый замок, и дверь наполовину была завалена мусором.

До Степы доносится приглушенный голос:

— Живей, живей! Не задерживайтесь!

Степа подается назад, сердце у него проваливается куда-то вниз: он узнает голос Савина. Да, да, Савина, директора школы.

— Много еще?— нетерпеливо и отрывисто спрашивает тот же голос, и теперь Степе кажется, что он звучит у него над самым ухом.

— Зачищаем... Можно ехать,— деловито отвечает другой голос.

Это говорит Ворон, но Степу это уже не удивляет.

«Теперь бежать, бежать»,— мелькает у него в мозгу.

Но сразу бежать нельзя. Пригнувшись, Степа крадется обратно к углу школы.

Только бы проскользнуть мимо подвод, завернуть за угол, а там его ничто не остановит.

И вот уж спасительный угол совсем близко, но вдруг на Степу набросилось что-то гибкое, сильное, свалило с ног и прижало к земле.

— Попался, ищейка!.. Теперь не уйдешь!

«Это же Фома-Ерема»,— догадывается Степа. Вот

и встретились они на узкой дорожке. Хорошо, что Фома-Ерема один.

Степа делает вид, что и не думает сопротивляться, и когда Фома-Ерема немного расслабляет руки, он резко вывертывается и оказывается наверху.

Но уже поздно. Подбегают Илья Ефимович и школьный сторож. Они схватывают Степу за плечи и, встряхнув, ставят на ноги.

— Пустите!— кричит Степа, пытаясь вырваться из железных рук Ворона.— Караул! Хлеб увозят! Кара-у...

— Замолчи! Ты!— свистящим шепотом приказывает Илья Ефимович и, сорвав со своей головы шапку, затыкает Степе рот. Из темноты выступил рослый парень и заглянул ему в лицо. Степа узнал в нем Оську, старшего брата Фомы-Еремы.

— А-а, колонист,— ухмыляется тот,— выследил все-таки!

И Степа слышит, как Оська спрашивает у Ильи Ковшова, что же теперь делать с его племянником.

Тяжело дыша, Ворон некоторое время молчит.

— Слушай, Степка,— наконец хрипло заговорил он.— Какая ни на есть, а родня ты мне... По-хорошему прошу. Молчи, что видел... Забудь про все! Тебе же лучше... Ну, долго не думай, отвечай.

Илья Ефимович отнял шапку и наклонился, чтобы лучше услышать, что ответит племянник.

— Ерунда, глупости,— брезгливо сказал Савин, подходя к Илье Ефимовичу. Он отвел в сторону Оську и властно сжал ему локоть.— Поздно с ним церемониться. Свяжи и забирай с собой. В дороге... сообразишь.

— Да говори же!.. Я кого спрашиваю! Будешь молчать или нет? — Дядя яростно встряхнул Степу за плечо.

Степа усмехнулся. Молчать о том, что он видел? Молчать, когда узел так удачно распутался и все стало ясным? Да за кого же Ворон его принимает? Сейчас Степу терзала одна только мысль: как бы вырваться из рук дяди и добежать до деревни. Может быть, ударить его в живот? Или выскользнуть из пиджака? Ребята в колонии не раз применяли этот прием, когда надо было от кого-нибудь удрать.

Верхняя пуговица на пиджаке была уже расстегнута. Степа осторожно расстегнул еще две, нижние.

— Ефимыч,— раздался из темноты голос Оськи.— Давай сюда колониста.

«Чего они там задумали?» — похолодел Степа. Он вдруг резко распахнул полы пиджака, рванулся вперед, словно прыгнул с кручи, и, оставив пиджак в руках Ильи Ефимовича, бросился бежать.

Пожалуй, никогда в жизни он не бегал с такой быстротой, как сейчас. Без пиджака, подгоняемый в спину холодным ветром, он легко перескакивал через канавы и рытвины, скользил по обледеневшей за ночь дороге, спотыкался, падал, вновь вскакивал и мчался дальше.

Несколько пар ног с тяжелым топотом гнались следом. Но преследователи быстро выдохлись. Остался один лишь Оська. Но и ему, в тяжелых сапогах и полушубке, не так легко было соперничать со Степой. На бегу Оська пошарил за пазухой и выругался: обреза не было, он оставил его в санях, под мешками...

Степа между тем влетел в деревню. Скорей, скорей к Рукавишниковым! Но до них еще далеко. Он бросился к первой избе, забарабанил кулаками в окно. Никто не отозвался. Степа побежал дальше.

— Кара-ул! Хлеб увозят! Караул! — истошно завопил он.

А деревня все еще спит, в окнах ни одного огонька, даже собаки молчат в подворотнях.

Что же делать? Кто услышит тебя, Степа Ковшов?

Посредине улицы у самой дороги темнеет приземистый пожарный сарай. А около него — Степа это хорошо знает — столб с чугунной доской, к веревке привязан железный шкворень.

Степа нашарил шкворень и, как молотом, часто и ожесточенно стал бить в чугунную доску.

Гуди, набат, поднимай людей!

Но быстро захлебнулся тревожный зов чугунной доски. И уже нет шкворня в руках у Степы. Что-то тяжелое, тупое обрушилось ему на голову, и мальчик, теряя сознание, полетел в бездонный омут...

БОЛЬШАЯ ВЕСНА

Прошел месяц. Степа Ковшов оправился после тяжелого ранения, и его выписали из больницы.

Встречать товарища отправились ребята вместе с Матвеем Петровичем. Они запрягли школьную лошадь и к десяти часам утра поехали в Заречье, где находилась больница.

Но еще задолго до этого туда прибежали Нюшка и Таня. Они прохаживались по садику, заглядывали в окна палаты и страшно досадовали, что Степа не может поскорее выписаться. Наконец он появился на крыльце больницы. Был он худой, вытянувшийся, коротко остриженный.

Девочки бросились было к крыльцу, но потом приостановились и жалостливо-растерянно посмотрели на Степу.

— Да живой, живой...— кивнул он.— Подходите, не бойтесь. Можно и за руку поздороваться.— И, шагнув к Нюшке и Тане, крепко пожал им руки.

Девочки сдержанно улыбнулись. Кажется, все страшное прошло: Степа ходит, в руке появилась сила, голова без повязки, и глаза смотрят весело.

А ведь сколько было тревог и опасений, как свежа в памяти та холодная ночь, когда Степу нашли у пожарного сарая с пробитой головой! Хотя Оська Еремин и оглушил его железным шкворнем, но набат все же сделал свое дело: всполошил и поднял на ноги колхозников. Люди захватили Оську, Илью Ковшова и не дали увезти ни одного мешка зерна. Скрылся только директор школы Савин.

Степа потом две недели лежал в больнице без сознания, и врачи сильно опасались за его жизнь. Но теперь все страшное, кажется, прошло...

Нюшка усадила Степу на скамейку и развязала перед ним узелок с пирогами и ватрушками.

— Угощайся вот... мамка прислала.

— Да я же выписываюсь... ни к чему это.

— Все равно ешь, нагуливай силы... нужно это,— приказала Нюшка и, оделив пирогами Степу и Таню, принялась сообщать новости.

Теперь Степе никуда не надо уезжать: роно отменило решение педсовета о его исключении из школы. К тому же в шекаэм назначен новый директор — Матвей Петрович. Он говорит, что с осени в школе прибавятся два класса — восьмой и девятый.

А над Ильей Ковшовым и Оськой Ереминым скоро состоится суд. Жаль только, что скрылся Савин: он, верно, тоже из их компании. Ну да ничего, на суде все распутается. Суд будет проходить прямо в колхозе, при всем народе, и Степе, конечно, придется выступать первым свидетелем.

— Ты не бойся,— шепнула Таня.— Знаешь, сколько у тебя теперь друзей на свете?

— Каких друзей? — не понял Степа.

Таня рассказала. После того, как в газете была напечатана заметка о том, как школьник Степа Ковшов разоблачил кулаков, в адрес Кольцовской шекаэм со всех сторон посыпались письма. Пишут комсомольцы, пионеры, колхозники, молодые рабочие, предла-

гают ему свою поддержку, собираются приехать на суд...

К больнице подъехали на телеге Матвей Петрович, Афоня и Митя. Заметив Нюшку и Таню, мальчишки только развели руками, — значит, все новости Степе теперь уже известны.

— Да нет, не все,— сказал Матвей Петрович.— Главного-то, пожалуй, никто из вас еще и не знает.— И он сообщил, что на днях арестован Савин. Как оказалось, он не только помогал кулакам в их темных проделках, но был врагом куда более опасным. Сын помещика и белый офицер в прошлом, Савин обманом пробрался в школу, связался с чужаками и всячески вредил организации колхозов.

Учитель пристально посмотрел на Степу.

— Как это ни горько, но тебе нужно знать все до конца. Савин жил под чужой фамилией. И он совсем не Савин, а Аигин, сын помещика из Дубняков.

— Аигин?! — вскрикнул Степа.— Это там, где коммуна... где отец?

— Да, да... Как выяснилось, Савин-Аигин и был одним из убийц твоего отца... Враги думали задушить первую коммуну, запугать людей. Но нет, это им не удалось. Ледоход прошел, большая весна началась...

У Степы перехватило горло. И он жил рядом с убийцей своего отца, ходил с ним по одной земле, дышал одним воздухом и не мог схватить его за черную руку...

Учитель привлек мальчика к себе.

— Да ну же, Степа, крепись! Ты смело шел по следу врага, и ты многое сделал. Отец тобой был бы доволен...

* * *

В Кольцовку возвращались молча. Сначала Степа сидел на телеге, потом спрыгнул и зашагал вместе со всеми проселком. Земля мягко пружинила под ногами, дышала теплом. Стоял солнечный майский день. Голубая чаша неба была широка, и просторна, и, казалось, до краев наполнена живыми весенними соками.

В поле шла пахота. Артельные лошади, запряженные в плуги, ходили гуськом, и пахари покрикивали на них задорно и весело. Все больше и больше становилось вспаханной земли. Только что поднятая плугом, она выглядела сочной, ярко-коричневой, а подсушенная солнцем и ветром серела, как будто покрывалась пеплом.

Чуть поодаль, чтобы не пугать лошадей, пахал землю оранжевый школьный «Фордзон». За рулем сидел Шурка. На радиаторе, как огонек, горел красный манящий флажок. Степа вспомнил первую коммунарскую весну в Дубняках, вспомнил отца, трепещущее на ветру кумачовое полотнище, которое он нес впереди колонны пахарей.

Тогда пахарей было совсем немного, а сейчас далеко окрест раскинулись поля — кольцовские, зареченские, торбеевские, а еще дальше поля сотен и сотен других сел и деревень, — и повсюду люди пашут землю вместе, одной дружной семьей.

Так вот она, большая весна на земле, о которой мечтал отец Степы! Трактор развернулся и пошел навстречу ребятам, отваливая и переворачивая маслянистые, тяжелые пласты земли.

— Эх, если бы тракторов побольше! — вслух подумала Нюшка.— Мы бы всю землю подняли, всю ширь перепластовали... До самого некуда!

— Будут вам машины, будут! — улыбнулся учитель.— Ваше от вас не уйдет.

Нюшка заглянула Степе в лицо:

— Хочешь порулить? Да? Мы уж тут все по очереди водили...

Степа кивнул головой.

Нюшка замахала руками и, когда Шурка остановил «Фордзон», сказала ему, что надо иметь совесть и уступить место другому.

Степа сел за руль и тронул трактор. Ребята и Матвей Петрович остались ждать его у края загона.

Заливались в небе жаворонки, припекало весеннее солнце, как живые, извивались под отвалами плугов черные пласты земли, острые лемеха разрывали старые межи, сливая узкие полосы в один широкий, неоглядный массив, а Степа все кружил и кружил по полю, крепко сжимая руль трактора.

Оживала земля, гудело поле...

Надежда ПОЛЯКОВА

НЕВЕСТА

И сиянья не скрыть глазам уж,
И улыбки не скрыть губам:
Ты сегодня выходишь замуж
И с утра постучалась к нам.

Села, выбрав такое место,
Чтобы в зеркало заглянуть.
«Это правда смешно: невеста?»
Только мне не смешно ничуть.

На тебе нарядное платье,
Нервно пальцами мнешь сирень.
Что тебе могу пожелать я
В этот светлый и трудный день?

Твой жених внимательный, милый,
Щедр на ласковые слова.
Я хочу, чтоб тебя любил он,
Как сегодня, не год, не два.

Чтоб друзьям он остался нужен,
Не отняв у тебя тепла.
Чтоб по имени, а не «мужем»
Ты подольше его звала.

Не считала бы наказаньем
Приготовить ему обед.
И ждала бы, как на свиданье,
И тревожилась: долго нет...

Ну, а если ворвется сомненье,
Дескать, тот он или не тот,
Или, может быть, охлажденье,
Словно ладожский лед, придет,

Первый раз другими глазами
Ты посмотришь ему в лицо
И отправишься плакать к маме
И советоваться с отцом,—

Вот тогда, прошу тебя, вспомни
Это платье, эту сирень,
Глаз твоих сиянье, сегодня
Осветившее целый день,

Эти радостные тревоги,
Сердца стук, что «он мой, он мой»,
И тогда сама с полдороги
Поверни и идн домой.

Не давая для сплетен пищи,
Взвесь сама сомненья свои.
Нет на свете светлей и чище
Этой самой первой любви.

И, как честь, как доброе имя,
Постарайся ее сберечь...
Между сверстниками твоими,
Жаль, не часто об этом речь.

Лев ОШАНИН

Ренуар

Его я запомню из тысяч.
На вечере дружбы у нас
Французский студент-живописец
Поведал мне этот рассказ.
...И вот он, Париж. По соседству
Густая толпа горяча.
Идет распродажа наследства
Какого-то богача.
И там, среди мебели старой,
Безделиц и бронзы в пыли,
Висит полотно Ренуара —
Любимца французской земли.
И многие видят впервые
Не копию средней руки,
А теплые краски, живые —
Пленнтельной кисти мазкн.
Волненье владеет толпою,
Манит и зовет полотно...
Кто купит богатство такое?
Кому по карману оно?
Толпа загорается быстро,
Гадает, шумит, как всегда.
Уже в ней узнали министра,
Что тоже явился сюда.
Который министр? Да вот этот
Седеющий господин.

Он прислан сюда кабинетом,
Для Лувра он ищет картин.
И вот люди сгрудились молча.
И вот Ренуару черед.
Но кто это с челюстью волчьей
Ценой забегает вперед?
Кто смотрит с усмешкой победной?
Не Жан, не Люсьен и не Поль,
Какой-то свиной или медный
Заезжий заморский король.
И гул пробежал над толпою.
Обычно доверьем скупа,
С надеждой, с укором, с мольбою
Глядит на министра толпа.,
Заезжий король наступает,
Решителен, краток и быстр.
И голову опускает
Бессильный французский министр.
...Машина идет по бульварам.
Маршрут к пароходу ей дан.
Увозит она Ренуара
Из Франции за океан.
Следят за ней горестным взором,
Сжнмая вослед кулаки,
Художники и шоферы,
Студенты и моряки.

Стихи молодых

И. Лапиров.

Ф. Балкарова.

З. Тхагазитов.

Одной из традиций нашего журнала стала публикация произведений молодых авторов. Ниже мы помещаем стихи молодых поэтов, большинство которых выступает в печати впервые. Авторы этих стихов разные и по возрасту и по жизненному опыту. Если А. Заурнх и В. Молодяков еще учатся в средней школе, то бывшая колхозница Ф. Балкарова уже не только студентка заочного отделения Педагогического института в г. Нальчике, но и сама преподает в начальной школе. Преподает также в вечерней школе и И. Лапнров. Остальные авторы публикуемых здесь стихов — студенты.

И. ЛАПИРОВ

* * *

Жесть можно просто мять в руках.
Свинец расплющится в тисках,
Расплавится в дровах горящих.
Ртуть льется жидкостью блестящей.
А сталь тверда. Ее куют в огне.
И это все людей напоминает мне...
Одни всегда нетверды, как свинец.
Их жизнь сомнет и сплющит наконец.

Другие льются ртутью
По трудным перепутьям.
А третьих жизнь сгибает, словно жесть.
Ну, а еще такие люди есть —
Их не согнешь. Дороги им открыты.
Они другим прокладывают путь.
Мягки сердца их, словно ртуть,
А воля вылита из победита.

Ф. БАЛКАРОВА

Встреча

Как-то утром по весне
Брел у речки я сторонкой.
По воду навстречу мне
Шла соседская девчонка.

Я заметил — в первый раз,—
Что девчонка та пригожа,
Что сиянье ясных глаз
С солнечным сияньем схоже.

Показалось — не шучу! —
Что мечтал о ней давно я.
Показалось: я лечу
В небо жарко-голубое!

Солнце очень горячо
На девчонку посмотрело,
Ей погладило плечо
И расцеловало смело.

А она стоит с ведром,
Разомлела, раскраснелась...
Ну и солнце... Молодцом!
Мне бы этакую смелость!

З. ТХАГАЗИТОВ

Гостиница

В гостинице живет людей немало.
Любой проезжий здесь найдет приют.
Но отродясь такого не бывало,
Чтоб кто-то навсегда прижился тут...

Коль в сердце все желающие вхожи,
Оно не знает подлиинои любви.
Ты домом это сердце не зови:
Оно ведь на гостиницу похоже.

Стихотворения «Встреча» и «Гостиница» переведены с кабардинского Д. ГОЛУБКОВЫМ.

Ю. Арбитжер.

В. Молодяков.

А. Заурих.

И. Озерова.

Ю. АРБИТЖЕР

В электричке

Стряхивая наземь рукавички,
Что зима связала на кустах,
Ветер подгоняет электричку,
Поднимает вихри на мостах.

Солнце скрылось, небо серым стало.
Пассажиры ежатся: знобит.
Прислонившись к косяку устало,
Проводница на меня глядит.

Ей за сорок. Высока и в теле.
Седина заметна на виске,
В шерстяном платке поверх шинели
И с потухшим фонарем в руке.

На ладонях у нее мозоли,
Видно, проводницею не век.
Улеглась скупая бабья доля
Синяками у прикрытых век.

Я не знаю, может быть, руками
Или выгибом седых бровей
Мне она напомнила о маме,
Сделавшись моложе и родней.

В. МОЛОДЯКОВ

Уверенность

Как назло,
у меня остаются сомненья
в час, когда мы должны
улыбаться и петь.
Уезжаешь.
И я не могу без волненья
на тебя почему-то
сегодня смотреть.
Надо все рассчитать,
надо выверить, даже
если ты и уверен в своей правоте.
Первый шаг,
он особенно труден и важен,
он не может следа оставлять
в пустоте.
Уезжаешь.
Мне чуточку грустно и горько,
что не я повзрослею сегодня,
а ты.
В час прощанья нежданно
забудется столько
теплых слов, — их всегда
заменяют цветы.
...На земле улеглись
параллельные тени,
голоса в неумолчное эхо слились...
В каждом сердце
должно быть немного сомненья,
чтоб оно полюбило уверенность
в жизнь.

А. ЗАУРИХ

Энтузиасты

Когда загорелый,
упрямый,
ловкий
(по-деловому, впервые, сам)
юноша в новой своей спецовке
поднимается по лесам,
когда он нянчит кирпич любовно,
стены выращивая с трудом,—
перескакивая через бревна,
песня спешит поселиться в дом...
А этот веселый и шумный
спорщик
с восклицательным хохолком,
быстрорукий, отличный
сборщик,—
вам, по-моему, он знаком.
После завода — в рабочей школе,
а когда выходной — закон:
обязательно на футболе,
на трибунах болеет он.
Нормы перекрывая за́ сто,
твердо вступает в свои права
армия юных энтузиастов,
закативших рукава!

И. ОЗЕРОВА

* * *

Над белыми крышами черные тучи,
И где-то вороний досадливый крик...
Меня ни о чем ты не спрашивай лучше.
Сиди и молчи или, знаешь, кури.

Солнце проглянуло еле-еле...
Вопрос ребром: верна ли тебе?
Видишь, веточки поседели,
Ветер их треплет в неравной борьбе.

Видишь, сколько света на свете...
Слушать не хочешь, вопрос ребром.
Тебе обо всем рассказали соседи.
Нашлись охотники делать добро!

Глазом соседей любовь не измеришь,
Видно, ты истину эту забыл.
Если ты больше соседям веришь,—
Значит, не очень меня любил.

На тебе спички, закуривай смело,
Хоть в папиросе огонь не гаси...
Много тебе я сказать хотела,
Но ты пойди у соседей спроси.

Рассказы молодых

Борис СИЛАЕВ

...НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ

Рисунок М. Рабиновича.

Осень была сырая, с частыми мелкими дождями и заморозками по утрам. Поэтому сухие листья не лежали, как всегда, желтыми сугробами у заборов и ветер не гнал их, шевеля и ломая, вдоль тротуаров. В этом году темно-коричневые и бледно-золотые опавшие листья лепились к окнам домов, мягкими трубочками валялись у деревьев или же лежали на черных тротуарах.

Наташа и Виктор бродили по улицам города, собирали с деревьев оранжевые плоские листья, подолгу стояли у зеркальных витрин магазинов и молча смотрели в запотевшие стекла, в глубине которых отражались серые тучи неба, быстрые тени прохожих и розовые изломанные изображения гипсовых манекенов.

Повиснув на холодных медных поручнях, они все глядели в отсветы витрин, и Наташа видела там свое растерянное, точно чем-то изумленное лицо. И странное чувство стыда и неловкости охватывало ее. Она медленно краснела, кусала губы и до боли в глазах, не мигая, смотрела на матовые струйки, за которыми бледнело расстроенное лицо Виктора.

Он поворачивал к ней голову и, осторожно касаясь длинными пальцами гладкого начеса волос, поеживаясь под синим ворсистым пальто, шептал, почти не шевеля губами:

— Наташа, видишь, какое платье висит, красота! Хотела бы такое иметь, а?

— Хотела бы...— А сама вместо платья видела красивое, нежное лицо Виктора, его выпуклые, с голубым огоньком глаза и красиый шарф, небрежно переброшенный через плечо.

— А вот какие серьги — золотые! — шептал он у другой витрины.— Если бы у меня было много денег, я бы тебе их обязательно купил. Я люблю, когда девушки хорошо одеваются. Ведь сейчас не такое уж и тяжелое время! Сейчас женщины должны за собой следить, правда?

— Конечно,— соглашалась она.

Ничего сейчас не было дороже этой высокой сутулой фигуры. Краснея и кусая губы, она думала, что он, наверное, ее не любит. Просто так, время проводит. Ведь на ней было потертое драповое пальто, вязаная шапочка и старые синие румынки со стоптанными каблуками. Она старалась держать руки на груди, чтобы он не видел маленькую, аккуратную заплатку возле воротника.

— Ты знаешь,— продолжал Виктор, просовывая холодную ладонь под руку Наташи,— верю я, что придет время, и все у нас будет. А что? Чем мы хуже других?

Наташа краем глаза видела розовую мочку его уха и высокий бледный лоб. Она была счастлива, что рядом с ней Виктор, и с ужасом думала, что уже вечер, скоро надо расставаться. Первый раз Наташа испытывала такое чувство. Иногда она осторожно, чтобы он не заметил, клала на его рукав свою маленькую, грубоватую от работы ладонь и гладила влажное сукно. Сукно серебрилось от капель дождя. Наташа вспыхивала от стыда за сделанное. Она, как мальчишка, вскидывала голову, но глаза растерянно и робко опускались к земле.

А в темной аллее, куда они вошли притихшие и настороженные, Виктор вдруг обнял ее за плечи, сильно прижал подбородком к жесткому сукну воротника и крепко поцеловал в губы. Она рванулась, тихо вскрикнула, но он ее не выпустил. И тогда Наташа заплакала, как маленькая девчонка, всхлипывая, глотая слезы и уткнувшись лбом в его плечо. Он растерялся, испуганно спросил:

— Ну чего ты?.. Слышишь, чего ты?

— Как тебе не стыдно... Может быть, я тебя и не люблю,— проговорила она шепотом.

— Что?.— удивленно сказал он и засмеялся.— Меня?! — И неожиданно нагнулся, обнял и быстро закружил вокруг себя, весело выкрикивая:— Меня?! Ах, ты, чертенок! Да я тебя!..

И Наташа, чувствуя, как в стремительном полете все завертелось и замелькало, кружа голову и захватывая дыхание, вдруг сама счастливо засмеялась и прижалась к Виктору, обхватила руками его крепкую теплую шею.

В этот вечер после длинного прощания с Виктором Наташа еще долго сидела на скамейке у дома. Это был ее вечер — самый счастливый и самый радостный за всю жизнь.

Накрапывал дождь. Черные, словно деготь, лужи отражали огни окон. Редкие прохожие, шлепая калошами и прикрываясь зонтиками, спешили по тротуарам. Было, наверное, холодно и сыро, но Наташа, расстегнув пальто, поджав ноги, сидела на скамейке, не замечая дождя. Намокшие волосы спали на лоб, струйки воды стекали за ворот. Бездомная серая кошка пригрелась под боком у девушки, сладко мурлыча и подрагивая теплой шкуркой. На сердце у Наташи было лег-

ко и радостно. Ей все теперь казалось немного необычным и новым: она была старше, окружающее — красивым, и даже незнакомые люди, спешащие мимо в струях воды и свете фонарей, близки, как самые лучшие друзья. Она смотрела на них, тихонько посмеивалась над их неуклюжими движениями и от всей души желала им такого же счастья, какое было у нее. Ей даже хотелось остановить их и рассказать о своем счастье, но она понимала, что они спешили к теплу и уюту, им было не до девчонки, съежившейся на мокрой скамейке. И поэтому она только глядела вслед прохожим и тихонько пошлепывала о лужу тяжелыми румынками.

— Все спешат, — говорила она пригревшейся кошке. — Все спешат, точно дождь — это плохо! А в дождь может быть очень хорошо, правда?

Кошка мурлыкала, жалась к ноге девушки и, точно слушая ее, клала усатую старую голову на полу потертого пальтишка.

— В дождь люди встречаются, знакомятся и даже... влюбляются. Смешно, правда? Жили, жили каждый на своем конце города и, нате вам, — влюбились! А за что меня любить? Маленькая, худая, как скелет. Не то что Виктор! Он человек хороший, в институте учится, а мы ведь просто на стройке штукатуром работаем... Ну-ка, иди сюда, серая, наверно, на скамейке холодно. Выгнал тебя кто-то. Вот я завтра подниму в доме крик. Нашли моду животных выгонять под дождь!

Наташа взяла кошку и сунула ее за пазуху. Та свернулась комочком, сонно засопела.

Наташа вспомнила тот день, когда впервые встретилась с Виктором. Это случилось на открытой танцевальной площадке парка. Он пригласил ее на танец, а тут дождь пошел. Так, вдвоем, держась за руки, они и спрятались под навес. Там было темно. Люди говорили шепотом. Блестели возбужденные глаза и большие брошки девушек. А когда возвращались домой, Виктор накинул на ее плечи свой пиджак, а сам пошел в одной шелковой рубашке. Вот так все и началось! Первый раз Наташа полюбила в своей жизни, а за что, и сама не знает! Любит — и точка! Он вежливый, умный, красивый, самый лучший из всех. Да и все вокруг разве плохое? Вот дождь идет, холодно, а как горят огни фонарей, как тихо и звонко пошлепывают капли о светящиеся лужи и сладко посапывает на груди бездомная кошка! Никогда она раньше этого не замечала. Жила себе, и все. А сейчас словно другими глазами увидела, и от этого на душе радостно, точно сегодня какой-то необычайно важный праздник. Праздник для нее и для всех! И по своей «дурацкой», как она называла, привычке Наташа сказала вслух серьезно и задумчиво:

— Смешно, правда?

И сама удивилась своему хриплому, простуженному голосу. Точно очнувшись, вскочила со скамейки, подхватила кошку и быстро застучала румынками по обломанным ступеням лестницы. На площадке нажала звонок и прислонилась к стене, тяжело дыша. В коридоре послышались шаркающие шаги. Худая, изможденная болезнями женщина открыла дверь. Лицо ее было серого цвета, на мягкой коже щеки краснели полосы от жесткой подушки.

— Пришла, — сказала она устало и повернулась к девушке согнутой спиной. — Спать пора, на работу скоро. Вечно ты где-то шляешься...

— Ну вот... и погулять нельзя, — протянула Наташа. — Всегда ты, мама, чем-то недовольная, ворчишь...

— Ладно, иди, ложись уж!

Быстро раздевшись, Наташа погасила свет и

нырнула под одеяло. Мать все ходила по комнате и ворчала:

— Вот кошку притащила. На черта она тебе сдалась! Будет тут пакостить и в рот заглядывать. Знаю я...

Наташа уже засыпала. Она видела начало какого-то радужного и сверкающего сна. В нем были волны моря, теплый ветер, витрины магазинов и бледное любимое лицо Виктора. Слова матери разгоняли сладкую дремоту, и Наташа жалобно попросила:

— Мам, опять свое. Спать хочу...— И уже сквозь сон, со счастливой улыбкой на усталом, обмякшем лице тихо прошептала: — Ах, мама, вы даже не знаете, какие все люди хорошие...

* * *

Вчера выпал первый снег. Все вокруг стало и ярко-белым и безнадежно черным. Но в холодном воздухе летала искрящаяся радужная пыльца, и она придавала зимнему дню необычайную легкость и свежесть. Ясно видны замороженные веточки деревьев, глянцевитые следы саней на дороге, и дома, точно придавленные пухлыми белыми крышами, кажутся совсем незнакомыми.

Второе воскресенье Наташа приходит на свидание к условленному месту и не знает, встретит ли Виктора. Последний раз его не было у раскидистого дуба. Она продирается сквозь кусты, выходит на поляну и останавливается. Вот и дуб, а вокруг него пухлые сугробики снега. В парке тихо. И ни живой души.

Наташа теребит зубами варежку, исподлобья оглядывает молчаливые деревья. В снегу стынут ноги, сыплется иней на вязаную шапочку. Наташа медленно идет назад.

Он не пришел. Заболел, занят? Но ведь вторая неделя! Мог весточку прислать...

В снегу, прямо у дуба, следы чьих-то ног. Какая-то пара стояла под деревом. Следы уводят в глубь парка — неровные, петляющие, бездумно бредущие следы четырех ног. На белом фоне снега они кажутся фиолетовыми. Наташа тихо идет рядом с ними.

Может быть, тут шел Виктор? Но с кем? Это что, уже ревность? Не хватает еще и ее! Подумаешь, ревновать!..

Наташа почти бежит. Снег осыпается, хрустит под ногами. Скорей бы увидеть конец этим аккуратным фиолетовым ямкам, узнать, кто оставил их за собой! Следы выводят на поляну. Здесь они соединяются, потом вдруг дугами расходятся в разные стороны и резко бегут друг другу навстречу.

— Еще чего, ревновать... — шепчет Наташа, останавливаясь. Варежка падает в снег...— Не дождется... Не такая... — Наташа ладонью стирает с ресниц слезы и медленно бредет обратно. Коричневые в резинку чулки ее мокры и покрыты серым снегом.

А когда она выходит к парку и видит толпы людей, бело-красные троллейбусы и уже зажженные фонари, ей вдруг делается стыдно за свой поступок. Как она могла не поверить Виктору? Что же это за жизнь будет, если каждый начнет подозрительно относиться к другому? Просто смешно, как она по снегу бежала. Ведь надо додуматься!..

Вечером, когда Наташа задумчиво сидела у стола, один из мальчишек их двора открыл дверь и громко крикнул:

— Тетя Наташа, вас там какой-то дяденька зовет. Все говорят, что это жених ваш. Правда?

Наташа схватила пальто, платок и выскочила на улицу.

Виктор стоял возле забора, подняв воротник, надвинув на лоб пушистую кепку. Он взял Наташу под руку и отвел в сторону.

— Ты чего не приходишь? Болел, занят был? — накинулась на него Наташа, на ходу надевая пальто.

— Занят был,— ответил недовольно Виктор.— А что я, пришит к тебе? Не приходил, и все!

Наташа остановилась и удивленно посмотрела на его бледное лицо с порозовевшим на морозе кончиком тонкого носа. Лицо было хмурое.

— И вообще, нам надо кончать,— добавил Виктор и ссутулился под синим пальто.

— Что кончать? — с недоумением спросила Наташа и нервно засмеялась.

— А вот то...— Виктор высвободил свою руку и спрятал ее в карман.— Надо быть честным до конца. Что мы за пара? Чепуха какая-то! У меня свои интересы, у тебя свои.

— Вот как...— проговорила Наташа, и лицо ее скривилось жалкой улыбкой. — Разве...

— Ну и кончили! — перебил Виктор.— Ничего у нас не было, ничего серьезного не случилось. Разошлись, как в море корабли!

— Ты сначала...— начала Наташа, но он остановил ее движением руки.

— Только без слез! На мне свет клином не сошелся! Я повторяю...— Голос его был спокоен, а глаза равнодушно смотрели на растерянное лицо Наташи.— Повторяю: ничего не случилось, ничего и не было. Жизнь продолжается дальше! Ну, до свидания, Наташа!

Он чуть потряс ее за плечо и, выпрямившись, размашисто пошел в темноту.

Он ушел. На матовом снегу остались только темные ямки следов. Опять эти ямки! Целый день преследуют они ее. От них кружится голова, слабеют ноги и даже легкое чувство тошноты подступает к горлу вместе с жестким комком слез.

«Ничего не было...» Как не было?! А тот осенний вечер, лица в сверкающих витринах, чувство стыда и неловкости и первый поцелуй в темной аллее, пропахшей сыростью гнилых листьев? Это же было! Ведь был и вечер, самый счастливый в ее жизни, когда сидела под дождем, глядела на спешащих людей, хотела рассказать им о своем счастье, и дождь казался теплым, и лужи — солнечными, и ночь была какой-то праздничной и прозрачной! А радужный сон и легкость во всем теле, приветливые лица людей и желание сделать что-то удивительно радостное и важное? Ведь это было?

Наташа сняла со столбика пухлую жменю снега и приложила ко лбу. И вдруг откинула ее, вытерла руку о пальто и заплакала горькими слезами.

«...Ничего не случилось...» Да, все по-прежнему. Ночь, падает снег. Но какой кругом холод, сырость! Черными тенями, уйдя в воротники и шапки, спешат люди, и им все безразлично, они идут к теплу, к своему счастью, а тут... Верила в человека. Считала его самым лучшим. А он совсем другой. Может быть, никому нельзя верить? Обманут, осмеют и пойдут дальше?..

Промозглый ветер теребит пальто, леденит колени и бьет по лицу мокрым снегом. Уйти бы далеко, чтобы ничего не видеть и не слышать. Все противно и серо... Он говорит: «Ничего не случилось...»

И, плача, прикрываясь варежкой, шла Наташа

вдоль темных улиц. Ее замело снегом. Платок стал белым и твердым. Промерзлые румынки стучали деревяшками.

А мимо проходили люди и, словно чувствуя на себе полный отчаяния взгляд девушки, зябко кутали лица в меховые воротники.

Прошло немного времени. Во дворе и на работе узнали о разрыве Наташи с Виктором. И все, утешая ее, говорили одно и то же:

— Время залечит. Ведь ничего не было, ничего серьезного не случилось!

И скоро Наташа сама поверила, что ничего не было и ничего не случилось.

И стала она такой же, как была прежде. Но только что-то взрослое появилось в выражении ее лица, и к людям она начала относиться немного подозрительно и недоверчиво.

Семен ГОНЧАРОВ

Б О С Я К

Рисунок А. Николаева.

Это было давно, в детстве. Я с мамой переходил линию железной дороги и вдруг обнаружил, что Босяка с нами нет. А был. Только что был — и нет... Я вернулся назад. Беспокоил нарастающий гул поезда.

Я знал хорошо Босяка. Обыкновенно он любил бежать впереди меня, но по каким-то особым собачьим законам часто возвращался назад, чтобы еще раз понюхать то, что ему показалось не до конца обнюханным и заслуживало особого внимания.

Был летний вечер. Спокойный кубанский вечер с тяжелым, торжественным закатом, развернувшимся над станицей...

— Босяк! Босяк! — крикнул я в наступавшие сумерки.

Лохматая голова показалась на той стороне насыпи. Не успел он сделать первый прыжок, как вдруг с бешеным грохотом налетело на него что-то огромное, железное...

Пес вытянулся между рельсами и припал телом к гравию... Оцепенев, я смотрел под колеса проходящего состава. Упругие рельсы прогибались под беспощадной тяжестью груженых вагонов. Зло лязгали буфера. Тревожно выстукивали колеса: «Что же будет? Что же будет?»

Я считал вагоны: «Третий, четвертый, пятый...» А пес все лежал в углублении между шпалами, придавленный проносящимся над ним грохотом...

Мне вдруг вспомнилось, как я привез его с вокзала полтора года назад, грязного и голодного, похожего на босяков, которым числа не было в те годы на всех станциях и полустанках Кубани. Тогда он не был еще взрослой собакой. Моя мать, жалостливая и мягкая по характеру, ругаться не стала, но строго крикнула:

— Возьми мыло, вымой хорошенько! Блох не оберешься...

Это было нелегкой задачей. Посреди двора я поставил цинковую выварку и до половины налил ее водой. Со всех привокзальных домов сбежались дети на визг моего лохматого друга. Не понимая того, что с ним делают, он зажмурил глаза и в отчаянии бил по воде неуклюжими лапами.

Через час вместо однотонно чумазой собачонки за мной бегал, виляя каштановым хвостом, праздничный чистый щенок.

Прошло время. Я и Босяк стали неразлучными друзьями. Всюду, куда бы я ни шел, меня сопровождали его внимательные глаза. Когда мы играли в футбол мячом, сшитым из рваного малахая, он заменял вратаря. А на рыбалке, когда я выхватывал удочкой из реки мелкую рыбешку, он всякий раз бешено радовался. Восторгам его конца не было. Он прыгал, визжал, гонялся от избытка чувств за собственным хвостом, кувыркался, как акробат. Рыбная ловля доставляла ему удовольствия больше, чем мне. Но сейчас мне кажется, что это был хитрый пес: я думаю, он радовался не рыбе, а той радости, которую он видел в моих глазах.

Этот удивительный пес мог плакать не так, как плачут другие собаки, молча, а всхлипывая и подвывая, как это делают дети...

Однажды меня жестоко наказал отец. После экзекуции узким казачьим ремнем с тяжелыми серебряными наборами отец запер меня в полутемной комнате. И вот тут мои родные увидели то, чего ни разу в жизни видеть не приходилось. Босяк лег, упершись носом в угол между дверью и косяком, положил голову на вытянутые лапы и заплакал. Крупные слезы выкатывались

— Благодари Босяка. Не то бы...— И, тяжело ступая, вышел во двор.

Босяк обхватил меня лапами и лизал горячим языком уши, нос, губы...

Мы глубоко понимали друг друга, как будто в нем сидел такой же девятилетний мальчуган, как и я.

«...Девятый, десятый... Еще три, только три вагона осталось до конца — и Босяк спасен!..»

— Остолбенел, что ли? — спросила мать.

Она возвратилась за мной и еще ничего не видела.

«Последний вагон... последний вагон... последний вагон...» И вдруг мать увидела то, к чему были прикованы мои глаза. Она подумала, что собаку уже задавил поезд...

Закрыв лицо руками, она крикнула. Крикнула по-женски протяжно и пронзительно:

— О-ой-й, Босяк!

Босяк услышал тревожный голос своей хозяйки. Вероятно, он понял, что с ней случилось что-то непоправимое. Понял, что ей нужна помощь. Он поднял голову навстречу этому зовущему крику, и тяжелый крюк последнего вагона ударил его. Ударил и ушел, даже не зная того, что он принес первое большое горе маленькому человеку, который стоял на крутой насыпи, прижав к груди жалкий, набитый тряпками футбольный мяч, сшитый из лохматого малахая...

из его круглых глаз, оставляя две глубокие влажные ложбины на лохматых щеках. Он всхлипывал и подвывал, вздрагивая всем телом, словно понимал, что я получил порку ни за что. Сидеть в закрытой на замок комнате мне не пришлось долго. Распахнув дверь, отец сказал:

Юлия ДУБРОВКИНА

ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ

Рисунок А. Николаева.

Март светел и чист. В городе такого марта не бывает. А здесь, в деревне, он хоть и дышит запахом согретой земли, но морозен. Грязи нет; снег набух, но посереть не успел; под корнями деревьев — голубые и черные проталины. Ступишь ногой на голубую — звонко хрустнет ледяная скорлупа и обнажит теплую землю. Ее запахом и дышит март.

Тракторы еще не выползли, не покраснели руки, не потрескались на весеннем ветру, еще не обветрились лица, не вспыхнуло солнце в глазах. Но бредет по полю лошаденка, увязая в рыхлом снегу натруженными ногами, бредет, везет мешки с картофелем, а бегущие по бокам телеги колхозные мальчишки криками бодрят ее. Приходят девчонки, заглядывают в опорож-

ненные ямы, темнеющие по краю поля, и собирают остатки овощей в холщовый мешок. И опять тишина в полях.

Вот он, строгий, прозрачный, голубой и солнечный март...

Таня, накормив скотину, вытерла о фартук руки и задумалась. В избе солнечно, а на душе почему-то чуть-чуть грустно. Ветер, запутавшись между стеклами фортки, трепетал. Вдруг последним усилием он выбросил в избу горсть сухого снега и запорошил русые прядки Таниных волос. И Таня вспомнила, как они сегодня шли всей гурьбой из школы, утопая валенками в снегу. Мальчишки, подбрасывая сумки, ушли вперед, девчата поотстали. Лесная дорога, с зелеными остриями елок по бокам, ползла в гору. Вдруг откуда ни возьмись рядом с Таней очутился Федька. Несколько шагов прошли молча.

— Чего надо? — вдруг неожиданно для себя самой грубо сказала Таня.

Он молчал, повернув к Тане худое лицо. Потом крикнул:

— А вот чего! — Его сильная рука тряхнула упругие ветки, и вдруг целая лавина снега, колючего, пахнущего елкой, посыпалась на Таню, на голову, под плохонький воротник. Она чувствовала на спине и шее мгновенные уколы и неприятно холодную влагу.

— Ай! — завизжали девчата.

А Таня, еще не отряхнувшись, наклонилась, сжала горсть снега маленькой крепкой ладонью, изогнувшись, по-мальчишечьи выбросила руку вперед и сбила с него шапку...

— Таня, мамка где?

Таня очнулась. В избу входила старшая сестра.

— Она на сортировке. Да сними ты валенки! — закричала она на сестру, глядя на оставшиеся у порога влажные следы.

— Сниму, сниму, экая ты Татьяна! Чем командовать, постирала бы лучше.

— Думаешь, у меня без того дела нет?

Таня убрала на столе, вымела мусор и раскрыла учебники. Только слышался всплеск воды за перегородкой — там стирала сестра,— шелест страниц да звонкое цоканье будильника.

Долго Таня сидела за столом, распутывая узелки геометрической задачи. Вдруг дверь распахнулась. Она подняла голову — на пороге стоял вихрастый Федька.

— Я принес твою кисточку,— сказал Федька.

— Положи на лавку. В избу не ходи, пол затопчешь.

И она склонилась над тетрадью. Сердце билось гулко и тревожно. Через минуту она вновь подняла голову и увидела Федьку, сидевшего на табуретке вполуоборот к ней и вскидывавшего на нее временами взгляд. Валенки лежали у порога. А Федька рисовал ее, положив ногу на ногу и держа на коленях альбом. И так по-мартовски были лучисты его короткие взгляды, что ей стало тепло и совсем спокойно. Больше она головы не поднимала.

А день сиял.

— Посмотри-ка, я правильно решила?

Он оторвался от альбома, склонился над столом, темные вихры почти дотронулись до ее щеки.

— Да.

И вдруг губы его протянулись к этой розовой щеке и легко коснулись ее — так касается земли первая капель тихим предвесенним днем. Таня вспыхнула, оттолкнула его. Они молчали в замешательстве. Вошла сестра и, вытянув мыльные руки, сказала:

— Сними-ка, Татьяна, с меня часы.

Они не слышали. В груди Тани что-то тихо пело, и комната была полна новым блеском. Сестра пристально всмотрелась в их смущенные лица. Оправляя согнутой рукой выбившуюся прядь волос, она сказала:

— Да что с вами?

Таня посмотрела на ее мыльные руки.

— Тебе часы снять, да? Давай сниму.

Она положила часы на стол.

— Ну, чего ты смотришь? Ну, иди, иди.— И так просяще прозвучал голос Тани, что сестра, собиравшаяся сказать что-то грубовато-шутливое, молча повернулась и ушла.

А Таня, набросив на плечи платок, выскочила из избы. Она помчалась вниз, под гору, спряталась в густые заросли.

Федька стоял у стола с виновато-смущенным видом. А из альбома на него смотрело такое знакомое лицо со слишком знакомым колючим взглядом. Тогда он стер эти глаза: не такими были они в тот миг, когда он поцеловал ее.

Федька с альбомом пошел в мартовские поля ловить в щебете птиц, в неповторимой светотени марта то новое выражение Таниных глаз. Он не знал, что в нескольких шагах от него, в зарослях молодых елей, притаилась девчонка с этими глазами.

Всюду настороженное ожидание. Оно и в полях и в нераскрывшихся почках, больше пахнущих деревом и морозом, чем листом. Нагнись-ка к ледяной корке, сковавшей дорогу, ты услышишь, как поют под ней ручьи.

Валентин БЕРЕСТОВ

НОВЫЕ СТИХИ

Третья попытка

Три попытки даются спортсмену
Для того, чтобы взять высоту.
Ты не сразу бросаешь арену
И не сразу подводишь черту.
Неудача, но ты не в убытке:
Снова близок решающий миг —
Ты готовишься к третьей попытке,
Наблюдая попытки других.

Разбежался, взлетел — и готово!
Возвещая о новой борьбе,
Выше ставится планка. И снова
Три попытки даются тебе.
А не вышло (попытка — не пытка!),
Стиснув зубы, работай и жди!
Если вдуматься, третья попытка
Остается всегда впереди.

В самолете

Самозабвенно моторы пропели
В черной, пронизанной звездами мгле.
Высь прорезая, трудился пропеллер.
Мирно фонарик мерцал на крыле.
И, утомленные, в полудремоте,
В кресла упав, мы летели вперед.
Я вспоминал о ковре-самолете
(Взято из сказок словцо «самолет»!).

Чудилось мне: на свидание с милой
Я тороплюсь на крылатом коне.
С ревом свои «лошадиные силы»
Гулкий мотор напрягал в вышине.
В свете небесных, прозрачнейших красок
Утро входило в заоблачный мир.
...Будничный век совершившихся сказок.
Сонный, влюбленный чудак-пассажир.

Я мог бы всю землю объехать...

На желтой скамейке вагонной
Сидит полусонный поэт.
В руке у поэта сезонный
С портретом поэта билет.
Я знаю все сосны и елки,
Все пни по дороге в Москву.
Я сплю в подмосковном поселке,
А днем я в столице живу.
Все реже и все неохотней
Я в потные окна гляжу

И верст что-то около сотни
За сутки в пути провожу.
Забавно! А мне не до смеха.
На этот сезонный билет
Я мог бы всю землю объехать
В теченье полутора лет.
Москва! И усталость пропала,
И мы подымаемся с мест
И входим под своды вокзала,
Как входят в знакомый подъезд.

Наша палатка

С. П. ТОЛСТОВУ

Унылый брезентовый сверток
Со связкой веревок потертых —
Туда убралась без остатка
Веселая наша палатка.

Сложили ее деловито.
В машину суем как попало.
А сколько всего пережито!
А сколько в ней песен звучало!

Грустя по степям и пустыням,
Лежать ей на складе придется.
Но мы ее снова раскинем,
Как в песнях об этом поется.

Все будет знакомым и новым,
Как голос забытого друга,
Под верным брезентовым кровом
Палатки, натянутой туго.

Л. ОВАЛОВ

БУКЕТ АЛЫХ РОЗ

Повесть

Рисунки П. Пинкисевича.

Нейлон, неон и не он

Больше розы в окне квартиры Эджвуда не появлялись, а сам Эджвуд не появлялся ни в каких кафе.

Сделал ли он какие-то сопоставления, казалось бы, случайных встреч или что-либо еще показалось ему подозрительным, но с горизонта Евдокимова он исчез.

Лишь из телефонных разговоров с Галиной Евдокимов знал, что Эджвуд проводит с ней еще больше времени, чем раньше. Чем-то Галина устраивала Эджвуда!

По-видимому, своей девственной глупостью. Галина была так увлечена собственной особой, что ничего не замечала вокруг; люди, которые видят только самих себя, иногда служат отличной ширмой для тех, кто делает за их спиной всякие темные делишки.

Но в Галине нуждался и Евдокимов: у него не было иной возможности подобраться к Эджвуду — этому ловкому и скользкому авантюристу с улыбающейся и самодовольной сомовьей мордой. А от него тянулась ниточка к Жадову, а может быть, и к кому-нибудь еще.

Иным путем Жадова, пожалуй, и невозможно было найти. Он юлил, петлял, скрывался среди огромного множества людей, хитрый, опытный, дерзкий. В толпе он был недосягаем для поисков, как песчинка на дне океана.

Галина была для Евдокимова мостиком к Эджвуду, Эджвуд мог привести к Жадову...

Вот почему о Галине Евдокимов думал сейчас больше, чем думают о любимой девушке.

Ведь скроена она не на какой-то особый манер; родители у нее хорошие, училась в советской школе, голова на плечах самая обыкновенная, человеческая...

То, что превратило ее в смешную пустышку, заключалось не в ней самой, а пришло откуда-то извне; виноваты, конечно, в этом были все — и сама Галина, и родители, и школа...

Ее родители были слишком обременены служебными делами. Евдокимову уже приходилось сталкиваться с такими очень занятыми родителями, когда их детей уличали в неблаговидных проступках; слишком много рассуждали они о воспитании всего поколения, и поэтому у них не оставалось времени подумать о воспитании собственных детей! Будь родители Галины повнимательнее и построже, она была бы нормальной советской девушкой...

«Эх, будь я ее отцом,— думал Евдокимов,— выдрал бы я ее раз—другой, узнала бы она у меня, где раки зимуют, и сразу взялась бы за ум. А то что это такое? «Галочка, не утомляйся!», «Галочка, не изводи себя!», «Галочка, ешь побольше фруктов!», «Галочка, не промочи ножки!»... Противно слушать!» По мнению Евдокимова, в воспитании Галочки недоставало палки.

Но Галина была ему необходима, он нуждался в ее помощи, и он решил самолично возместить пробел в ее воспитании.

Наживку он придумал самую подходящую для нее.

Он, как обычно, вызвал ее по телефону:

— Галочка?

— Дмитрий Степанович, мне скучно!

— Подите и погуляйте.

— Я еще не одета.

— Да ведь двенадцать часов!

— Я легла в пять...

Такой разговор мог продолжаться бесконечно; Евдокимов сразу взял быка за рога.

— Галочка, у вас есть неоновая блузка? — спросил он.

— Вы хотите сказать — нейлоновая? — поправила она Евдокимова.

— Я хочу сказать то, что говорю. Именно неоновая.

— Я не понимаю,— сказала Галина.— Есть перлон, нейлон...

— Вчерашний день,— пренебрежительно сказал Евдокимов.— Перлон и нейлон уже выходят из моды, в Америке все кинозвезды носят кофточки только из неона.

— Неон... Неон...— Галина задумалась.— Это — стекло или дерево?

— Это газ, — ответил Евдокимов. — Благородный газ. Им пользуются для рекламы. Видели светящиеся вывески?

— Ах, да-да! — вспомнила она.— Аргон синий, а неон красный, я не ошибаюсь? Так вы говорите, неон?

— Я говорю, из неона делают кофточки,— сказал Евдокимов.

Окончание. Начало см. №№ 4, 5 за 1957 год.

— Красные? — замирающим голосом спросила Галина.

— Всякие,— ответил Евдокимов.— Ни одна порядочная девушка не может обойтись в наши дни без неоновой блузки.

— Но где же ее взять? — жалобно пролепетала Галина.— Я не знаю.

— А я знаю,— категорически заявил Евдокимов.— У нас в институте. Один наш сотрудник только что вернулся из Америки и привез несколько неоновых кофточек. Ему срочно нужны деньги, и я сразу вспомнил о вас.

— Ох! — У Галины даже голос перехватило от волнения.— Вот теперь я вижу, что вы мне друг. Вы скажите, чтобы он никому не отдавал. Я возьму все. Как мне с ним встретиться?

— У нас в институте,— сказал Евдокимов.— Но учтите, он очень торопится.

— Голубчик, Дмитрий Степанович, я сейчас оденусь! — взмолилась Галина.— Куда приехать?

— Никуда,— ответил Евдокимов.— Я сам за вами заеду.

— Ах, благородный газ! — заверещала Галина.— А вы сами видели? Что-нибудь особенное?

— Видел, особенное,— сказал Евдокимов.— Одевайтесь, я сейчас приеду.

Он дал ей пятнадцать минут на сборы. Галина так заинтересовалась новинкой, что не заставила себя ждать. В машине она нежно пожала Евдокимову руку.

— Ах, Дмитрий Степанович, я вам этого никогда не забуду...

Они подъехали к учреждению Евдокимова.

— Выходите,— сказал он ей.

Они вышли.

— Разве это институт? — спросила Галина.— Куда вы меня привезли?

— Куда надо, — ответил Евдокимов. — Входите.

— Запомните,— вызывающе сказала Галина,— если кофточек не будет...

— Будут вам ваши кофточки! — сказал Евдокимов и отворил дверь.— Входите же!

Они вошли в подъезд. У входа стоял вахтер; сбоку у него на ремне висела кобура с пистолетом. Евдокимов показал свой пропуск. Вахтер козырнул.

Евдокимов небрежно кивнул в сторону Галины.

— Эта со мной...

Они поднялись в лифте. Пошли по коридору. Евдокимов открыл дверь своего кабинета.

— Заходите.

Они вошли в кабинет. Евдокимов указал Галине на стул возле стола, сам сел за стол.

— Садитесь.

Галина села. Она уже сообразила, что никаких кофточек ей здесь увидеть не придется.

— Дмитрий Степанович, что это значит? — строго спросила она.— Куда вы меня привезли?

Он сказал ей куда. Она вдруг заговорила несвойственным ей языком.

— Сейчас же меня отпустите, мне здесь делать нечего,— надменно заявила она.— Я честный советский человек...

— Молчите! — приказал ей Евдокимов.

Она заморгала, точно рассматривала Евдокимова сквозь покрывающую ее глаза пелену.

— Вы паразитка, сидящая на шее у своих родителей, вот кто вы такая,— холодно произнес Евдокимов.

— Как вы смеете! — сказала ему Галина, хотя голос ее звучал не слишком уверенно.—Сейчас же уведите меня отсюда!

— Сидите и молчите! — прикрикнул на нее Евдокимов.

Галина обиженно поджала губы.

В комнате наступило молчание. Евдокимов молчал, молчал нехорошо, мрачно, неприязненно.

Это молчание тягостно действовало на Галину. Лучше бы он о чем-нибудь ее спрашивал... Лучше бы ругался!

— Значит, вы не тот, за кого себя выдавали? — съязвила Галина, пытаясь прервать молчание.— Теперь я вижу, какой вы физик...

— Да помолчите же! — сердито произнес Евдокимов.

Оставалось только оскорбиться и молчать. Галина это и сделала. Она замолчала. Она решила не проронить больше ни слова. Не скажет ни слова, если даже Евдокимов будет ее о чем-нибудь спрашивать. Она тоже поиграет на его нервах.

Но Евдокимов ни о чем ее не спрашивал. Он сидел и молчал. Чего он от нее хочет? Это было невыносимо...

Сколько прошло времени? Как назло, Галина впопыхах забыла надеть часы. Десять минут, час, сто? Чего ему от нее надо?

— Может быть, вы даже и не Евдокимов? — нарушила она молчание.

— Молчите! — сказал он и опять замолчал.

Нигде никаких часов... Тишина.

Галине показалось, что она слышит тикание каких-то часов.

Раз, два, три, четыре, пять...

Она принялась отсчитывать секунды. Досчитала до тридцати четырех и сбилась со счета. А может быть, никаких часов нет и это ей просто кажется?

Нет, в самом деле, чего он от нее хочет?

— Вы меня гипнотизируете? — жалобно спросила она.

— Молчите,— повторил он.

Черт проклятый! Вот вляпалась она в историю... Для чего он сюда ее привез?

Она покупала контрабандные чулки... Нужны ему эти чулки! Она дала Лизе денег, чтобы та могла их кому-то сунуть и не поехать после окончания института на периферию... Нужна ему эта периферия, да он и не может знать, что она давала Лизе деньги...

Господи, хоть бы он о чем-нибудь ее спросил!

Это все из-за Роберта. Из-за этих проклятых танцев...

Зачем она ездила в это отвратительное кафе на улице Горького и болталась там с иностранцами?.. Дура несчастная!

И в самом Эджвуде нет ничего хорошего... Зачем она только с ним таскается?

Отец звал ее с собой на охоту, так она с ним не поехала, а с этим Эджвудом таскается под Москвой на лыжах, и он же жрет ее шоколад... Он потому с ней и таскается, что она дочь ответственного работника... Куда они ни забредут, где их ни спросят, «ах, я дочка Вороненко!», все извиняются, ему это очень удобно...

Черт проклятый, да заговори же ты наконец!

И Галина не выдержала.

Она заревела...

Заревела по-настоящему, по-всамделишному, без ахов и охов, без закатывания глаз, так, как она ревела в детстве, когда ребята тузили ее за то, что она показывала им язык!

— Неоновая кофточка понадобилась? — заговорил, наконец, Евдокимов.— В обыкновенных ходить не можете? Нет, таких кофточек еще не придумали.

А заработали ли вы хоть на самые простые чулки? Подавай перлон, нейлон... А известно вам, что вы всего в двух минутах от тюрьмы? Известно, чем занимается ваш Роберт? Грязный шпион, вот он кто, этот Роберт! А вы его соучастница. Молчите, молчите, не возражайте! Я вам покажу, чем вы занимаетесь.

Он полез в стол и достал оттуда завязанную папку.

— Вот, смотрите,— сказал он, развязывая шнурки и доставая из папки какие-то фотографии.— Галина Вороненко у реки. А что сзади? Железнодорожный мост. Галина Вороненко в поле. Бабочек ловит! Цветочки собирает! А сзади — вон, видите, завод. Очень важный завод. Галина Вороненко мчится с горы на лыжах. А вдалеке аэродром. Да, да, вы и не знали даже, что это аэродром, а это аэродром! И все эти снимки сделаны с помощью Галины Вороненко. Железнодорожный мост, оборонный завод, учебный аэродром. Очень ему нужна Галина Вороненко! Такими, как вы, хоть пруд пруди!

Он показал ей снимки.

— Он их отправил с кем надо и куда следует,— объяснил Евдокимов.— Это копии с них.

Евдокимов укоризненно покачал головой.

— Я Вороненко, я Вороненко! — передразнил он ее.— А теперь вот, смотрите, чем занимается эта Вороненко...

Галина полезла в сумочку, вытащила носовой платок, решительно обтерла лицо; ее платочек сразу стал похож на тряпку, какой художники вытирают свои кисти.

— Дмитрий Степанович,— сказала она хриплым голосом.— Не надо. Я больше не буду.

— Ну, а что вы будете?

— Я пойду работать.

— Врете.

— Честное слово!

— Да вы ничего не умеете делать! Вы пуговицы себе не можете пришить.

— Увидите. Я не хочу, чтобы папа имел из-за меня неприятности.

— Вы даже стирать не умеете.

— Я буду стирать. Вот увидите.

— Вам подавай только перлоны да нейлоны.

— Да я теперь Роберта на выстрел к себе не подпущу. Честное слово, я с ним больше не встречусь!

— Э, нет, так нельзя.— Наоборот, встретитесь и поможете мне, нам, своему папе.

— Да мне Эджвуд не нужен совсем! — воскликнула Галина.— Пропади он пропадом!

— И мне не нужен,— сказал Евдокимов.— Но зато очень нужно выяснить, чем он занимается.

— Во всяком случае, когда он бывает со мной, он занимается не шпионажем.

— Вы дура, Галочка,— мягко возразил Евдокимов.

Он вышел из-за стола и сел с ней рядом.

— Расскажите мне, как вы проводите с ним время,— попросил ее Евдокимов.— Что делаете, где бываете — все.

— Ну, как...— смутилась Галина.— Он катает меня в машине. Ездим за Москву. Иногда берем с собой лыжи. Ходим по лесу. Потом завтракаем...

— Пьем коньяк,— добавил Евдокимов,— фотографируемся...

— Нет, после того, как у него были неприятности, он теперь мало снимает,— сказала Галина.— Он теперь увлекается радио...

— То есть как это увлекается радио? — заинтересовался Евдокимов.— Слушает передачи?

— Нет, он любитель-коротковолновик,— объяснила Галина.— У него в машине приемник, и он говорит, что в отдалении от Москвы помех гораздо меньше.

— А куда вы ездите? — спросил Евдокимов.

— Чаще всего вдоль Курской дороги,— сказала Галина.— Там удивительная природа.

— Станция Львовская? — быстро спросил Евдокимов.— Деревня Тучково?

— А вы откуда знаете? — удивилась Галина.— Вы что, следите за мной?

— За кем же мне еще следить? — насмешливо сказал Евдокимов.— Я же в вас влюблен!

— А может быть, вы и в самом деле меня ревнуете? — спросила Галина, впадая вдруг в прежний тон и прищуривая глаза.

— Перестаньте ломаться, я уже сказал! — одернул ее Евдокимов.— Говорите: часто вы туда ездите?

— Ну, это зависит от того, как складываются у Эджвуда дела,— объяснила Галина.— По вторникам обязательно, во вторник у него выходной.

— И в этот вторник он тоже собирался ехать с вами за город? — осведомился Евдокимов.

— Разумеется,— сказала Галина.

— И вы будете ходить на лыжах? — спросил Евдокимов.

— Если я захочу,— сказала Галина и повторила: — Если захочу.

— Так вы захотите. Понятно?

— Нет. Почему это я захочу?

— Потому что так нужно,— наставительно пояснил Евдокимов.— Вы поедете с ним за город, пойдете на лыжах, уйдете как можно дальше от машины...

Он испытующе посмотрел на Галину.

— Вам действительно отец дороже этого Эджвуда? — серьезно спросил он.

— Ну как вы можете об этом спрашивать! — воскликнула Галина.— Отец — и какой-то...

Она не нашла подходящего слова.

— Так вот,— сказал Евдокимов.— Уйдите подальше от машины и любыми средствами задержите Эджвуда около себя.

Галина с интересом посмотрела на Евдокимова.

— Это очень важно? — спросила она, обретая прежнюю самоуверенность.

— Да,— сказал он.— Очень. Захватите с собой часы. От пяти до шести вы и Эджвуд должны находиться далеко от машины. Обманите его, сделайте вид, что повредили себе ногу, но сумейте задержать. Это будет для вас проверкой, мы увидим, действительно ли вы дочь своего отца.

— Для этого мне не понадобится ломать себе ноги,— самоуверенно сказала Галина.— Увидите!

— Увидим,— сказал Евдокимов.— Помните, во вторник от пяти до шести, и смотрите, не вызовите в своем друге каких-либо подозрений, иначе нам обоим с вами не сдобровать.

Загородная прогулка

Эджвуд свернул на проселочную дорогу на семьдесят третьем километре.

Он выехал из Москвы вдвоем с Галиной в полдень. Эджвуд сам вел машину, Галина сидела рядом. Оба были в лыжных костюмах. Погребец с провизией лежал на заднем сиденье. Лыжи были укреплены сверху, там было устроено для этого особое приспособление.

В лесу было тихо. Зима стояла мягкая, с частыми оттепелями. Снег на ветвях таял, к вечеру начинал дуть северный ветерок, подмораживало, ветви покрывались ледяной коркой. Деревья казались хрупкими, сказочными, неземными. Ели, не часто попадавшиеся между берез, походили на каких-то мохнатых чудовищ. Воздух был свежий и резкий.

Километрах в четырех от шоссе, там, где проселок разветвлялся и один из его рукавов углублялся в самую чащу, Эджвуд остановился.

— Здесь,— сказал он.— Мне здесь нравится, а вам?

— Все равно,— сказала Галина.— В лесу везде хорошо.

— Будем немножко завтракать? — спросил Эджвуд.

— Я не проголодалась,— сказала Галина.

— Нет, будем немножко есть,— сказал Эджвуд.

Он достал из погребца несколько сандвичей, приготовленных одним из трех его лакеев, и налил коньяк в две серебряные стопки.

— Прошу! — пригласил он Галину картинным жестом.— Маленький аперитив перед прогулкой.

Он выпил, и Галина тоже выпила, хотя она не любила коньяк. Эджвуд принялся смачно жевать свои бутерброды, почти все бутерброды съел он один. Потом взял Галину за руку.

— Поцелуйте меня,— сказал он ей.— Это будет самый восхитительный десерт!

— Я не хочу,— сказала Галина и позволила себя поцеловать.

Роберт стал ей противен, но она не могла сорвать прогулку. Раньше она почему-то не замечала его пошлости.

— Зимний романс! «And whispering: «I will ne'er consent»,— consented» [1]! — воскликнул он на своем родном языке, удовлетворенно смеясь.— Вы поступаете совсем так, как писал Байрон!

Он швырнул в снег остатки пищи, убрал стопки и принялся отвязывать лыжи.

— Отлично,— сказал он самому себе.

— Что отлично? — спросила Галина.

— Все,— сказал Эджвуд и протянул Галине лыжи.— Одевайте, дорогая, будем делать небольшую тренировку.

Он встал перед Галиной на колени и подтянул ремни на ее лыжах.

— Сегодня вы меня не догоните! — воскликнула Галина. Она любила его подразнить.

— Я даю вам десять минут форы! — серьезно крикнул он ей вслед и посмотрел на часы.

Он честно выждал десять минут и побежал по лыжне, проложенной Галиной.

Галина мчалась сломя голову. Вниз с холма, вверх, опять вниз... Легкий резковатый ветерок дул ей в лицо, румянил щеки, играл прядкой волос, выбившейся из-под синей вязаной шапочки. Ей хотелось, чтобы этот развязный и самодовольный тип не в силах был ее догнать... Она палками отталкивалась от наста и неслась.

Где-то позади, очень далеко, кто-то кричал... Это, конечно, кричал Эджвуд, но она не обернулась, не откликнулась, все бежала и бежала, благо полю не видно было конца. Но он все-таки нагонял ее.

— Галина! — услышала она его крик.

Он был еще далеко, но приближался.

— Остановитесь! — кричал он.— Мы не можем уходить так далеко!

Она не остановилась. Пусть догонит!

— Остановитесь!

В его голосе звучало раздражение, Эджвуд начинал злиться.

Поле шло под уклон, бежать по насту было легко, привольно. Галина подняла палки и старалась только не упасть.

Она опять ушла от Роберта... Сейчас он закатит ей скандал! Он ужасно противный, когда злится!..

Галина скатилась с пригорка и остановилась. Посмотрела на часы. Четверть пятого... При всем старании раньше чем через час обратно до машины они не доберутся. Но она постарается задержать своего спутника по крайней мере еще на час.

Она не простит ему эти снимочки! Мосты, аэродромы, заводы, а Галина — только для декорации!

Евдокимов — еще благородный человек, что не показал эти фотографии отцу. Отец ее очень любит и балует, но эти снимочки он ей, пожалуй, не простил бы. Такой важный, спокойный, в хорошо отутюженном костюме, в роговых очках, с тщательно повязанным галстуком, он, вероятно, сразу перестал бы быть похожим на самого себя, вернее, стал бы похож на того Вороненко, каким он выглядит на любительской фотографии, снятой в девятнадцатом году. На этом снимке он худой, злой, неумолимый! Галина не хотела бы видеть его таким. Она думает, что если бы Евдокимов показал отцу эти снимочки, он бы ее побил. Взял бы старую нагайку, которая валяется среди всяких его реликвий, и драл бы ее, драл, как сидорову козу...

Нет, Евдокимов — благородный человек, и она обязана выполнить свое обещание.

Галина откинула от себя одну лыжу, подвернула ногу и легла на снег. Как раз вовремя!

Господин Эджвуд появился на пригорке. Он посмотрел вниз и через пять секунд стоял возле Галины.

— Что с вами? — спросил он.— Вы упали?

— Вы же видите! — сердито ответила Галина.— Глупый вопрос!

— Вставайте и идемте обратно,— сказал Эджвуд, не скрывая своего раздражения.— Темнеет, и нам надо быстро добраться до машины.

— Не могу,— сказала Галина.— Я подвернула ногу.

— То есть как это не могу?! — закричал Эджвуд.— Что значит подвернула?

— Ну, вывихнула,— сказала Галина.— Растяжение связок.

— Хорошо, — торопливо сказал Эджвуд. — Я пойду к машине и быстро привезу доктора.

— А я буду здесь лежать и замерзать? — сказала Галина.— Как бы не так!

— А вы хотите, чтобы мы сидели и замерзали вдвоем? — разозлился Эджвуд.— Я хочу доставить вам помощь.

— А я вас не отпущу,— решительно сказала Галина.— Одна я здесь не останусь.

— Но что же делать? — сказал Эджвуд.— Не будьте женщиной!

— А кем же мне прикажете быть? — закричала на него Галина.— Снимайте лыжи и обнимите меня, с вашей помощью я как-нибудь дотащусь.

— Вы в уме? — завопил Эджвуд, теряя хладнокровие.— Мы с вами три часа будем тащиться до машины!

— Ну и что из этого? — сказала Галина.— Вы же говорили, что любите меня!

— Но я тороплюсь! — взвыл Эджвуд.— Мне нужно быть у машины, в пять часов меня будет вызывать один австралийский любитель!

— Ну и черт с ним, с вашим любителем! — равно-

---

[1] «И, шепча: «Я никогда не соглашусь»,— она согласилась». Байрон.

душно сказала Галина.— Неужели этот любитель вам дороже меня?

— Вот что! — решительно заявил Эджвуд.— Я побегу к машине, а через час вернусь за вами обратно!

— Посмейте только! — пригрозила Галина.— Сегодня же вечером мой отец будет знать, что вы променяли меня на свою австралийскую радиосвязь, а завтра об этом будет знать вся Москва!

Эджвуд неистовствовал. Ему ужасно хотелось уйти, Галина это отлично видела, у него земля горела под ногами. Однако он не решался.

— Но я вернусь за вами! — выкрикнул он в отчаянии.

— Я еще не знаю, имеете ли вы вообще право таскать свою радиостанцию за собой в машине,— раздраженно сказала Галина.— Изволите ли видеть, я буду валяться на снегу, а он будет разговаривать в это время с какими-то австралийцами!

— Молчите! — закричал Эджвуд.— Я остаюсь!

Галина подумала, что, если бы она была дочерью не Вороненко, а какого-нибудь мелкого служащего, Эджвуд ее не только бросил бы, но, пожалуй, убил...

«Знаем, с какими австралийцами вы беседуете»,— хотелось ей сказать, но она вовремя вспомнила совет Евдокимова и сдержалась.

Эджвуд подошел к ней.

— Вставайте...

Она уцепилась за него, заохала.

— Держитесь за меня,— сказал он и потащил ее в гору.

— Я так не могу,— заныла Галина.— Вы меня не жалеете, мне больно.

Эджвуд покорился. Он пошел с ней, как с ребенком, которого впервые обучают ходить.

Галина осторожно прихрамывала и размышляла, не поступить ли ей в театральную студию: ей казалось, что у нее обнаружились незаурядные актерские способности.

Эджвуд был недоволен собой. Он раздумывал о том, что его, вероятно, уже разыскивают в эфире... Такая неаккуратность с его стороны была непростительна для разведчика.

Сизые тени бежали по снегу. Небо темнело ужасающе быстро. Когда они дотащатся до машины, тот, другой, откажется от своих поисков...

Галина тяжело висела на его руке. Эджвуд никогда не думал, что наступит момент, когда он сможет сравнить эту девушку с мешком кукурузы.

Он опять вспомнил первую песнь Дон-Жуана.

— «Man's love is of man's life a thing apart» [1],— уныло продекламировал он.

— Что вы говорите? — поинтересовалась Галина.

— Вспоминаю Байрона,— сказал он с грустью.

Сумерки становились все гуще. Мороз начинал пощипывать щеки. Снег похрустывал под их ногами. Галина еще плотнее прижалась к Эджвуду и стала еще тяжелее.

— Вы рады, что вы со мной, Роберт? — ласково спросила она.— Посмотрите, какая кругом поэзия!

Она смотрела прямо перед собой и не видела его взгляда.

— «It is not poettry,— пробормотал он,— but prose run mad» [2].

[1] «Любовь мужчины и жизнь — две вещи различные...». Байрон.

[2] «Это не поэзия, а обезумевшая проза». А. Поп.

Разведка в лесу

Не просто было организовать наблюдение за машиной Эджвуда, не просто было следовать за ним, чтобы он об этом не подозревал, не так просто было найти в лесу его машину и самому остаться невидимым.

Но самым важным было заметить, где Эджвуд свернет с шоссе.

Эджвуд свернул на проселочную дорогу на семьдесят третьем километре.

Евдокимов ехал километрах в десяти позади Эджвуда.

В этот день регулировщиков уличного движения было на шоссе больше обычного.

Через каждые пять километров Евдокимов вопросительно взглядывал на милиционера-орудовца, в ответ тот слегка кивал, и Евдокимов уверенно ехал дальше.

Но когда он поравнялся с дорожным столбиком, отмечавшим семьдесят пятый километр, милиционер в ответ на его взгляд отрицательно покачал головой.

Надо было поворачивать обратно. На протяжении последних пяти километров от шоссе отходили три проселочные дороги, но только на одной из них был заметен свежий след легковой машины. Ясно, что Эджвуд свернул сюда.

Евдокимов захватил с собой короткие охотничьи лыжи.

Он вылез, приказал шоферу доехать до ближайшей деревни и там его ждать, а сам сошел с шоссе, надел лыжи и пошел прямо по снегу, по обочине дороги. Чуть подале он углубился в лес, стараясь держаться поближе к кустам, и шел наклонясь, готовый в любой момент нырнуть за молодую ель или куст можжевельника.

Он чувствовал себя, как на фронте, в разведке; его задачей было выследить противника и не обнаружить себя. Он сделал большой крюк и подумал даже, что заблудился, как вдруг из глубины леса сквозь решетчатый переплет заиндевелых ветвей увидел знакомую машину.

Евдокимов пригнулся еще ниже, осторожно отошел в сторону и спрятался за невысокой пушистой елкой.

Эджвуд и Галина стояли у машины. Они что-то долго копались возле нее, то и дело заглядывали в машину.

Евдокимов не видел, как они закусывали, но зато отлично видел, как они поцеловались. Он опять неодобрительно подумал о Галине:

«Испорченная девка! Можно ли на нее положиться?»

Наконец они надели лыжи и пошли.

Куда? Далеко ли?

Евдокимов засек время. Два часа пятьдесят четыре минуты. До пяти далеко... Сумеет ли Галина выполнить поручение?

Евдокимов вышел на дорогу. Подошел к машине. Подергал дверцу.

Машина оказалась запертой на ключ. Эджвуд — человек осторожный.

Евдокимов попытался открыть замок.

Собственно говоря, он не имел права это делать. Эджвуд пользовался дипломатическим иммунитетом. Его нельзя было арестовать, нельзя было обыскивать ни его, ни занимаемое им помещение. Автомобиль тоже мог считаться помещением. Застань Эджвуд Евдокимова в своей машине, мог бы произойти

скандал. Проще всего было тогда притвориться обыкновенным воришкой. Но, к сожалению, они были знакомы. Вернись сейчас Эджвуд к машине, Евдокимов выглядел бы достаточно глупо...

Но машина представляла немалый интерес. И Евдокимов был уверен, что если даже Эджвуд обнаружит, что кто-то копался в машине, он не станет этого разглашать, ему это будет невыгодно.

Евдокимов поковырял в скважине. Замок, конечно, поддался... При некоторой ловкости и навыке это не составляло большого труда.

Евдокимов открыл дверцу, влез в машину и принялся за осмотр.

На закрытой полочке, справа от шофера, находились небольшой фотоаппарат — все-таки он возит его с собой — и пистолет; и пистолет и фотоаппарат были заряжены.

На заднем сиденье лежал чемодан, на полу валялась меховая полость для ног.

Евдокимов открыл чемодан,— это оказался погребец с провизией. Холодная курица, паштет, сухие бисквиты, шоколад.

Евдокимов позавидовал Эджвуду. Сам он не так предусмотрителен, а не мешало бы захватить пару бутербродов. Фляга тоже наполнена. Евдокимов отвинтил крышку. Пригубил. Коньяк. Тоже неплохо.

«Иностранцы предусмотрительны по части всяких удобств,— подумал Евдокимов,— а мы, русские, всегда о себе забываем».

Он поднял заднее сиденье. Ого, это было уже интереснее!.. Коротковолновая радиостанция! Рискнуть или не рискнуть? Говорят, риск — благородное дело. Он рискнул.

Наладил радиостанцию, поднял антенну, настроился на указанную Анохиным волну...

Ждать было томительно. Он вышел на дорогу, погулял. Снова посидел в машине. Снова погулял...

Он много раз смотрел на часы, пока упрямая короткая стрелка не начала приближаться к пяти.

Вот, наконец... Пять часов! Пять минут шестого... Восемь минут шестого... Ого!

«Любимый город... Любимый город...»

Очень приятно, здравствуйте!

«Перехожу на прием... Перехожу на прием...»

Переходите, пожалуйста!

Отвечать или не отвечать?

Было очень соблазнительно поговорить с этим «радиолюбителем...». Но это было больше чем рискованно.

Завтра Эджвуд свяжется с ним и узнает, что в его отсутствие кто-то пользовался радиостанцией...

Нет, отвечать нельзя.

Конечно, неплохо бы выдать себя за Эджвуда и попытаться выяснить, что замышляют вражеские лазутчики...

Соблазн был велик, но такая игра могла все сорвать...

А тот зовет, зовет...

«Любимый город... Любимый город...»

Надрывайся сколько тебе угодно!

Вот почему мистер Эджвуд так любит загородные прогулки...

Значит, время и волна остались те же, которые знал Анохин, но изменился день: вместо пятницы вторник.

Главное выяснено! Теперь можно уходить. Выключить радиостанцию, замести все следы и уходить. Галина и Эджвуд могут возвратиться... Нет, не такая она дура, слово свое она сдержала.

Евдокимов запер дверцу и отошел от машины.

Почти совсем стемнело. Сизые тени крались меж деревьев. Деревья сделались выше. Наплывала зимняя ночь.

Дядя Витя умер

В течение нескольких дней в окнах квартиры мистера Эджвуда не появлялись цветы... И вот наконец в его окне опять заалели розы. Евдокимову сообщили об этом немедленно.

— Опять.

— Розы?

— Да, появились минут пятнадцать назад.

— Благодарю и прошу смотреть во все глаза.

Для кого они появились? Трудно было допустить, что Жадов осмелится появиться в кафе еще раз...

Это было бы слишком рискованно!

Но для кого-то все-таки розы появились?..

Евдокимов позвонил Галине.

— Ах, Дмитрий Степанович?— удивилась она.— А я думала, вы мне больше не позвоните...

Она разговаривала с Евдокимовым совсем иначе, чем прежде... Куда только исчезло ее жеманство!

— Вы никуда не собираетесь сегодня вечером со своим Робертом?— спросил он.

— Нет,— отозвалась она довольно-таки огорченно.— После последней прогулки он мне не звонил.

— Не звонил?— удивился, в свою очередь, Евдокимов.— С его стороны это просто невежливо.

— Почему?— удивилась тогда Галина.— Вероятно, он чем-нибудь занят.

— Чем-нибудь он, конечно, занят,— согласился Евдокимов.— Но, сколько мне помнится, у вас произошло что-то с ногой, и элементарная вежливость обязывала его осведомиться о здоровье своей дамы.

— Ах, вот вы о чем...— Галина вздохнула.— Я и забыла об этом...

— Вы, конечно, могли забыть,— заметил Евдокимов.— Но Эджвуду следовало помнить...

Ни одна девушка не испытывает удовольствия, когда подчеркивают невнимание к ней ее поклонника, хотя бы он и был не слишком даже ей приятен.

Галина уклонилась от дальнейшего обсуждения поведения Эджвуда.

— Вам что-нибудь нужно от меня, Дмитрий Степанович? — спросила она.

— Мне хочется, чтобы вы пошли сегодня с Эджвудом в кафе на улице Горького,— сказал он.— И пригласили меня.

— А разве Роберт собирается туда? — спросила Галина.

Судя по ее голосу, она ничего не имела против этого предложения.

— Это мне неизвестно,— сказал Евдокимов.— Но вы бы могли позвонить, узнать и даже пригласить его, не упоминая, конечно, моего имени.

— Хорошо, я это сделаю,— немедленно согласилась Галина.

— Сделайте это сейчас,— сказал Евдокимов.— Минут через двадцать я снова позвоню вам.

Он так и сделал.

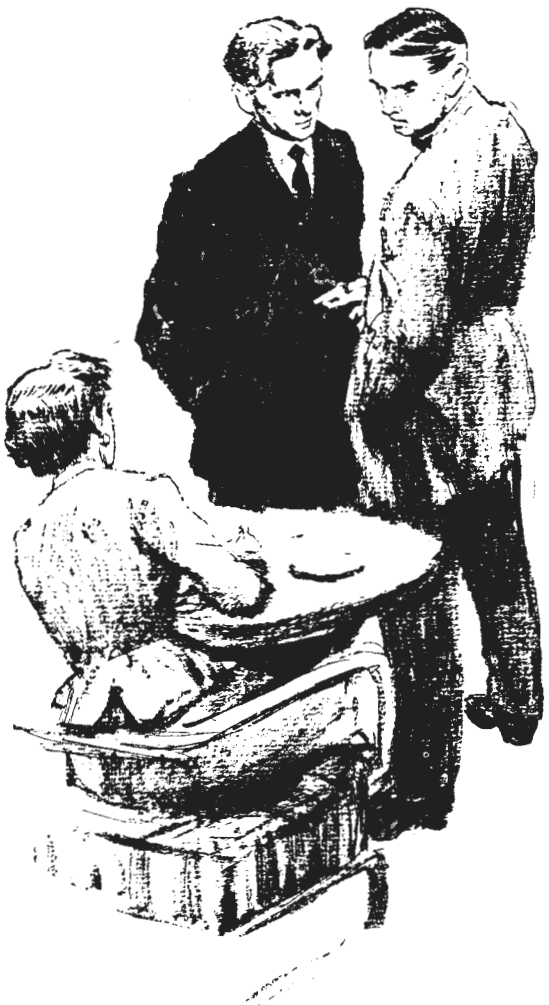
— Ну что? — осведомился он.

— Роберт говорит, что он занят,— сказала Галина.

Она была как будто чем-то обескуражена.

— Он вам больше ничего не сказал? — спросил Евдокимов.

— Он вообще был очень нелюбезен,— призна-



лась Галина.— Говорит, что вообще не хочет меня видеть...

— Надеюсь, вы не слишком огорчены? — любезно осведомился Евдокимов.— В таком случае я приглашаю вас.

— В кафе? — удивилась Галина.

— Именно! — сказал Евдокимов.— Часов в семь я за вами заеду...

Евдокимов мало верил в то, что на этот раз Жадов рискнет появиться в кафе, но на случай, если у него все же хватит наглости прийти, Евдокимов решил не оставлять его на свободе.

С этой целью была направлена целая группа оперативных работников.

Они должны были расположиться неподалеку от входа в кафе и по первому знаку Евдокимова окружить и забрать Жадова.

В том случае, если бы Жадов был арестован сразу после встречи с Эджвудом, это достаточно компрометировало бы последнего...

Вряд ли Жадов после ареста стал бы щадить своего соучастника!

Евдокимов и Галина приехали спозаранку, публики в кафе было еще мало, но Евдокимов боялся прозевать одного из тех любителей цветов, которые избрали это кафе местом своих свиданий.

Галине было не по себе. Она согласилась поехать с Евдокимовым, но не знала, как теперь себя с ним держать. Разыгрывать модную жеманную девицу было нелепо, вести себя просто она разучилась...

Поэтому она предпочитала молчать, а чтобы ее молчание не было слишком заметно, непрерывно что-нибудь пила и жевала.

Публика прибывала. Заиграл оркестр.

Галина тоскливо посмотрела на своего спутника.

— Разрешите вас пригласить? — спросил ее Евдокимов.

Галина оживилась.

— Вы хотите танцевать? — удивилась она.

— А почему бы и не потанцевать? — сказал Евдокимов.— Ведь это доставит вам удовольствие...

Когда они танцевали, в зале появился Эджвуд. Евдокимов сразу его заметил. Он ни на минуту не переставал наблюдать за публикой. По своему обыкновению Эджвуд медленно пробирался по залу. Евдокимов не знал, заметил их Эджвуд или нет, и нарочно от него отвернулся. Но почти тут же они с ним столкнулись.

— Мистер Эджвуд?! — воскликнул Евдокимов.— Какая неожиданная встреча!

Они остановились.

— Почему неожиданная? — ответил Эджвуд с холодной вежливостью.— Я рассчитывал вас здесь встретить...

Евдокимов опять плохо подумал о Галине.

Неужели она проболталась?

— А вы сказали, что будете заняты! — упрекнула Галина Эджвуда.

— Я действительно занят,— холодно сказал он.— Но желание видеть вас...

— О Роберт! — ответила она, впадая в свой прежний тон.— Вы невыносимы...

— Если у вас не назначено здесь никакой встречи,— предупредительно сказал Евдокимов,— разрешите пригласить вас к нашему столику.

— О, нет, у меня здесь нет никакой другой встречи,— сказал Эджвуд.— Пожалуйста и с удовольствием.

Они подошли к столику, но здесь Эджвуд совершил маневр, которого Евдокимов не предвидел: трудно было сказать, сознательно это сделал Эджвуд или случайно, но он указал Евдокимову на стул, который стоял в простенке и с которого нельзя было видеть весь зал.

— Прошу вас,— любезно сказал Эджвуд, садясь сам на стул, наиболее удобный для обозрения зала и который Евдокимов предназначал для себя.— Пусть Галина сядет посередине!

Он даже засмеялся, хотя смеялся только его рот, глаза его смотрели на Евдокимова с неизменным холодным блеском.

— Между двух стульев, как это говорится у русских.

— Что вы будете пить и есть? — осведомился Евдокимов на правах хозяина.

— Русское виски и русскую икру,— твердо сказал Эджвуд.— Я готов это пить и это есть всю жизнь.

Он выпил рюмку водки и, забыв закусить ее икрой, зло посмотрел на Евдокимова.

— Да, мистер Евдокимов,— многозначительно произнес он.— Мне самому необходимо было встретиться с вами.

Он несколько наклонился над столом и, глядя Евдокимову прямо в глаза, произнес еще многозначительнее:

— Дядя Витя заболел.

Что бы это могло значить?

Неужели Эджвуд почему-либо решил, что Евдо-

кимов тоже принадлежит к иностранной агентуре, и ищет с ним встречи?

Евдокимов размышлял и колебался...

Но Эджвуд настойчиво повторил еще раз:

— Дядя Витя заболел.

Ну, что ж, попробуем; Евдокимов знает отзыв, посмотрим, что из этого получится... Евдокимов согласно кивнул и ответил:

— Надо обратиться к доктору.

Эджвуд прищуренными глазами посмотрел на Евдокимова.

— Нет, не надо,— холодно сказал он.— Дядя Витя умер.

Евдокимов не понял Эджвуда.

— Да, дядя Витя умер,— повторил тот.— Если вы познакомились с дядей Витей, ему делать больше нечего.

— Я вас не понимаю,— неуверенно сказал Евдокимов.— Если кто-нибудь болен, всегда надо обращаться к доктору.

— Но зато я вас очень хорошо понимаю,— сказал Эджвуд.— Я не знаю, каким образом вы узнали пароль, но поскольку вы его узнали, он больше не существует. Это была последняя проверка, которая открыла мне ваше истинное лицо.

— Но позвольте, мистер Роберт! — воскликнул Евдокимов.— Не требуется большой проницательности, чтобы знать, кто я такой. Евдокимов Дмитрий Степанович...

— Возможно, что вас действительно зовут Евдокимов,— сказал Эджвуд.— Но вы такой же физик, как и я.

Галина молча посматривала на своих кавалеров.

Эджвуд с подчеркнутым презрением посмотрел на Галину и пренебрежительно сказал:

— У вас нет никаких способностей стать артисткой, вы очень плохо хромали, а иногда даже забывали хромать. Вначале я думал, что это ваш каприз. Но когда я убедился, что в машине был кто-то посторонний, мне стало все ясно.

Он отвернулся от Галины и принялся неотрывно смотреть на Евдокимова.

— Вы выбрали для меня плохого агента, мистер Евдокимов,— сказал он, указывая глазами на Галину.— И сами вы работали на моей коротковолновой установке и не заметили, что при включении станции одновременно автоматически включается специальный магнитофон. А он-то и сообщил мне о вашем посещении.

— Но, мистер Эджвуд! — воскликнул Евдокимов.— Ваши подозрения...

— Выслушайте меня,— остановил его Эджвуд.— Я, конечно, понимаю, что за мной не могут не следить, и вы давно уже возбудили во мне подозрение. Слишком часто сталкивались вы со мной в этом кафе, а я не верю в случайности. Вы сами еще неопытный агент, и поэтому я решил открывать перед вами карты. Оставьте меня в покое, иначе мой посол будет иметь неприятный разговор с вашим правительством. Я вам скажу, как это называется...

Он полез в карман и достал записную книжечку в серебряном переплете.

— У меня здесь записано,— сказал он.— Я люблю собирать фольклор в тех странах, где я работаю. Это не запрещается. Вот... Не пойман — не вор. Я не пойман, и я не вор, и поэтому я советую вам оставлять меня в покое.

— Спасибо за науку, мистер Эджвуд,— вежливо ответил Евдокимов.— Магнитофона я действительно не предусмотрел. Но приемник, с которым вы разъезжали по нашим лесам, вы обязаны были зарегистрировать...

— Никакого приемника не существует, мистер Евдокимов,— спокойно перебил его Эджвуд.— Утром мои люди разобрали его, как ребенок разбирает свою любимую игрушку!

Эджвуд встал и, подчеркнуто не глядя на Галину, слегка поклонился.

— До свидания, мистер Евдокимов. Я не буду больше бывать в этом кафе, не буду встречаться с вами и никогда больше не прикоснусь к красным розам, они перестали мне нравиться.

Он помолчал и самодовольно добавил:

— Надо понимать, с кем имеешь дело. Вы еще получите,— это я вам обещаю,— получите от меня привет.

Он еще раз слегка наклонил голову и, уверенно лавируя между столиками, медленно пошел к выходу.

Охота на охотника

Воскресенье было в семье Анохиных тем мирным, счастливым днем, когда никакие тучки, никакие тревоги не омрачали жизни...

Как-то уж так у них в последнее время повелось, что все покупки Шура делала накануне, а воскресенье они проводили дома; Шура вышивала или читала, Павел Тихонович сперва занимался, потом начинал возиться с дочерью: что-нибудь ей пел, носил ее, подбрасывал на руках,— постепенно в игру вовлекалась Шура, и все трое развлекали друг друга.

Особенно уютно они почувствовали себя, когда их неожиданно пригласили в домоуправление и предложили перебраться в такую же комнату, но на пятом этаже, так сказать, подняли их на пятый этаж; одновременно предложили перебраться в эту же квартиру и Сомовым; на том, чтобы Наташа по-прежнему жила в одной квартире с Анохиными, особенно настаивал Евдокимов; она как-то очень хорошо поняла наказ Евдокимова оберегать Анохиных, восприняла это поручение как свою общественную нагрузку и делала это очень тактично и незаметно, без какой бы то ни было навязчивости.

После переезда наверх настроение Анохиных заметно улучшилось: Павел Тихонович теперь был уверен, что никто не заглянет к нему в окно и никакая пуля не залетит в его комнату на пятом этаже.

Конечно, вполне успокоился бы он только после ареста Жадова, но и переезд наверх внес в его жизнь большое облегчение.

Впрочем, к тому, чтобы сидеть безвыходно дома, сначала надо было привыкнуть, но когда они с Шурой порешили купить телевизор и купили его, сидеть дома стало не только не скучно, но даже приятно.

Посмотреть телевизионную программу заходила к ним иногда даже вечно занятая Нина Ивановна Сомова, а что касается Наташи,— она постоянно проводила вечера у Анохиных.

Ослабевало по воскресеньям и наружное наблюдение, которое велось за домом, где жили Анохины. Было несомненно, что Жадов ни под каким предлогом зайти в квартиру больше не осмелится: его посещение еще слишком было свежо в памяти, и его сразу бы узнали. Ему нельзя было появиться

даже неподалеку от дома, потому что для агентов наружного наблюдения Жадов из отвлеченной и малоосязаемой опасности постепенно превратился в реальную и вполне ощутимую личность с плотью, кровью и вполне определенным лицом. Но поскольку по воскресеньям никто из Анохиных на улицу не показывался, даже ангелы-хранители чувствовали себя в этот день, так сказать, в психологическом отпуске.

Поэтому в то воскресенье, когда события достигли своей кульминации, с утра никто и предположить не мог, что в этот день что-нибудь случится.

События стали развертываться к вечеру, когда Анохины думали, что день уже благополучно закончился.

Началось с появления разносчика телеграмм, который был самым подлинным и обыкновенным почтальоном из ближайшего почтового отделения. Часов в пять вечера он позвонил и, не вызвав никаких подозрений, был впущен в квартиру, вручил Анохину городскую телеграмму, и на этом его участие в дальнейшей истории закончилось.

Телеграмма была лаконична и гласила: «Прошу немедленно явиться на завод тчк Евдокимов».

Павел Тихонович показал телеграмму Шуре.

— Что там могло случиться? — забеспокоилась Шура.— Даже представить себе не могу...

Анохин молчал.

— Во всяком случае, надо идти,— сказала Шура.— Евдокимов зря не вызовет.

Анохин пожал плечами.

— Если это Евдокимов...

— То есть как, если Евдокимов? — удивилась Шура.— А кто же мог послать телеграмму?

— А ты думаешь, все делается по-честному? — возразил Анохин.— Я-то знаю, как это делается!

— Что делается? — спросила Шура.

— Всякие вызовы, письма, телеграммы,— перечислил Анохин.— Меня этому обучали. Различные способы выманить человека из дому для того, чтобы он никогда не вернулся обратно.

— А если ты вправду нужен? — нерешительно спросила Шура.

— Да зачем Евдокимову вызывать меня телеграммой? — продолжал рассуждать Анохин.— Какие у него могут быть дела на заводе, да еще в воскресенье? Не проще ли приехать самому или прислать за мной машину?

— Но что же делать? — растерянно спросила Шура.

— Прежде всего позвонить Евдокимову,— сказал Анохин.— На всякий случай проверим и посоветуемся, как быть.

— Правильно! — воскликнула Шура.— Я сейчас сбегаю и позвоню!

— Нет, не ты,— остановил ее Павел Тихонович.— Меня уже хотели оставить без Машеньки, почему бы им не попытаться отнять у меня и тебя? Надо быть осторожнее. Попросим Наташу, ее никто не тронет.

Они привыкли к постоянному присутствию Наташи возле себя и часто обременяли ее поручениями, которые обычно даются только членам семьи.

Шура даже не побежала за Наташей, а постучала в смежную стену.

Наташа не заставила себя ждать.

— Ты меня зовешь, Шурочка? — спросила она, без стука входя в комнату.

— Наташенька, у нас к тебе просьба: не сбегаешь позвонить по телефону? — обратилась к ней Шура, не сомневаясь в ответе.— Понимаешь ли, Павлик получил от товарища Евдокимова телеграмму, так надо узнать, обязательно ли ему идти...

— То есть как же не обязательно? — удивилась Наташа.— Если Евдокимов вызывает...

— Да в том-то и дело, что у Павлика нет уверенности, что это Евдокимов,— объяснила Шура.— Сбегай, Наташенька, спроси. Я тебе сейчас дам телефон...

— Понимаю, понимаю! — догадалась Наташа.— У меня есть телефоны Евдокимова. И служебный и домашний. Сейчас...

Она выбежала в переднюю, накинула на себя пальто, выскочила на лестницу, пулей слетела вниз и помчалась в соседний подъезд, где находился телефон-автомат.

Принимая во внимание, что было воскресенье, она позвонила Евдокимову по домашнему телефону, и Евдокимов, на ее счастье, оказался дома и тотчас ответил.

— Товарищ Евдокимов! — торопливо сказала Наташа.— Здравствуйте! Вы просили звонить вам, если что. Так вот, Павел Тихонович получил телеграмму...

— Здравствуйте, Наташа,— отозвался Евдокимов.— Какую телеграмму?

— От вас,— сказала Наташа.

— Как от меня? — спросил Евдокимов.— Я не посылал никакой телеграммы. Рассказывайте!

— Да нечего рассказывать,— сказала Наташа.— Принесли телеграмму, вызывают Павла Тихоновича на завод, и ваша подпись. Вот он и спрашивает: идти или не идти?

— Я сейчас приеду,— сказал Евдокимов.— Спасибо, что позвонили. Передайте, буду у них через десять минут.

Он действительно появился в квартире у Анохиных через четверть часа.

— Ну, показывайте,— сказал Евдокимов.— Где ваша телеграмма?

— Телеграмма ваша, а не наша,— усмехнулась Шура, пытаясь за усмешкой скрыть тревогу.

Анохин молча протянул ему телеграмму.

— «Немедленно явиться на завод»,— вслух прочел Евдокимов.

Он посмотрел на свою подпись...

Вот он, привет от господина Эджвуда! Тот обещал ему напомнить о себе. Они решили воспользоваться его фамилией; только они рассчитывали, что Евдокимов увидит эту телеграмму после того, как все произойдет...

По поводу всякого другого вызова, полагали они, Анохин сможет обратиться к Евдокимову, но по вызову Евдокимова он отправится с места в карьер...

Евдокимов еще раз прочел телеграмму и перевел взгляд на Анохина.

— Что ж,— произнес Евдокимов,— придется пойти.

— То есть как пойти? — воскликнул Анохин.— Вы понимаете, зачем меня вызывают?

— Понимаю,— спокойно сказал Евдокимов.— Вас ждут у завода или где-то по дороге к заводу. Поэтому-то вам и придется пойти.

— Нет, я не пойду,— решительно заявил Анохин.— Я не хочу лишний раз подставлять свою голову!

— Но ведь вы должны понять, что иначе нам не взять Жадова,— упрекнул его Евдокимов.— Он очень ловко скрывается. Скрываться — это его профессия, и он никогда не обнаружит своего присутствия, если перед ним не появится его добыча.

— Но ведь он подстерегает меня не для того, чтобы заключить в свои объятия! — сердито сказал Анохин.

— Но мы-то будем наготове! — возразил Евдоки-

мов.— До сих пор ни один волос не свалился с вашей головы!

— Это просто повезло, — не сдавался Анохин. — Я не хочу и...

— Боитесь? — спросил Евдокимов.

— Да, боюсь,— откровенно признался Анохин.— Я уже говорил: вы не знаете Жадова. Он стреляет без промаха — днем, ночью, с завязанными глазами...

Самым заветным желанием Анохина было, чтобы арестовали Жадова, но сам он не хотел в этом принимать участия; при мысли о встрече с Жадовым им овладевал ужас, он начинал чувствовать какой-то неприятный холодок и, даже мысленно представив себе давящий взгляд бесстрастных, каменных глаз Жадова, он втягивал голову в плечи и готов был бежать от них хоть на край света.

— Но ведь вы разведчик,— сказал ему Евдокимов.— Вы должны быть готовы ко всему...

— Ах, да никакой я не разведчик! — раздраженно выкрикнул Анохин.— Я нанялся в шпионы потому, что мне нечего было жрать!

— Но вы должны нам помочь, понимаете? — спросил Евдокимов.— Вы этим помогаете самому себе, своей семье. Мы не дадим вас убить.

Анохин упрямо молчал.

— Второй такой случай не повторится,— убеждал его Евдокимов.— Нельзя оставлять Жадова на свободе, и чем скорее мы его возьмем, тем лучше. Вы пойдете?

Анохин молчал.

В течение всего этого разговора Шура не проронила ни одного слова; она слушала обоих мужчин, попеременно вглядываясь то в Евдокимова, то в мужа.

— Вы пойдете? — повторил Евдокимов свой вопрос.

— Он пойдет,— ответила Шура вместо мужа.

Анохин резко повернулся к жене...

— Он пойдет, Дмитрий Степанович,— повторила Шура.— Как же это он не пойдет?

Анохин гневно посмотрел на жену.

— Да ты...— начал было он.— Ты понимаешь?..

— Я все понимаю, Павлик,— остановила она его.— Я бы пошла вместо тебя, но это невозможно. Дмитрий Степанович правильно говорит. Жадов — все равно как зверь, который вырвался из зоопарка. Он может броситься на любого. Кто-то должен его задержать...

Шура обернулась к Евдокимову.

— Ведь вы его побережете, Дмитрий Степанович? — спросила она.

Она вышла в переднюю и вернулась, держа в руках пальто мужа.

— Одевайся, Павлик.

— Да, время идет, не надо его заставлять дожидаться,— деловито сказал Евдокимов.— Вы по каким улицам обычно ходите на завод?

— По Стремянной,— ответил Анохин, покорясь вдруг Евдокимову.— Сворачиваю на Кольцевой проезд, оттуда через Васильевский переулок на Заводскую...

— Вот и отлично! — бодро сказал Евдокимов.— Так и идите. Идите не спеша, обычным шагом...

— Но вы учтите,— сказал Анохин,— он ко мне даже не подойдет, он за сорок шагов сбивает...

— Не беспокойтесь,— подбодрил его Евдокимов.— Машина уже внизу, там еще три наших работника. Они для этого и приехали...

Анохин и Евдокимов вместе спустились по лестнице и вышли на улицу.

— Идите,— сказал ему Евдокимов и пошел к машине.

— А вы? — спросил Анохин.

— Все будет в порядке,— уверенно повторил Евдокимов.— Идите.

Анохин пошел...

Не оставалось ничего другого, хотя ему очень не хотелось идти. Никто в Москве не знал Жадова так, как его знал Анохин...

Но те, кто охраняли его в течение всего последнего времени, посылали его навстречу Жадову... И Анохин вынужден был идти.

Вот он идет, идет...

Но где же Евдокимов? Где те, кто взялся его охранять? Нигде никакой машины, ни позади, ни впереди...

Анохин не считал себя трусом, но сегодня ему было жутко.

Где подстерегает его Жадов?

Опоздай Евдокимов на секунду — и не видать

ему ни Шуры, ни Машеньки, ни этих улиц, ни снега, ни уличных фонарей...

Он прошел Стремянную, пересек Кольцевой проезд, приблизился к Васильевскому переулку... Вошел в переулок.

В Васильевском переулке и днем-то бывало пустовато, а сейчас вообще никого не было.

Для чего только так ярко горят фонари?

Он неторопливо прошел переулок, приблизился к углу, хотел было повернуть за угол, как вплотную столкнулся с каким-то человеком, поднял голову и увидел... Жадова!

Увидел и обмер.

Жадов в упор смотрел на Анохина ледяным, ненавидящим взглядом.

— Наконец-то ты мне попался! — негромко произнес Жадов.

Или он ничего не произнес и это только показалось Анохину.

Он почувствовал, как у него задрожали колени.

Какой-то мерзкий страх сдавил горло.

Он растерянно обернулся и — не выдержал, не справился с собой...

Он повернулся, втянул голову в плечи и побежал. Скорее, скорее, подальше отсюда, скрыться, исчезнуть, раствориться!..

Жадов целится сейчас ему в спину. Анохин не сомневается в этом. Так в лагерях для перемещенных лиц убивали тех, кого подозревали в симпатиях к коммунизму. Так обыкновенно убивал людей Жадов. Об этом все знали в Бад-Висзее. Он приказывал своей жертве повернуться и идти и хладнокровно всаживал пулю в затылок...

Редко Евдокимов испытывал такое напряжение. Он ни на мгновение не упускал из виду Анохина, но с еще большим вниманием наблюдал за всем, что было «вокруг, вверху и внизу»...

Он тоже не чувствовал себя обычным, нормальным человеком, он готовился к прыжку... Он чуть притронулся к руке шофера, и тот задержался на углу Васильевского.

Ярко горели уличные фонари, темнели черно-серые полосы тротуаров, кое-где на мостовой белели пятна снега...

Только профессиональный, безошибочный глаз Евдокимова мог сразу увидеть и оценить всю обстановку.

Анохин дошел до угла, сразу же повернулся и побежал, и в то же мгновение на углу появился кто-то еще, высокий и поджарый; этот кто-то вскидывает руку и целится...

Через несколько секунд машина будет возле человека на углу, но за эти несколько секунд он выстрелит...

Евдокимов сам резко поворачивает баранку, и машина рывком въезжает на тротуар и загораживает Анохина.

Шофер резко тормозит. Пуля пробивает кузов.

Все это происходит в одно мгновение.

Евдокимов выскакивает из машины. Анохин молчит, смотрит на Евдокимова и ничего не понимает... Его губы шевелятся.

— Спасибо,— доносится до Евдокимова его шепот.

Евдокимов вскакивает обратно в машину.

— Вперед, вперед! — приказывает он шоферу.— Жми!

Со скоростью молнии они оказываются на углу.

Жадова нет... Нигде! Куда он исчез? Как? На машине? Пешком?.. Исчез!

Штаб повстанцев

Потеряв следы Жадова и отправив Анохина домой, Евдокимов поехал к себе в отдел.

Везде было пусто, все отдыхали.

Он заглянул в приемную в надежде, что генерал, может быть, у себя,— ему очень хотелось рассказать о новом покушении на Анохина,— но и генерала не было, один дежурный по отделу сидел в кресле у стола и читал новый роман Фейхтвангера.

Евдокимов прошел в оперативную часть и попросил усилить наблюдение за квартирой Роберта Д. Эджвуда; события развивались так, что вполне резонно было предположить, что Эджвуд и Жадов захотят встретиться, что им просто надо будет встретиться друг с другом.

Евдокимов просил не терять Эджвуда из поля зрения ни на минуту и, если он куда-нибудь выедет, поставить его об этом в известность.

Но едва Евдокимов приехал домой, как к нему позвонили и сообщили, что сам Эджвуд никуда не выезжал, но зато к нему на квартиру только что явился странный посетитель.

Евдокимов сейчас же поехал узнать подробности.

Около восьми часов вечера, сообщили ему, к дому, в котором проживает мистер Эджвуд, приблизился высокий мужчина — судя по описанию, можно было не сомневаться, что это был Жадов,— торопливо вошел в парадное, позвонил в квартиру Эджвуда и рывком, немедленно исчез за дверью; больше его не видели, из квартиры Жадов не появлялся.

Это было нарушением всякой конспирации!

Жадов не мог, не смел, не должен был прийти к Эджвуду: его посещение чрезвычайно сильно могло скомпрометировать Эджвуда и не приносило пользы Жадову...

Евдокимов допускал, что две причины могли побудить Жадова устремиться к Эджвуду: желание скрыться после покушения и еще большее желание поскорее удрать из Советского Союза.

Должно быть, Жадов чувствовал себя очень неуверенно, скрываться ему, по-видимому, становилось все труднее и к тому же, вероятно, нервы тоже сдавали даже у такого железного человека, каким, несомненно, был Жадов.

Евдокимов представлял себе, что Жадова ожидал у Эджвуда не слишком любезный прием: солидарность солидарностью, но в том мире, к которому принадлежали и хозяин квартиры и его гость, собственная шкура ценится превыше всего.

Скрываться у Эджвуда Жадов не мог: неприкосновенность помещения, занимаемого лицом, обладающим дипломатическим иммунитетом, не предусматривала по советскому закону права предоставления убежища лицам, преследуемым государством, при правительстве которого эти дипломаты были аккредитованы; не позднее как утром от Эджвуда, и даже не от Эджвуда, а от посольства, при котором тот числится, потребуют выдачи Жадова, и никто не сможет от этого уклониться, а сам Эджвуд будет иметь неприятности, которые могут вызвать даже его отъезд из Советского Союза.

Поэтому Жадов неизбежно должен был покинуть квартиру Эджвуда.

Жадов мог появиться в любой момент, и каждую минуту надо было быть наготове.

Евдокимов вызвал машину с оперативными работниками, она прибыла уже через двадцать минут, и вместе с прибывшими поместился в машине.

Машина находилась за углом, но двое работников ни на минуту не отходили от самого дома.

Эджвуд, разумеется, знал, что за его квартирой установлено наблюдение.

Часов в десять вечера на улицу вышел один из его лакеев и прошелся от угла до угла.

Евдокимов не находил нужным делать секрета из наблюдения за квартирой. Эджвуд был пойман с поличным, рано или поздно Жадов должен был появиться, предстояло только задержать его возможно тише и аккуратнее.

В полночь вышел погулять в переулок другой лакей...

Жадов не появлялся.

Ночь тянулась медленно, монотонно.

Прохожих становилось все меньше, стихал городской шум, приближалось то глубокое ночное время, когда даже в Москве ненадолго устанавливается относительная тишина.

Кто знает, что делали в это время Эджвуд и Жадов, кто знает, какими любезностями обменивались между собой в эти ночные часы хозяин квартиры и его непрошеный гость...

Ночь шла, близилось утро, в переулок вплывал серый сумрак.

Под утро Евдокимов пошел пройтись под окнами Эджвуда. Везде были спущены занавески, за занавесками горел свет. Что там происходит?

Один из лакеев вышел из ворот и стал их открывать. Становилось уже интересно...

И, едва ворота распахнулись, показалась машина господина Эджвуда.

Было пять утра.

За баранкой сидел сам Эджвуд, в глубине машины тоже сидел кто-то.

Евдокимов попытался взглядом проникнуть в глубь машины.

Человек явно старался быть как можно незаметнее, но и длинная фигура и каменная посадка головы не вызывали сомнений... Эджвуд вывозил Жадова.

Иначе он поступить не мог. Оставить у себя нельзя; выпустить одного тоже нельзя: Жадова задержат, и будет установлено, из чьей квартиры он вышел; для Эджвуда наилучшим выходом была попытка спасти Жадова.

Эджвуд правильно рассчитывал на свой дипломатический иммунитет; его машина являлась частью территории, на которую этот иммунитет распространялся; во всяком случае, до начала служебного дня, покуда еще не последовало официального обращения в посольство, никто не решится ни задержать, ни проникнуть в его машину, а до того времени, когда начнут работать дипломатические канцелярии, сделать было можно многое.

Эджвуд повернул направо.

Евдокимов кинулся к своей машине.

— Ну, братцы,— промолвил он,— теперь наше дело — только не отставать!

Улицы были еще пусты, жизнь еще только начиналась.

Евдокимов демонстративно не отставал от Эджвуда.

Было очевидно — да Евдокимов этого и не скрывал,— что за Эджвудом не следят, а просто-напросто его преследуют.

Эджвуд выехал на Садовое кольцо, здесь уже можно было двигаться быстрее.

У Эджвуда был «Бьюик» последнего выпуска, Евдокимов со своими товарищами ехал в «Победе».

Евдокимов боялся, что в конечном счете скромная

«Победа» не выдержит соревнования с сильным «Бьюиком».

Эджвуд свернул на улицу Горького и погнал машину к вокзалу.

Выехал на Ленинградское шоссе, начал набирать скорость.

— Держись, ребятки! — сказал своим помощникам Евдокимов.— Сейчас только начнется...

Что начнется, он не сказал,— это было понятно без слов.

Они не заметили, как выехали за пределы городской черты.

Тут началась настоящая гонка!

Эджвуд выжимал из своего «Бьюика» все, но скромная и маленькая по сравнению с великолепным «Бьюиком» «Победа» бежала с завидной неутомимостью.

На одном из перекрестков Эджвуд неожиданно свернул, и «Победа» проскочила мимо поворота.

Это дало Эджвуду выигрыш времени в несколько минут, а это было очень много.

Когда «Победа» опять пошла следом за «Бьюиком», тот уже отъехал очень далеко.

Но возле одного из переездов через линию железной дороги опущенный шлагбаум опять уменьшил разрыв в расстоянии.

Долго длилась эта утомительная гонка...

«Бьюик» то вырывался вперед, то его задерживали какие-нибудь случайные препятствия; Эджвуд петлял, хитрил, норовил обмануть своих преследователей; на одном из перекрестков резко затормозил, развернулся, поехал навстречу «Победе».

Пока «Победа» разворачивалась, он опять выиграл несколько минут.

Эджвуду во что бы то ни стало нужно было уйти от преследователей. Он повел машину все скорей и скорей, не обращая внимания на случайные препятствия, не обращая внимания на прохожих... Так, в бешеной и утомительной гонке он добрался до своего излюбленного Серпуховского шоссе. Здесь он опять устремился вперед, выжимая из машины все ее силы.

«Победа» задыхалась, изнемогала, но все шла, шла; передняя машина не могла от нее оторваться. Не могла, а оторваться ей было очень нужно.

Внезапно неподалеку от переезда «Бьюик» свернул к железнодорожному полотну.

Издалека гудел приближавшийся поезд.

По-видимому, беглецы спешили опередить поезд и перескочить линию, рассчитывая, что поезд перегородит путь «Победе» и «Бьюик» выиграет таким образом еще несколько минут, которые в конце концов могли решить успех этой головокружительной гонки.

Поезд находился в километре — полутора от переезда, не больше. Стрелочница опускала шлагбаум.

«Бьюик» задержался на мгновение у шлагбаума, Жадов выпрыгнул из машины, подскочил к стрелочнице,— неизвестно, что он ей сказал; из «Победы» было видно, как Жадов отшвырнул стрелочницу в сторону, шлагбаум пополз вверх, и «Бьюик» въехал на переезд.

Но он не пересек линию, а свернул вдруг на параллельную колею и, подпрыгивая, помчался по шпалам.

Поезд, чуть замедливший ход у дачной станции, миновав и ее и будку стрелочника, снова стал набирать скорость.

Впереди мчался поезд, и параллельно с ним, почти бок о бок, мчался автомобиль...

И на глазах у всех, находившихся в этот момент на переезде, произошел трюк, который очевидцам этого зрелища приходилось раньше видеть лишь в приключенческих кинокартинах.

Поезд и автомобиль двигались параллельно друг другу. На ступеньке автомобиля стоял Жадов. Автомобиль прыгал по шпалам.

Мчался поезд... Мчался автомобиль... Бок о бок!

Жадов вытянул руку и опустил. Не получилось!

Автомобиль снова поравнялся с одним из вагонов. Жадов снова протянул руку... Его точно рвануло! Он мотнулся в воздухе...

Сорвется! Нет, он уже висел на поручне вагона...

Сорвется! Нет, подтянулся. Вот встал на ступеньке... Еще мгновение — и Жадов исчез в вагоне.

«Бьюик» сразу сбавил темп, поезд прошел мимо него и умчал Жадова. Немедленно из «Победы» выскочил один из сотрудников и побежал к будке стрелочника, чтобы срочно сообщить о побеге Жадова на ближайшую станцию.

Находиться на линии было рискованно, каждую минуту мог пройти встречный поезд.

«Бьюик» развернулся, стал поперек линии, попытался съехать, скатился с насыпи, перевалился через канаву, уперся радиатором в землю и тоже, как в кино, перевернулся и замер, задрав кверху колеса.

Евдокимов и его помощники подбежали к месту аварии.

— Дела! — сказал кто-то из них и полез вниз, к перевернутой машине.

— Смотри, поосторожнее! — крикнул другой.— Не забудь, что эта машина пользуется дипломатической неприкосновенностью!

— Ну, ноги дипломаты ломают так же, как и все смертные,— отозвался первый и попытался заглянуть в машину.

В это мгновение передняя дверца машины дернулась, дернулась еще сильнее и отворилась, и из нее показался довольно-таки помятый Эджвуд.

С очевидным трудом он выбрался из машины, на четвереньках взобрался на насыпь, отряхнулся и, ни на кого не глядя и ничего не говоря, кое-как заковылял к станции.

Евдокимов вспомнил, что ему говорил Эджвуд, не выдержал и громко сказал:

— Да, надо понимать, с кем имеешь дело!

Эджвуд не оглянулся.

Когда он отошел сравнительно далеко, Евдокимов спустился и заглянул в машину.

Заднее сиденье отвалилось, и на потолке, превращенном волею случая в пол, валялись части рассыпавшейся от толчка коротковолновой радиостанции; Эджвуд наврал, что ее уничтожили; он явно рассчитывал, что его дипломатический иммунитет помешает произвести осмотр его машины.

Всего этого было достаточно для того, чтобы предъявить мистеру Эджвуду серьезный счет.

— Да,— сказал Евдокимов, задумчиво посматривая на машину.— Вот и все, что осталось от штаба повстанцев, так успешно боровшихся с коммунизмом под нашей Москвой. Но медлить нечего. Надо сейчас же разослать телеграммы по всем точкам. Пусть господин Жадов не надеется...

Persona non grata,

или развязка повести, завершающейся приятным подарком улетающему иностранцу и неприятным выговором по службе

Делается это очень просто: ответственного чиновника посольства, иногда даже самого посла, а чаще одного из советников посольства, приглашают в Министерство иностранных дел и вручают ноту о нежелательности пребывания в данной стране того или иного сотрудника посольства; на языке юристов это называется объявить это лицо персоной нон грата.

Государство не обязано указывать мотивы такого объявления, хотя обычно это делается; посольство и вообще все те, кому это надлежит знать, отлично знают, что́ именно сделало или делало нежелательное лицо и что́ в газетных сообщениях обычно называется деятельностью, несовместимой с официальным положением.

Так было и на этот раз. Правда, мистер Роберт Д. Эджвуд не принадлежал к рангу высокопоставленных дипломатов, но поскольку он все же пользовался дипломатической неприкосновенностью, посольству, чиновником которого он числился, было объявлено, что дальнейшее пребывание этого господина в нашей стране нежелательно.

Обижаться на это решение не приходилось. Обращаясь к той самой русской пословице, которой воспользовался Эджвуд в одном из своих разговоров с Евдокимовым, можно было сказать, что вор был пойман за руку, что опять же на языке дипломатов и юристов туманно называется вмешательством во внутренние дела страны своего пребывания.

Анализ деятельности мистера Эджвуда с несомненностью свидетельствовал о том, что по роду и характеру своих занятий у себя на родине он принадлежал не столько к дипломатическому ведомству, сколько...

Но не будем подчеркивать то, что очевидно без всяких подчеркиваний.

Вполне возможно, что мистер Эджвуд еще долго занимался бы своей несовместимой с его официальным положением деятельностью, если бы не его беспримерная наглость. Мистер Эджвуд самоуверенно вообразил, что именно он-то и является в Москве той карающей десницей, которая должна и может настигать грешников, неугодных и неприятных его хозяевам.

И еще неизвестно, кто был лучше или, вернее, хуже — Эджвуд или Жадов, непосредственный убийца или его вдохновитель!

Когда на оперативном совещании Евдокимов докладывал о всех перипетиях преследования Эджвуда и Жадова, кто-то съязвил:

— Дмитрию Степановичу просто повезло. Кто мог рассчитывать, что в нарушение всех правил конспирации Жадов кинется к своему патрону?

— Ну, нет, это было вполне закономерно,— наставительно возразил генерал.— Жадову некуда было деваться, он был затравлен. Возможно, что у него теплилась слабая надежда, что Эджвуд его как-то спасет, сумеет как-то воспользоваться своим дипломатическим иммунитетом. Но где-то в глубине им двигало, конечно, и некоторое злорадство: если я гибну, погибай и ты вместе со мной. В волчьем царстве капитализма это закон...

Жадов вынужден был самими обстоятельствами кинуться за спасением к Эджвуду, и тот вынужден был попытаться его спасти, это было выгоднее всего; хотели они или не хотели, они очутились в заколдованном круге.

Что могли сказать в посольстве в ответ на требование, чтобы мистер Эджвуд убрался подобру-поздорову?

Коротковолновая радиостанция, обнаруженная в его машине, красноречивее всяких слов повествовала о его деятельности.

Мистеру Эджвуду не оставалось ничего другого, как вернуться к себе на родину.

Он уезжал, вернее, улетал, из Москвы не то чтобы крадучись, но и без особого парада. Никто его не провожал, кроме одного его лакея, который оставался работать в Москве и вдруг оказался не лакеем, а шифровальщиком посольства; даже другие его лакеи, даже его коллеги по службе не пришли его проводить.

Стоял серенький, сырой день, один из таких дней, когда весна исподволь одолевает зиму; с неба сыпался крупный прозрачный снег, который у самой земли превращался в дождевые капли; погода была почти не летная.

К аэродрому мистер Эджвуд подъехал на этот раз в чужой машине.

Он вылез из автомобиля, стал прямо в черную лужицу, натекшую откуда-то на неровный асфальт,— на нем были грубые дорожные непромокаемые ботинки, воды под ногами он не боялся, — и подозвал носильщика.

Некоторое время мистер Эджвуд смотрел, как носильщик и шофер выгружают его чемоданы, потом пошел в здание аэровокзала и поднялся в ресторан.

Гардеробщик кинулся было к нему, предлагая снять пальто, но Эджвуд только отмахнулся, подошел к буфетной стойке и попросил налить рюмку водки.

Буфетчица взяла рюмку.

— Не эту,— мрачно сказал он, недовольно глядя на маленькую рюмку, и указал на большой фужер.— Вот эту.

Водку он пил медленно, с удовольствием, смакуя ее по глоткам.

— Чем будете закусывать? — приветливо спросила его буфетчица.

— Ничем,— ответил он уже более любезным тоном и даже пошутил: — Закусывать я буду у себя дома!

В буфете его и разыскал носильщик: бывший лакей идти за мистером Эджвудом не пожелал, счел это теперь, вероятно, ниже своего достоинства.

— Пора идти,— сказал носильщик.— Посадка производится.

— Хорошо,— вежливо ответил Эджвуд и послушно направился к выходу.

Он шел к самолету важный, погруженный в собственные мысли, когда к нему подошел еще один носильщик...

Евдокимов был осведомлен об отъезде господина Эджвуда, и, собственно говоря, господин Эджвуд тоже уже мало его интересовал.

Но утром, в день отъезда Эджвуда, им овладело какое-то буйное мальчишеское настроение...

Ему вдруг пришла в голову блестящая идея!

Евдокимов заторопился, вызвал машину; боясь опоздать, он не стал даже завтракать и велел быстро ехать в цветочный магазин.

Цветы стоили дорого, но предвкушаемое удовольствие было слишком велико.

Из цветочного магазина он помчался на аэродром и приехал как раз в тот момент, когда производилась посадка.

Пассажиры шли к самолету.

Евдокимов подозвал носильщика и издали указал ему на человека, с которым не раз сидел за одним столиком в кафе на улице Горького и который часто называл его своим приятелем.

— Видите вон того иностранца? — спросил Евдокимов носильщика.— Подите и отдайте ему это. Спросите его: «Вы мистер Эджвуд?» — и отдайте. Не ошибитесь: Эд-жжж-вуд!

Он сунул в руки носильщику свою покупку.

— Не ошибитесь,— еще раз напомнил он носильщику.— Мистер Эджвуд...

Носильщик подошел к иностранцу и слегка притронулся к рукаву его пальто. Тот приостановился.

— Да? — спросил он.

— Вы мистер Эд-жжж-вуд? — спросил носильщик и, не ожидая ответа, протянул ему такой обычный и, так сказать, материализованный привет, который он уже много-много раз вручал отъезжающим пассажирам.— Вам просили передать.

И он подал, а мистер Эджвуд взял букет, обернутый в папиросную бумагу. У мистера Эджвуда даже блеснуло что-то в глазах, ему почему-то вспомнилась Галина. Он сорвал с цветов бумагу.

— Это вам передавала одна девушка? — спросил он.

Алые распускающиеся розы дышали сырым серым воздухом, и промозглый, тяжелый воздух в присутствии цветов сразу стал как будто нежнее, весеннее и мягче.

— Никак нет,— сказал носильщик.— Мне это дал вон тот гражданин...

Носильщик обернулся, но там, где только что стоял подозвавший его гражданин, никого не было.

Иностранец покопался в кармане, протянул носильщику первую попавшуюся ему под руку бумажку, сунул букет под руку, точно это был не букет, а веник, решительно зашагал к самолету и через минуту скрылся от носильщика навсегда.

Евдокимов тоже быстро шагал прочь от аэродрома. Он был вполне удовлетворен, но он опаздывал на службу, и не успел войти к себе в кабинет, как ему передали, что его срочно вызывает генерал.

Он знал, для чего его вызывают. Надо найти Жадова. Генерал уже говорил с ним об этом. Анохин может успокоиться: в Москву Жадов не вернется. Его надо искать всюду и везде. Надо сообщить на все пограничные заставы. Если ему удастся добежать до границы, уж там его обязательно возьмут! Евдокимову тоже придется об этом побеспокоиться. Ему предстоит еще тяжелая, напряженная работа.

Что ж, он готов к ней...

Евдокимов вошел к генералу, но не успел даже раскрыть рот для приветствия.

— Это еще что за номера? — закричал на него генерал и застучал по столу пальцем.— Мальчишество! Бестактность! Вместо того, чтобы заниматься делом, вы выкидываете какие-то эскапады! Кто вам это позволил?

Чертов старик! Откуда ему все становится немедленно известно?

Генерал кричал, стучал по столу, бушевал, но Евдокимову почему-то казалось, что он не очень сердится.

Постепенно генерал начал остывать, смяк. Вытащил из кармана носовой платок и вытер на лбу бусинки пота.

— Вы меня уморите,— сказал генерал.— За всеми вами нужен глаз да глаз...

Генерал почесал затылок.

— Ну, чего вы молчите? — спросил он.

Он строго посмотрел на Евдокимова, но глаза у него не сердились.

— Говорите же, Дмитрий Степанович! Что вы можете сказать в свое оправдание?

Евдокимов вздохнул. Действительно, что он мог сказать в свое оправдание?

— Григорий Петрович,— умоляюще промолвил он.— Но ведь я купил эти цветы на свои собственные деньги!

Поговорим о книгах

В. СУХАРЕВИЧ

ЧТО БЫ ПОЧИТАТЬ?..

Что бы почитать?

С таким вопросом обратился ко мне в библиотеке сочинского санатория Федор Иванович К., молодой, но уже прославленный мастер одного из уральских заводов. Для него и для его сверстников это был очень важный вопрос.

— Судите сами,— говорил он мне,— я, как и многие рабочие ребята, поступил в школу ФЗО из деревни. Научился токарному делу и стал к станку. Здесь мне не захотелось быть последним, я работал и учился в вечернем техникуме. Едва успевал читать ту литературу, что по программе полагалась. А этого очень мало. Сам чувствую... На производстве я не последний человек, а надо речь сказать или, скажем, с девушкой разговориться, — слов не хватает. Любой начитанный меня забьет... Читать надо, а с чего начать? Литература вон какая громадная, а с какой стороны к ней подойти?..

В меру моих сил я пытался помочь Федору составить путеводитель для первого чтения. Он старательно записывал книги. Но оказывается, этот вопрос так волновал моего нового знакомого, что он задавал его не мне одному. На заводе, где работал мастер, побывал писатель П. Они долго беседовали, подружились. И, уезжая в Сочи, Федор Иванович и ему послал письмо с тем же вопросом: что читать? Ответ на письмо с согласия писателя мы и публикуем:

«Дорогой Федор Иванович!

Твое письмо и обрадовало меня и напугало. Обрадовало потому, что в нем светятся твоя сердечная простота и твой беспокойный характер; даже и на время отпуска у тебя есть боевая задача — пополнить литературное образование. А напуган я потому, что настоящий ответ на твой вопрос — дело чрезвычайно трудное.

Есть сотни всяких рекомендательных списков, хрестоматий, антологий и книг о книгах. Все они рассказывают, что нужно, что полезно и почему необходимо прочитать тот или другой роман. Но в них нет, к сожалению, ни слова о том, какое это большое и высокое наслаждение — чтение. Ведь от книги к книге человек обогащается идеями и, как по ступеням, поднимается выше и выше, пока перед его взором не открывается великий, сложный и многообразный мир. Писатель Жюль-Верн, болезнью прикованный к постели, побывал на Луне, под водой на дне моря, на островах Новой Зеландии, в Африке, в Америке... Легкокрылая фантазия переносила его во все углы вселенной, а книги объяснили все, что он хотел знать: есть ли воздух на Луне, какие рыбы живут на дне океана, что за травы растут в прериях Америки. Свои «путешествия» Жюль Верн описал в увлекательных научно-фантастических романах, и они останутся вечным памятником пытливому уму, крылатой фантазии и книге. Она вдохновляет ум, волнует сердце, зовет к подвигам и каждой своей страницей совершенствует человека, умножая его знания и облагораживая чувства.

Много чудес творила и творит книга. И если ты, дорогой Федор Иванович, хочешь не только изучить, но и полюбить литературу, иди в чтении по пути Горького. Тебе не повезло у тебя в деревне. Ты не слышал пленительных сказок, которые рассказывала Горькому бабушка, балахнинская кружевница Акулина Ивановна Каширина. А сказки — первые возбудители детской фантазии. Сказки учат нас о простых жизненных явлениях размышлять образами и вслед за жар-птицей переноситься из реальной жизни в райские сады чудес, которые вырастили фантазия и воображение. Эту способность жить в мире, рожденном фантазией, каждый впитывает в себя с молоком матери, но, чтобы полюбить литературу, эту способность надо развить в себе до высокого предела. Пушкин признавался: «Порой... над вымыслом слезами обольюсь» — и относил слезы над книгой к лучшим человеческим качествам. Как же развить в себе обостренное восприятие и подлинно благородную чувствительность?

Я снова сошлюсь на классический пример Горького. Он почти не учился в школе. В духовном развитии от этапа к этапу его вели книги. Сказки бабушки пробудили его фантазию. Из мира «отупляющей тоски» и «застывшего однообразия речей, понятий и событий», где он провел свое детство и юность, его всегда влекло в иные миры. Он подружился с книгами.

Вот юноше Горькому случайно попала в руки книга Бальзака «Евгения Гранде». Она произвела на него «впечатление чуда»... «Не было злодеев, не было добряков, были просто люди, чудесно живые». Следующая книга того же автора — «Отец Горио» — также вызвала смятение чувств и большую радость. «Долгое время я чувствовал себя Растиньяком, грозящим миру местью за попранное достоинство человека, за те боли, которыми люди наполнили его грудь. Мне в те дни плохо жилось, но я был здоров и поэтому стал романтиком».

Так каждого человека хорошая книга заставляет переживать горести и радости многих жизней. Герой, которого мы любим, живет в нашем сердце, и он окружен восхищением, сочувствием; нам всегда хочется помочь ему, вмешаться в его действия и поступки. Так с помощью книг мы расширяем свой жизненный опыт, обогащаемся идеями и мыслями. Книги облагораживают и делают более утонченными наши чувства, рождают восхищение человеческим благородством, волей и непреклонностью в борьбе, ненависть ко всему, враждебному жизни.

Книга вернет назад прошедшее время, поможет шагнуть через необозримые пространства, оживит давно умерших людей и заставит тебя сегодня жить бок о бок с благороднейшим человеком князем Андреем Болконским, завтра — с веселым чудаком Дон-Кихотом, а послезавтра присутствовать при пробуждении от сна медлительного и ленивого Ильи Ильича Обломова. Я имею в виду героев «Войны и мира» Л. Толстого, «Дон-Кихота» М. Сервантеса и романа И. Гончарова «Обломов».

Вот тебе краткий список книг, в которых запечатлены живые облики самых разнообразных, но всегда интересных людей, с которыми надо познакомиться раньше всего: «Детство», «В людях», «Мои университеты» М. Горького, «Мертвые души», «Старосветские помещики» Н. Гоголя, «Герой нашего времени» М. Лермонтова, «Капитанская дочка» А. Пушкина, «Анна Каренина», «Воскресение» Л. Толстого, «Отцы и дети», «Дворянское гнездо» И. Тургенева, рассказы А. Чехова, В. Гаршина, В. Короленко. Книги авторов иностранных: «Госпожа Бовари» Г. Флобера, «Шагреневая кожа» О. Бальзака, «Милый друг» Г. Мопассана, «Разгром» Э. Золя, «Пикквикский клуб» Ч. Диккенса, «Тиль Уленшпигель» Ш. Костера, «Страдания молодого Вертера» В. Гёте.

Составляя этот список, я руководствуюсь одним принципом: по-моему, начинать чтение надо с того, что наиболее увлекательно и интересно. Напрасно в школьных программах нет ни слова о приключенческой литературе. Ведь именно с нее дети начинают первые опыты самостоятельного чтения. Напрасно в школе русскую литературу начинают изучать с ее самых ранних, отмеченных архаизмом образцов. Это сразу же внушает антипатию к литературе, как к предмету скучному. Лучшая книга — та, которая сразу вызывает интерес читателя, затрагивает его мысли и чувства.

На первых порах Горький отдавал предпочтение литературе одного сорта. Приключенческие романы всегда идут вслед за сказкой. На смену чистой фантастике приходят люди фантастической силы, ума, воли, ловкости, обаяния. Сюжеты этих книг, писал Горький, «спутались, скипелись у меня в одну длиннейшую историю беспокойной, красивой жизни, насыщенной огненными страстями, полной безумных подвигов, пурпурового благородства, сказочных удач, дуэлей и смертей, благородных слов и подлых деяний...». Горький быстро разобрался, как примитивны иногда идеи и мораль этих романов, как наивно делят они мир на белое и черное.

В этих сказках нет исторической правды и часто нет правды жизненной. Но они овеяны презрением к низменным качествам человека и уважением к благородству. И не напрасно, говорил Горький, «герои Дюма внушали желание отдать себя какому-то важному, великому делу».

Не стыдись, Федор Иванович, и ты начинать свои первые шаги в литературе с приключенческих романов. Вот тебе краткий список разнообразных авторов, чьи книги и до сих пор увлекают любого читателя: А. Дюма «Три мушкетера»; Джек Лондон «Северная Одиссея», «Морской волк»; Фенимор Купер «Следопыт»; Марк Твен «Приключения Тома Сойера»; Майн-Рид «Всадник без головы»; Конан-Дойль «Шерлок Холмс»; Эжен Сю «Агасфер»; Вальтер Скотт «Квентин Дорвард».

С помощью этих писателей ты побываешь в снегах Клондайка, в пампасах Южной Америки, в сталактитовой пещере, на реке Миссисипи, на аудиенции у Людовика XIII, короля Франции, покровителя трех мушкетеров.

Эти книги не только веселый отдых; они развивают воображение, дают в живой форме познавательный материал, приучают к самому процессу чтения. А когда в читателе выработалось зоркое внимание ко всему, что происходит в повествовании, его заинтересуют и другого рода литературные произведения, глубоко реалистические, о которых я говорил вначале, где не пестрый калейдоскоп событий, а движения живой жизни, биение человеческого сердца увлекут и заставят пристально следить за печальной или радостной, тягостной или счастливой судьбой героя.

В моем втором списке большинство книг развлекательные. В первом — книги классиков. Они написаны с высоким совершенством и не могут не увлечь любого, даже самого неподготовленного читателя.

Прекрасные, увлекательные книги созданы и нашими советскими писателями. По-моему, первые среди них: «Как закалялась сталь» Н. Островского; «Тихий Дон», «Поднятая целина» М. Шолохова; «Разгром», «Молодая гвардия» А. Фадеева; «Чапаев» Д. Фурманова; «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого. Это книги о борьбе за новую жизнь и счастье человечества, за коммунизм. В живых образах предстанут перед тобой наша эпоха, ее люди-герои, подобные Чапаеву и молодогвардейцам, чьи имена на века сохранит история, и рядовому революции Павлу Корчагину, отдавшему жизнь, силу, молодость великой борьбе за торжество идей коммунизма — самого передового мировоззрения человечества. Эти книги помогут тебе осознать свои задачи в борьбе против всего враждебного духу времени, свои идейные устремления, свою жизненную философию. Эти книги переведены на многие языки мира.

Для начала этого достаточно. Книги вызывают в человеке неутолимую жажду познания, и я верю: когда-нибудь по «Илиаде» Гомера ты будешь изучать историю народа, погребенного в веках, по пьесам Шекспира постигать потрясающе многообразную жизнь гордого человеческого духа, по «Жану Кристофу» Роллана следить за тем, как размышляет и чувствует, любит и творит великий, гениальный музыкант. Эта книга приблизит тебя к самым истокам творчества в музыке, в самом сложном из искусств.

Не считай это письмо рецептом или путеводителем по литературе: это только дружеский совет, основанный на личных вкусах.

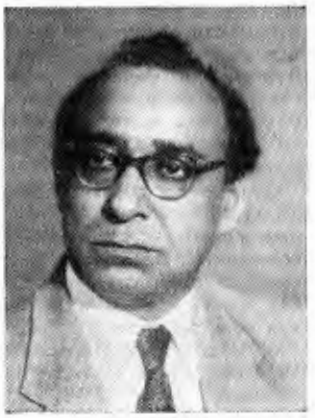
Уважающий тебя П.».

КАРТИНЫ МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ

Состоявшаяся весной этого года III выставка произведенй молодых художников Москвы и Московской области привлекла много посетителей. На этот раз молодежь порадовала зрителей разнообразием творческих приемов, свежестью и новизной трактовки тем.

С репродукциями некоторых работ, представленных на этой выставке, читатели «Юности» могут познакомиться на нашей вкладке.

Кришан ЧАНДР



ЕГО ЛИЦО

Зимой 1956 года Советский Союз посетил известный индийский писатель Кришан Чандр. Он побывал во многих городах и республиках Советского Союза. Возвратившись в Индию, Кришан Чандр написал рассказ об одной грузинской деревне, которую он посетил. Рассказ был напечатан в газете «Джан Юг», органе компартии Индии.

Мы возвращались после осмотра развалин древнего памятника Грузии в сорока километрах от Гори. Наша машина ехала по горной дороге, по обеим сторонам которой громоздились скалы. Дул прохладный ветерок. Вода в реке была необыкновенно голубой, казалось, что по земле течет само небо.

Впереди показалась деревня. Ее маленькие домики, прилепившиеся к скалам, напоминали пчелиные соты. На склонах, похожие на коршунов, стояли голые осенние деревья. Облетели желто-красные листья лимонных деревьев; безмолвно стояли чинары с тонкими, как штыки, ветвями. Кое-где по берегам реки виднелись густые заросли тростника, напоминавшие старых шепчущихся болтунов, тесно прижавшихся друг к другу. Переехав через реку, мы выбрались на узкую тропинку, которая привела нас к двухэтажному зданию деревенской школы. Навстречу нам выбежала шумная стайка детей.

Я давно мечтал побывать в небольшой деревне Советского Союза. Я видел очень много больших городов, фабрик и заводов. Но теперь мне захотелось увидеть именно небольшую деревню, в которой живут простые деревенские люди вдали от мирской суеты и шума. Мне захотелось увидеть такую деревню, вокруг которой были бы зеленые поля, ущелье и река, где утром люди просыпались бы от щебета птиц, а засыпали под мягкий рокот неумолкающей реки. И эту заветную мечту — увидеть именно такую советскую деревню — я вынашивал в своем сердце много лет.

И вот наконец такая деревня была передо мной. Я попросил шофера остановить машину и сказал одному из спутников, что хочу посмотреть эту деревню.

— Но здесь нечего смотреть,— ответил он, несколько смущенный моей просьбой.— Это самая обыкновенная деревня, в которой нет ничего примечательного.

Я улыбнулся и ответил:

— Поэтому-то я и хочу ее посмотреть.

Мой спутник все еще находился в замешательстве, когда мы направились в сторону деревни, моей деревни. Увидев посторонних, утки и куры на окраине деревни подняли такой гомон, как будто предупреждали хозяев: «Осторожно! Кто-то идет!»

Нас тут же окружили дети. Они осматривали нас, трогали машину и выражали свой восторг. Из белого домика вышел старик с желтым, как медь, лицом. Поглаживая бороду, он вопросительно посмотрел в нашу сторону. Мой спутник подозвал его к себе и заговорил с ним по-грузински. Старик оглядел меня с головы до ног и что-то пробормотал в ответ. По тому, как они продолжали свой разговор, я понял, что они что-то обсуждали. Как мне показалось, старик наконец согласился. Лицо его просветлело, стало веселым и приветливым.

Он взял мою руку и, дружески пожимая ее обеими руками, сказал:

— Извините, сын мой. Обычно путешественники не останавливаются в нашей деревне. Если кто и приезжает в наши края, то только для того, чтобы посмотреть на древние развалины, но в деревню нашу не заезжает и не останавливается в ней. Едет мимо, как будто ее и не существует. Но наша деревня...

— Ваша деревня очень красивая,— прервал я его.

Лицо старика озарилось радостью, и голосом, полным нетерпения и интереса, он спросил:

— Вам действительно нравится наша деревня?

— Очень,— ответил я.— Она напоминает мне мой дом в Кашмире.

— Пойдемте со мной, я познакомлю вас с моим старшим сыном. Он председатель нашего колхоза.

В доме, построенном из больших камней, помещалось правление колхоза. Нас пригласили войти. В комнате стоял длинный стол и несколько стульев. Все сели. За столом, заваленным бумагами, сидел мужчина в черном костюме. Взгляд его темных глаз выражал уверенность. Несмотря на черную бороду, он выглядел очень молодо. Он работал, погрузившись в бумаги. Это и был старший сын старика.

Отец с гордостью познакомил меня с ним. Лицо сына показалось мне знакомым, как будто мы уже где-то встречались. Но где? Я никак не мог вспомнить. Завязался разговор. Он произнес несколько приветственных слов. Я слушал его и думал, как он медленно и интересно говорит, подчеркивая каждое слово:

— Наш колхоз расположен в узком ущелье. Земли у нас очень мало, и не она является гордостью колхоза.

Старик рассердился и ударил кулаком по столу:

— Как ты можешь так говорить: не является гордостью колхоза?! Где ты еще найдешь такой виноград, как в нашем колхозе? Наш виноград считается лучшим, а ты говоришь: не является гордостью колхоза!

И старик снова ударил кулаком по столу, что вызвало общий смех. В глазах сына блеснул радостный огонек. Он улыбнулся и обратился ко мне с вопросом:

— Может быть, вы хотите о чем-нибудь спросить?

— Сколько человек в деревне?

— Шестьсот человек. Из них около четырехсот работает в колхозе.

— Сколько урожаев в год вы собираете?

— Только один,— ответил молодой председатель.— У нас в Советском Союзе в большинстве районов собирают только один урожай в год.

— А что вы выращиваете?

— Две трети всей земли заняты зерновыми культурами, остальная — под виноградниками, доход с которых растет из года в год.

— Сколько зарабатывает крестьянская семья в год?

— Это зависит от количества членов семьи и от того, как они работают.

— Например, средняя семья?— продолжал я.

Черные брови председателя сдвинулись в одну линию, и он начал рассказывать серьезно и уверенно:

— Заработок самой маленькой семьи в нашем колхозе составляет, по скромному подсчету, пять тысяч рублей в год. Но есть у нас и такие семьи, которые зарабатывают до двух с половиной тысяч рублей в месяц.

Пока мы беседовали, подошли еще колхозники. Они с интересом слушали нашу беседу. Среди них был высокий рыжеволосый юноша. Стряхивая пепел с папиросы, он добавил:

— У нас есть еще свои приусадебные участки, с которых мы тоже получаем доход. На них мы выращиваем овощи и виноград. Виноград дает нам основной доход. Например, я в прошлом году продал винограда на две тысячи рублей.

— А сколько грамотных в деревне?

— Все грамотные. В нашей маленькой колхозной библиотеке три тысячи книг. Не хотите ли ее посмотреть?

В библиотеке я нашел «Гитанджали» и «Гитималья» Тагора.

— Я очень люблю Тагора,—сказал молодой председатель, бережно перелистывая страницы книги.

Мне захотелось посмотреть, как живут в этой деревне, и я выбрал семь самых неказистых на первый взгляд домов. Это были маленькие каменные домики с черепичными крышами. В каждом — деревянная передняя с протянутой веревкой для сушки белья. У дверей дремали собаки. Увидев чужих, они поднимали лай. Но эти внешне непривлекательные жилища оказались очень уютными внутри. В каждом из них две комнаты и кухня. В комнате радио, железная или деревянная кровать с пружинным матрацем. На стенах картины, на окнах и дверях тонкие, красивые занавески. В трех домах я видел швейные машинки.

Что касается книг, то они были в каждом доме. В двух были книги по сельскому хозяйству, а в остальных пяти — рассказы, в основном русских и грузинских писателей. Из иностранных писателей я видел произведения Фучика и Драйзера. В каждой передней висел умывальник с водой, мылом и полотенцем.

— Вы должны пообедать у нас,— сказал седобородый старик.

Мои спутники бурно запротестовали:

— Нет! Нет! Это невозможно! Вы будете обедать в Гори. Там уже все приготовлено.

Старик продолжал настаивать на своем и упрямо качал головой, повторяя, что ничего не хочет слушать:

Кришан Чандр во Дворце пионеров и школьников Тбилиси.

Фото Г. Вахтангадзе.

— Об этом не может быть и речи. Впервые в наш колхоз приехал гость из Индии, и мы отпустим его голодным?! Это немыслимо!

Старик не поддавался уговорам, и моим спутникам поневоле пришлось уступить. Он пригласил нас к себе в дом.

Нас было одиннадцать человек. Из кухни доносился аппетитный запах приготовляемой пищи. Несколько столов сдвинули вместе, женщины накрыли на стол. На столе появилось жаркое, курица, домашнее печенье, масло, виноградные вина. Между гостями и хозяевами завязался непринужденный разговор. Мы чувствовали себя членами одной большой семьи. Сидевший рядом со мной председатель колхоза обратился ко мне с вопросом:

— Почему вы все время смотрите на меня?

В этот момент я забыл обо всем. Я забыл, где я, в какой стране, среди каких людей. Мне казалось, что я опять в своей родной деревне, в маленькой кашмирской деревне, где прошло мое детство. Я вспомнил ущелье, дикие гранаты и тутовник, растущие на его склонах; зеленый луг, обрамленный двумя горными потоками. Мы часто приходили с моим другом Бхаду на этот луг и, лежа на спине, следили за полетом ласточек в высоком небе. Где те дни, когда каждое утро было новым, а вечер неповторимо красивым? Куда ушли те детские дни и годы, полные прелести и очарования?

— Ваше лицо напоминает мне лицо Бхаду,— ответил я, тяжело вздохнув.

— Кто этот Бхаду?

— Бхаду — друг моего детства.

— А где он теперь?

— Где он теперь? С тех пор прошло много лет. Отец Бхаду был крестьянин. Он арендовал землю у какого-то заминдара[1]. На маленьком клочке земли под густой тенью деревьев стоял глиняный домик. Бхаду и я садились под эти деревья и ели их красные плоды. Если колючки иногда и вонзались в наши пальцы, то сладость плодов утоляла боль. Мальчишки, которые рвали эти плоды, знают, как они вкусны.

— Что же потом случилось с Бхаду? — спросил председатель.

— Однажды он не пришел в школу. Говорили, что его мать умерла от туберкулеза. Три месяца он не ходил в школу: он должен был помогать отцу. Но это не помешало нашей дружбе. Освободившись от школьных занятий, я заходил за ним, и мы вместе отправлялись на речку, побегать, поиграть и половить бабочек. Куда улетели эти красивые бабочки моих детских дней?.. Они разговаривали с нами...

— А что было потом?

— Прошла весна. Промелькнуло лето. Наступила осень и тоже прошла. Однажды зимой, когда начал падать снег, я побежал к Бхаду. Его не оказалось дома. Порывы холодного ветра то открывали, то закрывали створки двери. Я вошел в дом. Очаг погас. Там, где обычно стояла кровать, было пусто. Кругом ни души.

«Бхаду! Бхаду!» — позвал я.

Голос мой отозвался эхом где-то рядом с домом и унесся вдаль, подхваченный порывом налетевшего ветра.

Бхаду не отозвался. Куда он мог уйти? Кругом царила тишина.

— Что же случилось с Бхаду?

— Не знаю. Потом я узнал, что наш заминдар согнал отца Бхаду с земли. Отец и Бхаду ушли из деревни в поисках работы. И я понял, почему дом Бхаду был открыт, почему очаг был холодным, почему на снегу были следы маленьких и больших ног. Лицо Бхаду очень напоминает ваше. Такой же лоб, такие же волосы и глаза. И смеялся он так же, как вы. На мгновение мне даже показалось, что мой Бхаду приехал в Советский Союз...

Глаза председателя были полны грусти. В этот момент его отец заговорил тихим голосом:

— Мое детство было очень похоже на детство Бхаду. А теперь... Теперь никто не может помешать Бхаду ходить в школу. Теперь в нашей стране никто не может согнать крестьянина с его земли. Все, что вы видите вокруг, все наше. Все это посеяно нашими руками и выращено нашим трудом.

Он поднял свой стакан и, чокаясь со мной, сказал:

— Я пью за новую жизнь Индии, за успешный труд всех Бхаду, которые остались в живых, за то, чтобы они собирали богатый урожай и в их очагах никогда не угасал огонь.

Мы еще долго сидели за столом и пили за дружбу Индии и Советского Союза.

День уже клонился к вечеру, когда хозяин дома, высокий седобородый старик, встал и провозгласил тост:

— Последний тост я провозглашаю за мир во всем мире. Почему мы так хотим мира? — продолжал старик.— Об этом я и хочу сейчас сказать. До революции у меня не было ни хозяйства, ни земли. Жизнь была безрадостна. Все, что вы увидели у нас,— все это завоевания революции. Мои дети не знают, что такое голод. Мои внуки учатся в школе. И я хочу мира во имя их счастья. Может быть, где-нибудь и есть человек счастливее меня, я не знаю. Счастье нельзя измерить. Его нельзя взять в руки, нельзя определить, какого оно цвета. Я не могу вам объяснить, что такое счастье. Я старик, старый солдат революции, и я счастлив. Я доволен всем, что у меня есть, и поэтому я хочу мира. Мы живем в маленькой деревне, у нас немного земли, но все это наше, и мы счастливы. Мы сами построили этот мир, и сами вкушаем его плоды. Мы не хотим мешать чужому счастью. Но если кто посмеет протянуть к нам свою лапу...

Старик умолк, но его полные гнева глаза говорили без слов. Мне показалось, что в этот момент он видит весь мир. Но гнев этот скоро прошел, и лицо его снова стало спокойным. Старик тихо продолжал:

— Два моих сына погибли под Сталинградом, но те, кому было суждено остаться в живых, будут бороться во имя мира и счастья. Так выпьем же, друзья!..

* * *

Я стоял у окна московской гостиницы и думал: «В чем же источник силы Советского Союза?» Мне вспоминались многие знакомые лица и голоса. Но одно лицо выделялось из всех остальных. Это было лицо старого солдата революции, живущего в маленькой неизвестной деревне...

Перевод с хинди М. Грызуновой.

---

[1] Помещика.

Михаил КОТОВ,
ответственный секретарь
Советского комитета
защиты мира

ЗА МИР НА ЗЕМЛЕ!

Факелы в ночи

Это было несколько лет назад в столице Австрии — Вене. Со всех концов света сюда, на великий конгресс народов в защиту мира, съехались сотни людей. Здесь были знаменитые ученые и простые рабочие, убеленные сединами старцы и безусые юнцы. Здесь были люди разных национальностей, разных цветов кожи. Всех их привело сюда одно стремление: преградить путь новой войне.

Накануне открытия конгресса к огромному зданию «Концертхауза», где предстояло работать делегатам, стеклась огромная толпа. Она сердечно приветствовала посланцев мира. Дети то и дело протягивали свои блокноты, чтобы заполучить побольше автографов.

Но вдруг толпа расступилась. К подъезду двигалась группа юношей и девушек. Они несли в руках горящие факелы и голубые знамена мира.

— Откуда эти факелы и знамена? — спросил я у стоявшего рядом делегата Италии.

— А разве вы не знаете? — удивленно ответил он.— Эти факелы прошли длинный путь.— И он рассказал интересную историю.

Задолго до открытия конгресса юноши и девушки различных стран решили направить его участникам свой наказ — самые сокровенные чаяния молодого поколения: «Нам не нужна война; нам нужен мир; нам нужны учеба, работа, любовь, веселые песни, стадионы, спокойная и радостная жизнь».

Начало всемирной эстафеты молодежи было положено в итальянском городе Ливорно. День и ночь шла эстафета по Италии, и повсюду к пути ее следования стекались юноши и девушки, чтобы передать конгрессу свои письма и пожелания.

В городе Удине заканчивался последний этап эстафеты по территории Италии. Теперь предстояло передать ее через границу Австрии.

Была темная холодная ночь, когда к границе подошла делегация молодежи, направлявшаяся в Вену. Пограничники преградили ей дорогу. Незадолго до того они получили приказ из Рима: «Ни один человек не должен пройти. Эстафету надо задержать». А на противоположной стороне уже собралась молодежь Австрии. Она должна принять эстафету и нести ее дальше. Неужели факелы погаснут и не дойдут до Вены, до участников великого конгресса мира?

— Нет, факелы будут в Вене. Мы клянемся, что будет так! — сказали молодые итальянцы.

Юноши стали пробираться в горы. К ночи погода ухудшилась. Вихри снега обрушились на горные вершины. Молодые австрийцы, ожидавшие момента передачи эстафеты, заметили, что горящие факелы неудержимо поднимаются к почти недосягаемым утесам. Заметили это и на пограничной заставе. Полицейский офицер с удивлением следил за упорством молодых людей. «Они сломают себе шею, эти умники», — думал он.

Но факелы поднимаются все выше и выше. Приходится взбираться по отвесным тропам. Вместе с факелами молодые итальянцы несут знамена, которые были вручены сторонникам мира в разных городах и селениях. Полицейский офицер, наблюдая за восхождением смельчаков, теперь начинает беспокоиться. Он посылает нескольких пограничников к горе, на которую поднимается эстафета. Ведь надо выполнить приказ властей: «Во что бы то ни стало преградить ей дорогу». А огонь уже пылает на самой границе. Австрийские юноши быстро принимают из рук своих итальянских друзей факелы, знамена и устремляются к Вене, на конгресс. Нет, никакие преграды не могли помешать молодым людям, объединившим свои усилия ради великой цели!

И вот факелы на улицах Вены. Гордые и радостные юноши и девушки входят с ними в зал, где собрались посланцы всех народов. Отовсюду на разных языках несутся слова приветствий:

— Да здравствует юность мира!

— Да здравствуют молодые борцы за мир — самый решительный и самый многочисленный отряд противников войны!

Кто, как не молодежь, первая принимает на свои плечи все тяготы войны? Война — это пушки вместо школ и университетов, военные базы вместо цветущих садов. Война — это смерть, это погибшие надежды.

Экономисты подсчитали, что на средства, израсходованные для ведения второй мировой войны, можно было бы построить для каждой семьи Австралии, Бельгии, Германии, Ирландии, Англии, Франции, Соединенных Штатов, Алжира и Советского Союза дом стоимостью в 12 000 фунтов стерлингов, приобрести для него обстановку в 4 000 фунтов и положить на текущий счет каждой семьи по 20 000 фунтов стерлингов.

Вот почему люди во всех уголках земного шара хотят спокойно жить и спокойно трудиться. Народы хотят, чтобы между ними установилась дружба и никто не смог заставить американского фермера ненавидеть советского колхозника, чтобы простые труженики полей любой страны могли показать друг другу выращенные ими колосья.

Пути различны, цель одна

На нашей планете очень много друзей мира. Их сотни миллионов. Но с каждым днем их становится все больше. Различными путями приходят они в лагерь борцов за мир. Различны их верования и убеждения, но всех их объединяет одно большое чувство: война не должна повториться!

Летом 1955 года мне довелось быть в Хельсинки на Всемирной ассамблее мира. Здесь, как и в Вене, собрались тогда сторонники мира со всего света. В те дни я беседовал со многими делегатами. Тогда-то мне и довелось познакомиться с представительницей Греции. Она скупо рассказывала о себе.

Незадолго до того в тюрьме погиб ее муж. Уходя из жизни, он писал в последней записке: «Я умираю за мир! Основы заложены, работайте над завершением этого дела». Теперь начатое им дело продолжает жена.

— Всюду и везде я призываю людей доброй воли бороться за мир. Я посвятила себя этому святому делу, и меня, как и моего мужа, ничто не устрашило и не устрашит,— тихим голосом говорила она.

Один из присутствовавших на ассамблее греческих делегатов объяснил, зачем эта молодая женщина приехала в Хельсинки.

— Она прибыла сюда не для того, чтобы своим присутствием лишний раз подчеркнуть, с какими жертвами связана иногда борьба за мир. Нет! Она приехала потому, что потеря любимого мужа еще больше сблизила ее с этой борьбой.

Здесь же, на ассамблее, я встретил Джесси Хилл — молодую актрису из Соединенных Штатов Америки. В одном из театров Нью-Йорка Джесси играет роль Ирины в пьесе А. П. Чехова «Три сестры».

— Конечно,— говорила она,— если бы я сказала, что еду в Хельсинки на ассамблею мира, меня не выпустили бы из страны, как не выпустили Говарда Фаста и Поля Робсона. А как было бы хорошо, если бы простые люди Америки могли увидеть и услышать то, что я вижу и слышу здесь! Я не коммунистка, я совсем не коммунистка, но я теперь прекрасно понимаю, что здесь решаются проблемы, которые волнуют всех честных людей мира.

Когда окончилась вторая мировая война, люди надеялись, что они смогут свой труд, богатства своих стран обратить на улучшение жизни, на процветание науки, культуры. Но эти надежды не оправдались. В самом деле, вдумаемся только в такие цифры: за послевоенные годы Соединенные Штаты Америки выделили на военные нужды более 300 миллиардов долларов. Эта сумма равна национальному доходу страны за весь 1956 год.

Бешеная гонка вооружений в странах Запада приводит к сокращению ассигнований на нужды просвещения, на улучшение здравоохранения. В результате гонки вооружений миллионы юношей и девушек не могут получить даже начального образования. Студенты покидают учебные заведения из-за того, что не могут внести плату за учение. В Италии и Франции, например, многие тысячи юношей лишены возможности посещать школы. В одной только Италии тысячи учителей не имеют работы. В странах Латинской Америки, в Турции, в колониальных и зависимых странах значительная часть молодежи не знает грамоты.

Вот почему юноши и девушки на Западе все больше и лучше начинают понимать, что одна из главных причин их тяжелого положения — военные приготовления, гонка вооружений. Поэтому молодое поколение так ненавидит войну. Поэтому все сильней и громче звучит голос молодости всей земли в защиту мира.

Сегодня молодежь всех стран твердо выступает в поддержку всенародного движения за разоружение, за запрещение атомного и водородного оружия и прекращение его испытаний. Молодежь требует, чтобы атомная энергия служила мирным целям и прогрессу человечества. Она выступает за широкие культурные связи между всеми народами.

Не допустить...

В США, в Западной Германии, Турции и других странах борцы за мир преследуются. Их бросают в тюрьмы. Поджигатели войны стремятся противопоставить демократическим организациям молодежи всякого рода милитаристские организации, пытаясь тем самым приглушить голос молодых борцов за мир, отравить сознание молодежи.

Известно, например, что в Западной Германии усиленно возрождается вермахт — агрессивная армия. Уже введен закон об обязательной воинской повинности. В октябре прошлого года начался набор в армию. Однако множество молодых людей отказалось явиться на призывные пункты. Набор в новую армию должен был закончиться в течение четырех недель. Но уже в конце ноября министр внутренних дел ФРГ Шредер признал, что половина подлежащих призыву юношей не явилась для регистрации.

Для устрашения молодежи были пущены в ход все средства: штраф, выдача ордеров на арест, запугивание, клевета. Ничто не помогло. Когда многих молодых немцев спрашивали, почему они не хотят идти служить в вермахт, ответ был один: «Новая немецкая армия служит целям подготовки новой войны, а молодые немцы хотят мира!»

Сколько мужества и самоотверженности проявг

ляют молодые люди в борьбе за мир во всех уголках нашей планеты!

Недавно в Советский Союз приезжала группа зарубежных студентов. Среди них был студент медицинского колледжа Фукусима в Японии Томио Конио. Он долго рассказывал о тех неисчислимых страданиях, которые принесла война японской молодежи. Она первой испытала в Хиросиме и Нагасаки последствия взрыва атомной бомбы. Людям этой страны пришлось сильно пострадать и от испытаний американской водородной бомбы в атолле Бикини.

И когда Томио Конио спросили, каково же его отношение к вопросу о запрещении атомного оружия, он с волнением заговорил о той поистине всенародной борьбе, которую ведут сегодня весь народ Японии, миллионы японских молодых людей против подготовки атомной войны. «Не допустить новых Хиросим!» — это сегодня самый популярный лозунг в Японии.

В Японии ни на один день не ослабевает массовое движение за прекращение испытаний водородного оружия. Больше 35 миллионов людей поставили свои подписи под требованием добиться этого запрещения. В стране создан Национальный совет по борьбе против атомной и водородной бомбы. Миллионы японских юношей и девушек горячо поддерживают действия этого совета.

Благородной цели — сохранению мира — отдают свои силы и энергию миллионы молодых людей на всех материках и континентах. В этой борьбе юноши и девушки всех стран используют самые разнообразные формы: фестивали, эстафеты, международные лагери мира, встречи на границах, обмен делегациями.

Символ дружбы

В Москве, на Ленинских горах, у стен здания нового университета, растет небольшое деревцо. Это ливанский кедр. С каждым годом он все больше и больше набирается сил, разрастаясь под московским небом. История этого деревца весьма интересна.

Два года назад проходила Пятая всесоюзная конференция сторонников мира. На нее Советский комитет пригласил делегацию сторонников мира из Сирии и Ливана.

Сирийские и ливанские сторонники мира привезли маленькое деревцо как самый драгоценный подарок советским людям.

— Это деревцо должно расти как символ мира и нашей дружбы, как символ нашей любви к советским людям — самым верным защитникам мира.

Делегаты конференции решили организовать торжественную посадку кедра. На Ленинских горах в весенний день собрались сторонники мира. Было здесь много студентов из разных стран, которые учатся в Московском университете. А когда деревцо было посажено, непроизвольно начался митинг.

— Пусть оно растет на советской земле как напоминание о том, что жизнь нельзя победить, что мир и дружба людей будут вечны,— сказал гость из далекого Ливана.

Прошли годы. Кедр разросся, поднялся ввысь. Он неплохо себя чувствует на московской земле. Сюда часто приходят экскурсии, студенты.

Дружной гурьбой идут они потом по широкому проспекту к Москве-реке. Отсюда, с высоты Ленинских гор, открывается поистине величественный вид на город, к которому обращены сейчас взоры всего человечества.

Скоро сюда, в Москву, из разных уголков нашей планеты приедут гости на свой праздник юности — VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Велико значение этого события. Две недели на улицах и площадях Москвы, в парках, на Ленинских горах на всех языках и наречиях будут звучать песни юности. Тысячи юношей и девушек из большинства стран мира соберутся вместе, чтобы поближе узнать друг друга, установить искреннюю дружбу и сотрудничество. Здесь, на фестивале, молодое поколение вновь и вновь скажет о своей решимости бороться за мир, за свое счастливое будущее.

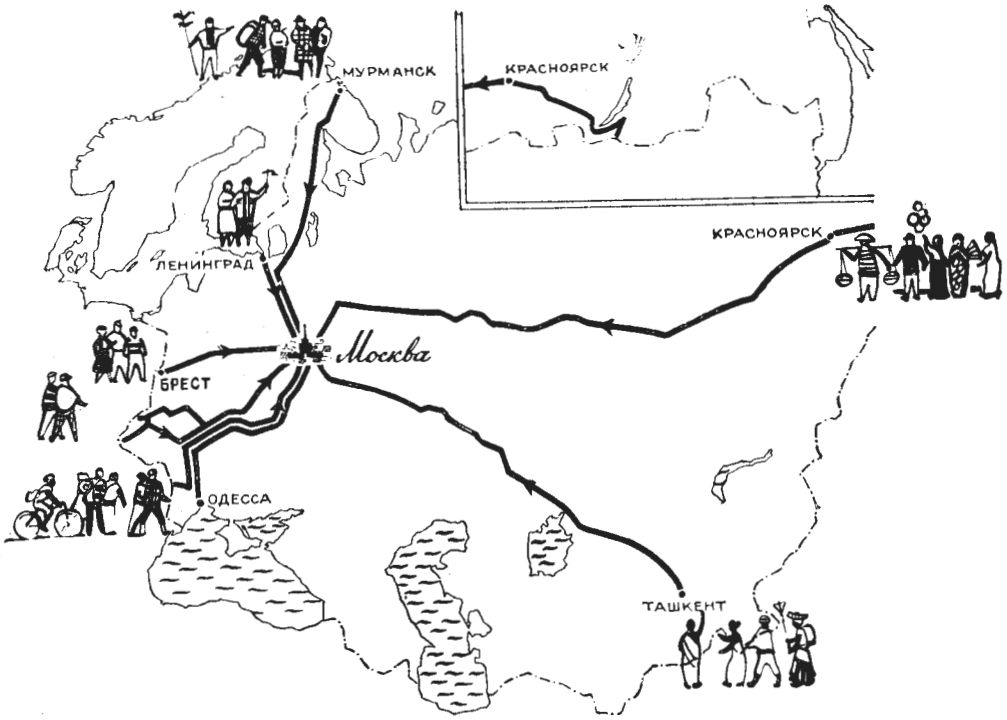
Участник предстоящего праздника молодежи мира Гельмут Редль пишет своим советским друзьям: «Немецкие юноши и девушки смогут устранить те ложные представления о Советском Союзе, которые еще живут в сознании некоторой части нашей молодежи. Очень важен для нас и тот факт, что в Москве молодые немцы встретятся с представителями молодежи всех стран. В дружеской беседе с нашими зарубежными сверстниками мы сможем убедиться в том, что все одинаково хотят жить в мире и быть спокойными за свой завтрашний день». Другой немецкий юноша, двадцатидвухлетний слесарь Рудольф Кнехт, так сказал о своей поездке в Москву: «Я никогда не приду ни в вашу, ни в какую-либо страну солдатом. Я рабочий, и война мне ничего не даст. Я приветствую идею фестиваля, потому что молодежь должна понять друг друга».

Вот этого как раз и боятся недруги мира. Они хотят помешать фестивалю, не допустить на него молодежь из многих стран. Но как бы ни ухищрялись враги, какие бы препоны они ни ставили, юноши и девушки прибудут на свой фестиваль.

«Все для мира!» — таков сегодня девиз молодежи. С думой о мире молодежь капиталистических стран ведет борьбу за свои права, за лучшую жизнь, против гонки вооружений. С думой о мире советские юноши и девушки трудятся на заводах и фабриках, в научных лабораториях. С думой о мире учатся миллионы юношей и девушек в школах, техникумах и вузах Советского Союза и стран народной демократии. Они смело глядят в завтрашний день. Они знают, что мир не приходит сам собой. Он завоевывается в жестокой битве.

Евг. ЖУКОВСКАЯ

ДРУЗЬЯ ФЕСТИВАЛЯ



1. 85 ПОЕЗДОВ С ГОСТЯМИ

Взгляните на эту карту. Черные линии пересекают ее в разных направлениях.

Эти линии — железнодорожные маршруты. Они берут свое начало от границ Советского Союза — от Выборга и Чопа, от Бреста и Отпора, от берегов Балтики и Черного моря, от Восточной Сибири и Узбекистана — и все ведут к городу фестиваля, к Москве.

Этими путями пойдут поезда с нашими молодыми зарубежными друзьями. 85 поездов привезут их на VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Составы еще пока стоят на запасных путях. Но близок день, когда будут наконец сняты пломбы с новеньких цельнометаллических вагонов и поезда — в цветах, в зелени, в ярких транспарантах, — весело гудя, подкатят к перронам вокзалов.

Молодые железнодорожники первыми встретят зарубежных гостей на советской земле. В Одессе они гостеприимно пригласят в вагоны юношей и девушек Албании, Франции, Италии, Египта, Ирака, Ливана, прибывших в СССР морем. На станции Отпор в поезда войдет молодежь Китая, Кореи, Японии, Вьетнама.

В Ташкенте с самолетов в поезда пересядут делегаты Индии, Пакистана и Афганистана. Особенно многолюдно будет на вокзале в Бресте. Здесь встретятся молодые поляки, немцы, англичане, американцы, испанцы, голландцы, бельгийцы...

Но время встреч еще впереди. А пока надо заслужить право повести поезд с гостями в Москву. Ведь это право оспаривают все молодые машинисты Советского Союза. На некоторых магистралях победители такого своеобразного состязания уже определились. И они нарисовали на своих паровозах эмблему фестиваля. Такой «фестивальный паровоз» из депо станции Елгава уже курсирует по линии.

Готовятся к встрече со своими будущими пассажирами и сотни проводников вагонов. Они засели за учебники и изучают иностранные языки. Каждый проводник уже знает, какие делегации разместятся в его вагоне и на каком языке он будет с ними разговаривать.

2. ВЕСЕЛЫЙ ПОЕЗД

Высокая белокурая женщина в русском национальном костюме держит поднос, покрытый расшитым полотенцем, а на подносе большой каравай хлеба и солонка. Внизу надпись: «Добро пожаловать на фестиваль!» Этот плакат, изображающий старинный русский обычай встречать гостей хлебом-солью, нарисовал маляр паровозного депо Московско-Курско-Донбасской железной дороги Анатолий Соколов. Он учится живописи в изостудии

Центрального Дома культуры железнодорожников. Студийцы нарисовали к фестивалю плакаты и провели конкурс на лучший фестивальный значок. Такой значок получит каждый участник празднеств, который посетит ЦДКЖ в дни фестиваля.

Среди молодых железнодорожников много художников, певцов, танцоров, музыкантов, поэтов. Свои новые работы они посвящают фестивалю.

Если вам доведется оказаться в поезде, который следует по маршруту Москва — Махачкала, вы сможете услышать по радио новую песню, «Железнодорожная фестивальная». Напрасно искать пластинку с записью этой песни. Ее не существует. Песню исполняют по радио сами авторы — проводники этого поезда. В установленный час возле кабины радиоузла собираются все, кто свободен в это время от дежурства. И в вагонах звучат слова песни:

По всем магистралям к родимой столице
Гостей нам везут поезда.
Для дружбы открыты все наши границы,
И дружбе верны мы всегда...

Это поистине «веселый поезд». В нем есть свой хор из двадцати четырех человек, свои баянисты, свои поэты и композиторы, которые уже сложили несколько песен. Текст и мелодию они сочиняют вместе — и солистка Люба Хромченкова, и баянисты Сережа Петин и Николай Богоявленский, и Федор Кривов, и Надя Щадилова, и Мария Шуянова, и другие члены поездной бригады.

Они исполняют свои песни не только в поезде, но и в клубах на различных станциях, а когда приезжают в Москву, поют в хоре русской народной песни железнодорожников.

Не думайте, что песни отвлекают их от исполнения прямых обязанностей. Бригада «веселого поезда» считается на своей магистрали одной из лучших, и портрет начальника этого поезда и создателя хора Э. И. Яблонского можно часто увидеть на доске почета.

Новые песни звучат сейчас на многих станциях. Железнодорожники Навтлуги, Закавказской дороги, например, разучивают произведения местных композиторов: «Фестивальная» и «Железнодорожная молодежь». А в Латвии даже объявлен конкурс на лучшую песню к празднику молодежи.

Два неразлучных друга, москвичи Геннадий Крутиков и Николай Зотов, разучивают новые танцы. Обоим вместе еще нет пятидесяти лет. Дружат Геннадий и Николай со школы. Они вместе учились в вузе, вместе выступали в самодеятельном танцевальном ансамбле Института инженеров железнодорожного транспорта, а теперь вместе работают на вагонном участке Управления спальными вагонами: Николай — начальником электроцеха, а Геннадий — начальником цеха текущего ремонта. И опять же вместе два друга поступили в железнодорожный ансамбль народного танца. Они исполняют венгерский, польский, румынский, болгарский и словацкий народные танцы. В дни фестиваля они выступят с новой программой: «Спортивная молодежная». Этот танец исполняет весь ансамбль. Он построен на движениях различных спортивных игр и как бы воспроизводит состязание между мужской и женской командами.

Готовятся к фестивалю и поэты-железнодорожники. Литературное объединение «Магистраль» подготовило к печати сборник «Навстречу фестивалю». В него вошли лучшие стихи и песни молодых железнодорожников.

3. КЛУБ ДРУЗЕЙ ФЕСТИВАЛЯ

Клуб друзей фестиваля совсем молод, ему от роду всего несколько месяцев. Инициаторы его создания — железнодорожники Московской Окружной дороги Таня Шишкова, Георгий Родионов, Николай Зайцев, Аня Давыдова и другие — придумали и осуществили много интересных дел. Открыт кинолекторий; в нем систематически демонстрируются документальные фильмы, знакомящие с различными странами мира. На своих «фестивальных понедельниках» молодежь встречается с участниками предыдущих фестивалей, перед ней выступают советские люди, посетившие зарубежные страны, и члены иностранных делегаций. Здесь же можно получить консультацию, как разводить голубей, как сшить карнавальный костюм.

Друзья фестиваля есть не только на Московской Окружной железной дороге. Их много на всех магистралях нашей страны.

В латвийском городе Даугавпилсе друзья фестиваля провели большое карнавальное шествие. Три тысячи молодых железнодорожников с песнями прошли по улицам города и остановились на ярко иллюминированной площади перед вокзалом. Здесь начался митинг. Выступившие рассказали молодежи о том, что будет представлять собой фестиваль. Тут же, на площади, состоялся концерт самодеятельности железнодорожников, а после него начались игры и танцы. И площадь опустела лишь далеко за полночь.

Так же долго не стихало веселье на молодежном балу в Центральном Доме культуры железнодорожников в Москве. Этот бал начался с того, что посетителей у входа встретили «перронные контролеры». Компостерами они отметили на билетах время прихода на бал. Затем гостей окружили предупредительные и вежливые «носильщики». Они помогали раздеть пальто, снять боты, держали сумочки, пока гостьи охорашивались перед зеркалом.

Ровно в двадцать ноль-ноль по московскому времени оглушительно заревел паровозный гудок — сигнал отправления гостей по залам Дома культуры.

В каждом зале посетителей ждало что-нибудь интересное. В одном — образцы костюмов к фестивалю, сделанные из простых, дешевых тканей. В другом голубеводы демонстрировали выведенных ими голубей различной породы. В третьем представители кондитерской фабрики имени Бабаева показывали новые сорта конфет, которые фабрика выпустит к фестивалю. В четвертом можно было увидеть разнообразные сувениры, которые пионеры сделали в подарок зарубежным друзьям.

Во всех залах гостей учили новым песням и играм. А потом их пригласили в большой зал послушать впечатления советских путешественников о зарубежных встречах и рассказы студентов стран народной демократии, которые учатся в Москве. После этого был концерт и танцы.

Так было на молодежном балу. Но и в обычные вечера в железнодорожных клубах столицы много поют и танцуют. Здесь идут занятия курсов массовиков и затейников. На эти курсы отобраны десятки самых веселых, энергичных и подвижных комсомольцев. В дни фестиваля на улицах и площадях Москвы они, не робея, затянут песни, заведут интересную игру, втянут в танцы тех, кто сам не решается начать танцевать. Друзья фестиваля расшевелят и растормошат всех и никому не дадут скучать на празднике.

Н. ВЬЮКОВА

ПОД СЕНЬЮ РОМАШКИ

Рисунки Г. Калиновского.

В каждом цехе Московского автомобильного завода имени Лихачева на видном месте висит плакат — яркая пятилепестковая ромашка, эмблема VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, а в середине ее — лицо юноши. Он смотрит требовательно и серьезно. Он спрашивает: «Что ты сделал для фестиваля?»

В последнее время на заводе, в заводском Дворце культуры, на заводском стадионе нет уголка, где бы не думали о предстоящей встрече в Москве, где бы не готовились к ней. Да и сам этот плакат тоже был отпечатан по эскизам наладчика рамного цеха завода Е. Сапожникова.

Как же собираются встретить фестиваль молодые рабочие ЗИЛа?

РЕЧЬ ИДЕТ О «ФЕСТИВАЛЬНОМ»

Началось это в автобусном цехе. В феврале нынешнего года на комсомольском собрании зашел разговор о предстоящем фестивале.

— А как поживают наши новые автобусы? — спросил кто-то, горько усмехнувшись.— Что-то о них ни слуху, ни духу.

— Да, в самом деле, как они?

Но никто не мог ответить на этот вопрос, и всем стало ясно, что дела с машиной плохи.

— Ребята, давайте организуем рейдовые бригады и возьмем под контроль выпуск автобусов!

Теперь трудно сказать, кто предложил это большое дело. Важно лишь то, что уже на следующий день в редакции заводской многотиражки появились нежданные гости из автобусного цеха.

— Речь идет о «фестивальном» автобусе марки «ЗИЛ»,— сказали они.— Давайте вместе добиваться «зеленой улицы» для его деталей. Ведь это — дело чести завода!

И вот по цехам пошли отряды комсомольцев. Они выявляли недостатки, требовали их устранения, следили за графиком выпуска деталей. В цехах появились желтые, голубые, зеленые плакаты, на которых под фестивальной ромашкой четко выделялся призыв: «Автобус «ЗИЛ-158» — подарок фестивалю! Рабочие, инженеры, техники, служащие! Деталям автобуса — «зеленую улицу»!»

— Сто новых туристских автобусов будут сданы в срок,— сказали молодые рабочие.— Это наш подарок к фестивалю.

ИМЕНИ ФЕСТИВАЛЯ

На повестке дня очередного комсомольского собрания заготовительного цеха прессового корпуса стоял один вопрос: обсуждение обращения Центрального Комитета ВЛКСМ к молодым рационализаторам и изобретателям. ЦК комсомола призвал рабочих усилить борьбу за технический прогресс, приложить все силы к тому, чтобы наилучшим образом выполнить задачи, поставленные перед народом XX съездом партии.

Говорят, в спорах рождается истина. Наверное, это так, потому что на этом собрании разговоров и предложений было — не счесть! И наконец все пришли к единому мнению: организовать комсомольско-молодежную смену и начать социалистическое соревнование в честь фестиваля молодежи.

— Назовем смену фестивальной! — предложил комсорг цеха М. Блох.

— Правильно! Дело говоришь,— поддержали комсомольцы.— Будем выполнять дневную норму за семь часов, экономить металл, повысим производительность и культуру труда. Мы должны сэкономить не меньше 30 тысяч рублей за квартал. Это будет наш подарок.

Крепко взялись ребята за дело. Ежедневно они выполняют задание на 109 и более процентов. Только за февраль смена внесла 5 рационализаторских предложений, которые дадут около 15 тысяч рублей экономии.

Сейчас тысячи юношей и девушек ЗИЛа соревнуются в честь VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

ГОЛУБИНАЯ ПРОБЛЕМА

В бюро ВЛКСМ первого инструментального цеха пришли комсомольцы.

— Саша, как ты думаешь, не начать ли нам разводить голубей?

— Голубей? В цеху?

— Да, к фестивалю.

— Вообще-то можно,— неуверенно начал секретарь,— только где мы возьмем денег на птиц?

— Денег? Устроим воскресник, соберем металлолом, сдадим его и купим голубей.

— А знаете, друзья, это идея!

И вот идея начала воплощаться в жизнь.

На воскресники комсомольцы приходили небольшими группами, в зависимости от того, кто в какой смене работал. Они обшарили все близлежащие

дворы, облазили все закоулки заводской территории, принесли уйму старых, ненужных дома вещей. И вскоре на столе в комсомольском бюро лежали аккуратно сложенные, много раз пересчитанные 1 200 рублей. Наступил самый торжественный момент. Молодежь пригласила Василия Сергеевича Белова, диспетчера цеха, главного знатока-голубевода, и все вместе отправились покупать птиц.

Тем временем оставшиеся на заводе начали мастерить голубятню. И вдруг, когда все было почти готово, неприступной стеной встали пожарники.

— Нельзя, и все! — заявили они.

— Но почему?

— По противопожарным условиям.

— Так ведь мы поселим голубей на улице, рядом с нашей летней эстрадой!

— На улице, говорите?..— Пожарники призадумались.— Ну, ладно, устраивайте.

У молодежи цеха появились новые волнения: оказалось, что разводить голубей — не такая простая вещь. Птиц надо кормить, поить, «гонять» — выводить на прогулку, как говорят в цехе; кроме того, им нужно «создавать условия»: содержать в чистоте голубятню, выхаживать птенцов. Но все было бы ничего, если бы не корм. Где его взять? На какие средства покупать? И голубеводы отправились в заводской комитет комсомола.

— У нас уже более сорока птиц, и каждый день они хотят есть! — взволнованно говорили молодые рабочие.— Как нам быть?

— В таком положении не одни вы. В десяти цехах завода занялись голубями. Даже пожарники увлеклись! — Собравшиеся громко рассмеялись.— Ничего! Пусть узнают, что это такое! И у всех затруднения с кормом. Мы решили сделать следующее: попросить наш подшефный целинный совхоз помочь голубиному горю. Как вы смотрите на это предложение?

— Мы-то смотрим положительно. Вот как совхоз посмотрит?

— А это скоро выяснится.

Через несколько дней завод облетело радостное известие: совхоз «Урожайный» послал в адрес ЗИЛа три тонны пшеницы.

Теперь голубеводы могут быть спокойны. Слово свое — вырастить к фестивалю 500 голубей — они сдержат.

ЭТО ПОКА СЕКРЕТ...

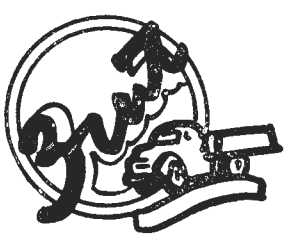
Однажды рабочие модельного цеха нашли на рабочих местах отпечатанное на машинке обращение: «Дорогой товарищ! 28 июля начнется VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Знаешь ли ты, что стенгазета «Модельщик» совместно с цеховым бюро ВЛКСМ объявила конкурс? Лучший подарок к фестивалю будет премирован ценным призом. Напоминаем тебе, что консультацию по всем вопросам, связанным с изготовлением подарков, можно получить у товарищей Стефанович В. Ф. и Шавина А. Ф.

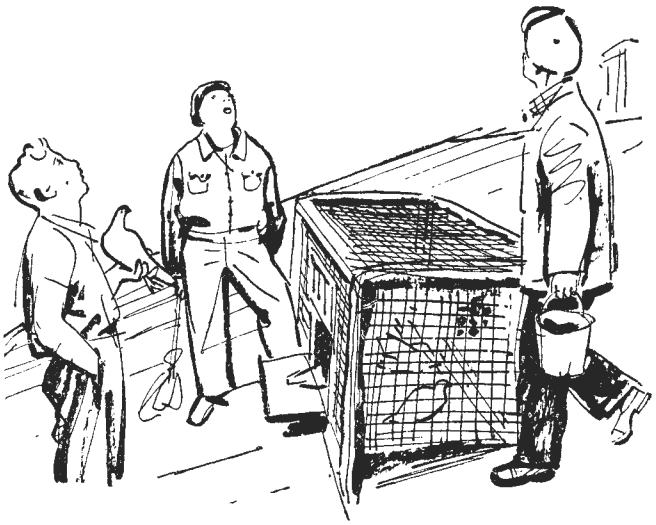
Просим тебя также ответить на следующие вопросы:

1) Какой подарок ты думаешь приготовить к этому знаменательному дню?

2) Какой материал и какой инструмент нужен тебе для этого?

3) Какие у тебя есть затруднения или сомнения?





Редколлегия стенгазеты «Модельщик», бюро цеховой организации ВЛКСМ».

Первой к редакторам стенгазеты пришла копировщица Нина Рябова. Она принесла искусно сделанную куклу в ярком национальном костюме.

— Это мой подарок,— сказала девушка.— Сомнение же у меня есть одно: годится ли он? Самой трудно судить, но делала я его от души...

Начало было положено.

А тем временем в цехе все чаще начали шушукаться девчата, все больше ребят стало оставаться после работы. Что же они задумали?

— Это пока секрет,— говорили они.— Конкурс еще не кончился...

Впрочем, все же стало известно, что Григорий Карасев мастерит из дерева эмблему завода, что Лев Яшин готовит карманный набор личных инструментов деревомодельщика, а Григорий Рóман вырезает из дерева картину «Первый успех».

Однако подготовить подарки к фестивалю задумали не только модельщики.

Инструментальщики одного из цехов решили сделать шесть чернильных приборов, склеить из пластмассы резные шкатулки. Молодежь цеха холодильников собирается изготовить небольшие модели холодильников, в цехе коробок скоростей решили собрать несколько образцов своей продукции.

Много сил было отдано конкурсу на лучший заводской значок к фестивалю. 67 эскизов поступило на суд комиссии. Многие из предложений были очень хороши. Но после долгих споров и обсуждений остановились все же на варианте художника архитектурной мастерской завода Лисицина: в голубом кольце на белом поле три четкие алые буквы «ЗИЛ», под надписью — грузовая автомашина заводской марки. Значок скромный, но выразительный.

Немало подарков будущим гостям придумали рабочие, занимающиеся в различных кружках заводского Дворца культуры. Вышивальщицы делают пестрые, веселые платочки. Художники собираются организовать выставку картин. Скульпторы, кроме работ для фестивальной выставки, делают много чудесных моделей, по которым на заводе отольют металлические образцы. Это и пепельница в виде рыбака, тянущего сеть; и фигурки героев из русских сказок; и грациозная танцовщица с лентами; и седой, с длинной бородой сказитель, играющий на

гуслях. Любовно, с большой теплотой выполнены эти скульптуры, и каждому, кто получит такой подарок, будет приятно сохранить его на долгие годы.

Очень много подарков к фестивалю мастерят дети рабочих, мальчики и девочки, занимающиеся в детском секторе Дворца.

Чего только здесь нет! И сувенирные шкатулки, искусно выпиленные из фанеры, и миниатюрные движущиеся грузовые и легковые автомобили, и вышитые полотенца, салфетки, и модели кораблей, яхт, фрегатов.

Но многие еще держат в секрете свои подарки. Вот когда будет организована выставка подарков, сразу станет ясно, кто и как поработал!

12 ТЫСЯЧ БУКЕТОВ

— Полторы тысячи букетов мы дадим со своих участков,— заявили заводские любители-цветоводы.

— Мы тоже на наших грядках вырастим цветы,— сказали юннаты Дворца культуры.

Но ведь этого мало. Решено-то подготовить к фестивалю 12 тысяч букетов! Как же быть? Первая задача легла на плечи оранжереи завода.

— Хорошо, рассада будет. За нами дело не станет. Но где и кто будет ее высаживать, ухаживать за ней? — спросили работники сектора озеленения завода.— Ведь одни мы не справимся.

Тогда начались поиски. Представители заводского оргкомитета по подготовке к фестивалю объездили буквально все подходящие подмосковные места. И было решено использовать территорию не только пустыря возле зиловского дома отдыха в селе Коломенском, но и цветники детского городка в Васькине и сад пионерлагеря.

— А ухаживать за цветами берем мы,— предложили комсомолки.— Организуем воскресники, и двенадцать тысяч букетов от автозаводцев будут.

ИСТОРИЯ «ЗИЛфильма»

Как-то на дверях одной из комнат Дворца культуры появилась черная табличка. На ней жирными белыми буквами было написано: «Тише! Идет съемка!»

Но из-за двери не доносилось ни треска кинокамеры, ни режиссерских указаний, ни гомона «толпы».

А дело было в том, что энтузиасты киноискусства пока что не имели ничего, кроме этой таблички. Впрочем, нет! У них был еще отказ директора Дворца культуры. Он не соглашался организовать киносекцию. И все-таки «ЗИЛфильм» существовал. В студии был директор — заведующий сектором художественной самодеятельности Дворца культуры,— были операторы, режиссеры, помрежи, сценаристы, художники, осветители, даже гримеры. И главное, было горячее желание создать фильм о заводе.

И снова в кабинете директора появились «киношники».

— Мы хотим в подарок к празднику молодежи снять фильм о том, как готовятся наши коллективы художественной самодеятельности к фестивальным концертам. Мы его назовем «Самодеятельность — фестивалю!» Но для этого нужна камера. Помогите нам!

И директор не устоял.

«Зилфильмовцы» ликовали: теперь они смогут снять не только задуманный фильм, но и праздничную хронику фестиваля! И многие гости Дворца культуры смогут увидеть себя на экране.

ИДЕТ КОНЦЕРТ

«Приходите, молодые,
Приходите, пожилые.
Всех, кто молоды душой,
Ждем на вечер цеховой»,—

приглашала афиша, вывешенная в день концерта в ремонтно-механическом цехе. И пришли все. Даже не хватило мест в красном уголке, и некоторым пришлось стоять в коридоре. А красный уголок в этот день был необыкновенно наряден. Украшенный гирляндами цветных лент, электрическими лампочками, он выглядел очень празднично.

Наконец конферансье, слесарь Борис Федоров, открыл предфестивальный смотр цеховой самодеятельности...

На сцену вышли табельщица Екатерина Мельникова, копировщица Людмила Королева и контролер Александра Крючкова. Они запели сатирические частушки, написанные на близкие всем заводские темы.

Концерт начался. Гвоздем программы был, конечно, эстрадный оркестр. Ах, как хлопали термистке Алле Тихоновой, исполнившей в сопровождении оркестра песни «Звездочка» и «Амапола»!

Ничего не скажешь, концерт удался на славу!

Но концерт шел не только в ремонтно-механическом цехе. В прессовом, инструментальном, модельном, автобусном цехах — по всему заводу звенят сегодня песни, отбивают четкий ритм чечетки быстрые ноги... Молодые автомобилестроители готовятся достойно и весело встретить гостей. Все 64 коллектива художественной самодеятельности автозавода и его Дворца культуры разучивают к фестивалю новые программы. Много дел и у танцевальных коллективов, и у хоров, и у заводской агитбригады, и у концертных групп. Спектаклем

Шекспира «Бесплодные усилия любви» готовится встретить фестиваль театральный коллектив, новые музыкальные произведения разучивают духовой и эстрадный оркестры.

Напряженны предфестивальные дни. Оно и понятно: хочется сделать как можно больше и лучше, а дней остается все меньше.

Лев КАССИЛЬ

Поговорим о вкусах

1. МОЖНО ЛИ СПОРИТЬ ОБ ЭТОМ?

— Что тут говорить!.. Это — дело вкуса...

— У каждого свой вкус, никто никому не указчик: один любит арбуз, другой — свиной хрящик.

— О вкусах не спорят!

Сколько всевозможных самоутешительных поговорок, прибауток, пословиц пускают в ход люди, чтобы легче было примиряться с безвкусицей! Послушать — так, действительно, о чем тут спорить?..

Однако давайте-ка призадумаемся и поговорим всерьез на эту немаловажную тему — о вкусах. Как часто слышишь в беседах с молодежью и встречаешь в читательских письмах беспокойные вопросы: «Что такое хороший вкус?.. Чем он отличается от дурного? Что такое безвкусица? Обязательно ли нужно воспитывать в себе хороший вкус?.. И можно ли вообще спорить о вкусах?»!

Да, конечно, можно! И не только можно, но и очень полезно. Просто необходимо спорить о вкусах. И ведь ни о чем, пожалуй, так много в жизни и не спорят, как о вкусах.

2. ВКУС ХОРОШИЙ И ДУРНОЙ

Речь ведь идет не о том, что один любит вишневое варенье, а другой предпочитает паштет из селедки. И не о том, что кому-то больше по душе блондины, а иным кажутся привлекательнее брюнеты. Тут действительно спорить не о чем. Только безнадежный ханжа или унылый скукодей может быть недоволен из-за того, что жизнь неисчерпаемо многообразна и готова утолить всевозможные пристрастия людей. Недаром говорится: сколько людей, столько и вкусов.

Однако мы все-таки среди окружающих нас различаем людей хорошего, верного, доброго вкуса и таких, о ком общее мнение утверждает: «безвкусный человек».

Когда мы видим девушку, одетую хотя бы и очень просто, но изящно, в платье, которое, как говорится, ей к лицу, когда любуемся ее женственными, милыми глазу и сердцу, естественными манерами, когда прислушиваемся к ее речи, опрятной, непринужденной и в то же время не крикливой, с достоинством выражающей то, что нужно, мы обычно приходим к выводу: «Вот девушка со вкусом!» А иная и в шелка вся нарядится, и навесит на себя множество сверкающих финтифлюшек, и мизинец с колечком оттопырит, когда несет ложку ко рту, и губы бантиком складывает, и в разговоре у нее что ни слово, то хи-хи, выверт и ужимка. И хоть все, как ей кажется, в самоновейшем, современном стиле, все «по самой последней моде», а ни красы, ни радости: все не к лицу, все царапает слух и оскорбляет зрение. И люди говорят: «Эк, вырядилась... И держится-то как вульгарно! Вот он, что называется, дурной тон!»

Даже на этом простейшем примере можно убедиться, что в обществе существуют определенные мерки, известные критерии, по которым определяют вкус того или иного человека, проявляемый в самых различных направлениях. Конечно, тут следует помнить, что оценки такого рода могут быть лишь **относительно** верными: у различных слоев общества несхожи между собой и вкусы. Кроме того, вкус каждого человека и общества в целом не есть что-то незыблемое — он обычно меняется со временем. Однако естественное понятие красоты в основе своей присуще большинству нормальных, непресыщенных, здоровых людей, ведущих осмысленную, трудовую жизнь.

Простейшие, элементарные представления о красоте, о радости жизни, об истинном назначении вещей, постоянно входящих в наш обиход, понимание сути основных явлений окружающего мира и трезвая оценка поведения людей—все это в конце концов и определяет вкусы человека данного общества, его эстетические тяготения.

3. ХОРОШИЙ ВКУС ТЯГОТЕЕТ К ПРАВДЕ, ДУРНОЙ — К ФАЛЬШИ

Вкус человека проявляется во всем: в его костюме, в поведении, в манерах, повадках, в том, как он выражает свои мысли, как относится к тем или иным явлениям литературы, искусства, какую обстановку предпочитает дома... Личным вкусом определяется в конце концов весь стиль жизни человека. А ведь известно, что стиль — это человек.

И если человек правдив, искренен, строг к себе, он постарается одеваться, вести себя и выглядеть так, чтобы во внешности его, во всем его облике и поведении не было ничего наигранного, фальшивого, нескромного. Он постарается и в речи своей быть точным, в выражениях умеренным, не станет бряцать иностранными терминами, даже если он и изучает языки других народов, не будет выдавать услышанные где-то остроты за свои собственные и так далее. Я твердо убежден, что дурной вкус, подчас проявляемый некоторыми нашими молодыми людьми, порожден прежде всего желанием «набить себе цену», выглядеть не совсем таким, каков ты есть на самом деле.

Чем, например, смешны наши пресловутые «стиляги»? Беда ведь не в том, что они изо всех сил тщатся следовать самоновейшей заграничной моде, при этом, конечно, всегда опаздывая и выглядя, так сказать, парижскими франтами позапрошлого года... Дело не в длине пиджака и чрезмерной узости брючек! Бог с ними, суть не в фасонах. Но беда в том, что такой хлыщ непременно старается выглядеть иностранцем на нашей улице. Он и особую манеру речи себе присваивает, с этаким импортным шиком, который он подглядел в заграничной кинокартине. И походку-то он себе выработал какую-то расслабленную, дескать, обошел чуть ли не весь мир на своих рубчатых подошвах сей скучающий путешественник, все на свете видел, все ему наскучило, вот и притомился малость... Все в нем вранье, все фальшивка, рассчитанная на дешевое удивление и на малонаблюдательный глаз завистливых зевак.

Ничем не лучше тот определенный пошиб, с которым любят одеваться и вести себя молодые люди, как будто очень далекие от «стиляг» и даже их презирающие, но выработавшие для себя свой, особый «стиль». Ходит такой парень в расклешенных сверх всякой меры брюках, в тельняшке, которая видна из-под расстегнутого воротника рубахи. Ну, чем не альбатрос, «морская душа»?.. А на самом-то деле он из тех, о ком моряки говорят: «Поперек борща на ложке плавал».

И тот жаргон, словесный мусор, блатные словечки, которыми любят уснащать свою речь эти молодые люди,— тоже, в сущности, фальшивка. Просто старается парень прослыть человеком бывалым, видавшим виды, сквозь огонь, воду и медные трубы прошедшим. Уголовники пользуются этим потайным жаргоном, чтобы оставаться не понятыми теми людьми, которые не посвящены в их темные и мерзкие дела. А иной парень, чтобы, как он выражается, «давить фасон», щеголяет этими неблагозвучными словесами ради дурного и хулиганского шика.

Хороший вкус призывает человека быть самим собой, оставаться таким и на словах и на деле, испытывать отвращение ко всякой подделке, фальши, наигрышу. Дурной вкус готов прикрыть внешним блеском внутреннюю темноту; он ревниво прислушивается к чужому толку, жадно и торопливо следует за дешевыми приманками пустопорожнего, показного шика. Кричащие, якобы соответствующие «заграничной моде» галстуки всех цветов светофора, способные нарушить уличное движение, напрокат взятые стандартные, ходовые обороты речи, вроде: «красота, кто понимает», «свой в доску», «будьте покойнички», «законно» и т. д., якобы свидетельствующие о личном остроумии,— вот весьма распространенный арсенал средств, которым вооружает человека дурной вкус.

Этот вкус, дешевый, невзыскательный, приучает человека искать в театре, в кино лишь забавные случаи или занятные приключения, пикантные анекдотики, не вызывающие никаких чувств. Этот ленивый вкус противится всему серьезному, познавательному, правдивому, волнующему. В музыке его трогают только слезливые романсы с переживаниями, настоенными на готовеньких, патентованных чувствах. В книге его восхищают лишь незамысловатые подвиги удачливых героев, счастливые совпадения, «роскошные» признания в любви — словом, все то, что дает так называемая бульварная литература, чтиво дурного пошиба, уводящее читателя от трудностей и побед подлинной жизни и утешающее его суррогатными чувствами, враньем о придуманном благополучии.

Размышляя о вкусах, я не раз сталкивался с таким примером. Вот приезжает в Москву вместе со своими товарищами на сельскохозяйственную выставку парень из далекого села, которое славится чарующей и затейливой красотой всевозможных изделий народного искусства. Какие дивные рушники, восхищающие самых взыскательных художников своей волшебной, богатейшей вышивкой, какие кувшины-куманцы самой причудливой формы и дивной росписи, всегда подчиненной благородной гармонии цветов, привезли эти люди! Какую неистощимую выдумку, тончайший вкус проявил деревенский художник!.. Но через несколько дней я встречаю его на улице в «модном» пиджаке немыслимо лягушачьего колера, в оранжевых ботинках на толстой белой подошве — желток с белком, в лиловой велюровой шляпе. Неужели это он, тот скромный, задумчивоглазый паренек, который заставил нас дивоваться его нежнейшим искусством? Уж тот ли это? Куда же девался его вкус?

А дело объясняется, как мне думается, все тем же — уходом от правды... Истинное искусство всегда правдиво. Оно не терпит фальши, подделки, вранья, дешевой стилизации. Оно выбирает слова, краски, звуки, формы, точно соответствующие тому, что хочет ими выразить художник. У народа хороший вкус. Народный вкус, который так восхищает нас в песнях, в изделиях кустарей-художников, в вышивках и росписях, порожден верным, творческим, трудовым отношением работящих людей к прекрасному. Эти люди тонко понимают природу, верно чувствуют ту большую правду, что живет в народной мечте о большой, справедливой красоте. И наш деревенский художник перенял передаваемый из поколения в поколение и дошедший до него строго и мудро воспитанный художественный вкус. Тут он был самим собой, тут он был в ладу с правдой, которая и есть истинная красота искусства. Но теперь дурной, чужой вкус сбил его с привычных понятий о красоте. Парню захотелось во что бы то ни стало выглядеть этаким столичным франтом, перенять слепо то, что он наивно счел за признаки городской культуры. И измена вкусу, погоня за фальшивой красивостью сразу покарали его...

Часто нарушают законы верного вкуса неумные попытки перенести форму, оказавшуюся чрезвычайно удачной и уместной на одном участке жизни, в другие области, где подобные формы противопо-

казаны по существу своему. Вот, например: убедительную удачу наших архитекторов, сумевших оформить помещения станций метро так, что полностью скрадывается ощущение глубины подземелья, другие строители бездумно перенесли в наземные здания. Все эти опорные колонны, пилястры, пилоны, скрытые источники света, большие плоскости мраморных стен и так далее вдруг стали появляться в наших клубах, кинотеатрах. Так даже и говорили: «Стиль метро». Но то, что было хорошо под землей и что было продиктовано требованиями подземного строительства, отсутствием источников естественного дневного света, все это, перенесенное на поверхность, восстало против самой своей сути и выглядит нарочитым, назойливым, тягостным...

4. МИРОВОЗЗРЕНИЕ, КУЛЬТУРА, ВКУСЫ

Обычно человеку высокой культуры свойствен и высокий вкус. Это совершенно естественно. Человек, серьезно относящийся к жизни, стремящийся овладеть всеми достижениями культуры, должен иметь серьезный вкус к науке, литературе, искусству. Кто хорошо думает и верно чувствует, тот не может примириться с пошлостью. А пошлость — это тоже одно из многочисленных и пагубнейших проявлений дрянного вкуса. Циническое остроумие, привычка подгонять все серьезное под размеры грязноватого анекдота так же претят культурному, серьезному и понимающему истинную глубину чувств человеку, как и высокопарное, трескучее разглагольствование на эти темы. Культура чувства почти всегда неразрывно связана с общей культурой человека, с основными критериями, какими он привык руководствоваться в своем отношении ко всем явлениям жизни.

Но стоит ли вообще так взыскательно относиться к личным вкусам человека? В конце концов что за дело другим до того, какие книжки любит человек читать, какой у него галстук? Ну, режет тебе глаз, так отвернись...

Нет, дело ведь обстоит гораздо сложнее. Чем опасен дурной вкус? Как мы уже говорили выше, он постепенно прививает неверное отношение и к людям и к жизни, порождает **скверный стиль существования.** Мало того, что человек обкрадывает себя, привыкая отдаваться лишь легким радостям, малым чувствам, необременительным мыслям, лишает себя высокой радости общения с настоящим искусством, приучает себя довольствоваться дешевкой во всех областях культуры... Главный вред заключается в том, что безвкусица отражается и на мироощущении человека, переходит из области его личного вкуса в область жизненного поведения.

Недаром, например, так ненавистен нам мещанский вкус. О зловещих опасностях, которые кроются в обывательском быте, в ленивом болотном уюте мещан, с яростью предостерегал молодежь Маяковский, бдительно приглядывавшийся к тому, как в наступившем после революционных боев затишье в быту молодой Советской страны кое-где стало проступать «мурло мещанина»... «Скорее головы канарейкам сверните, чтоб коммунизм канарейками не был побит!» — гневно писал поэт.

И ведь дело тут не в одних канарейках, кокетливо чирикающих в клетках, не в герани на окнах и не в других привычных атрибутах маленького квартирного мирка. Губительна для молодой души та самоуверенная пошлость, которая нарочно отгораживается от всего мира тюлевыми занавесочками, геранью, глухой стеной с крымскими видиками в ракушечных рамочках, бумажными веерами, сонмом гипсовых слоников, якобы оберегающих домашнее счастье, бамбуковыми ширмочками, ковриками, подушечками, вышивками — всем этим дешевым, якобы создающим комфорт пыльным хламом. Такой уклад жизни приучает видеть истинный центр вселенной в этом отгороженном, тесном, непроветренном мирочке... А за стеной, за окнами пропади хоть все пропадом!.. Так этот жалкий вкус, страшащийся любого дуновения свежего ветра, становится диктатором определенного образа жизни...

К сожалению, многие наши торговые организации, которым надлежит своей продукцией украшать жилище советского человека, по сей день еще оказываются распространителями самого дурного, мещанского вкуса. Какую несусветную пошлятину, какие отвратительные по своей расцветке олеографии, каких допотопных раскрашенных пастушек, цветастых медведей, голубков вынуждены тащить подчас в свои квартиры новоселы!

5. МОЖНО ЛИ ВОСПИТЫВАТЬ ВКУС!

Мы обязаны делать это! И в нашей стране для этого открыты все возможности. Серьезный, верный вкус можно и нужно прививать с молодых лет. Редко кто родится с безошибочным вкусом. Он формируется, выправляется, крепнет и развивается с годами. Но для этого нужны известные усилия.

Я частенько слышал от юношей и девушек:

— Ну что делать, если я ничего не понимаю в серьезной музыке! Придешь на концерт, начнет оркестр играть, а ты чувствуешь: вот-вот носом клюнешь...

Далеко не всякий способен сразу полюбить серьезную музыку. Понимание ее приходит постепенно. И начинать надо с музыки наиболее доходчивой. А затем, поверьте, могучая власть музыки подчинит себе каждого, кто решил по-серьезному внимать ей. И вскоре в человеке возникнет уже прямая, неодолимая потребность хотя бы время от времени слушать большую музыку.

При этом я никак не хочу сказать, что человек серьезного вкуса должен чураться легкой музыки. Да нет, конечно, можно любить и оперетту, и хороший джаз, и натанцеваться всласть... Всему свое место, свой час. Но тот, кто безмятежно спит на концерте Чайковского, а дома, заслышав передаваемый по радио фокстрот, даже во сне упоенно шевелит ногами, достоин сожаления...

Я очень люблю, скажем, Конан-Дойля и готов с удовольствием перечитывать его рассказы о Шерлоке Холмсе; но не вызывают у меня чувства уважения юноша или девица, заявляющие, что Чехов им скучен, Шекспир не под силу и лишь от детективных рассказов они без ума.

Это люди дешевого вкуса. А за подобную дешевку в жизни часто дорого расплачиваются. Рано или поздно, если они только не возьмутся за ум, не изменят своего отношения к литературе, к искусству, к человеческим чувствам, их постигнут в жизни тяжелые разочарования, ощущение пустоты.

Вкус надо воспитывать. И нельзя мириться с проявлениями дурного вкуса, где бы они ни встречались — в кино или в театре, в книге писателя или в картине художника, в речи или в костюме человека, в поведении его или в домашней обстановке.

Дело вкуса — серьезное дело.

А. ЛЕВИНА

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА

1. «ВЫ РОДИЛИСЬ ПОСЛЕ ТРУДНОСТЕЙ...»

По заводскому двору на всех парах мчался паровозик-кукушка, увозя платформы с тракторами, бежала гривастая лошаденка, громыхая тележкой с пустыми молочными бутылками, подпрыгивали автопогрузчики и мотокары с ящиками деталей. А над всем этим встряхивали зелеными головами липы и акации. В листве кустарников иногда приоткрывались скамейки и беседки, как в сквере. У низкой ограды стояла девушка в белом платочке и растерянно смотрела на деревья: она не ожидала увидеть их здесь. Она смотрела на них точно так же, как год назад смотрела на них Зина.

Проходя мимо, Зина улыбнулась ей ободряюще: «Ничего, привыкнешь!»

А через шлюзы проходной на заводской двор широкой рекой вливалась смена — замасленные спецовки и цветастые платья, косынки и кепки, кепки и косынки... И Зина, привычным жестом вынув из кармана косынку, туго стянула голову. Ох, уж эта ей косынка! У нее были не особенно красивые волосы, обыкновенные, рыжие, но все-таки она терпеть не может косынок. Когда первый раз она появилась у станка без косынки, у мастера даже глаза сузились от негодования: «Ты что, хочешь, чтобы тебя за волосы в станок утянуло? Ты понимаешь, что такое техника безопасности?» Вот оно, оказывается, в чем дело! А она думала, что работниц на плакатах рисуют в косынках для красоты!

Вначале Зина никак не могла понять, где же границы участков, почему здесь считается пятый участок, а там шестой: ведь станки стоят одной прямой линией, во всю длину пролета; да и станки вначале казались все одинаковыми — какой из них токарный, а какой шлифовальный? А теперь она идет через весь цех, от участка к участку, мимо границ — контрольных столов, кивая знакомым, на ходу договариваясь о комсомольских делах.

Вдруг Зина заторопилась: что там за люди у ее станка? Подошла и сразу узнала ту самую девушку, которой улыбнулась во дворе. Та стояла рядом с мастером, торжественная, в белой косынке.

— Ну, Сыромятова, знакомься,— сказал мастер.— Это Аня Мишина, твоя ученица. Тоже, как и ты, десятилетку окончила. Их у нас нынче вон сколько прибыло, десятиклассников!

Зина оглядела цех — сколько новых лиц! И у станка Нины Мелешкиной ученица, и у Гали Анисимовой, почти у всех десятиклассников ученики. Новенькие сбились в кучу, стали знакомиться.

— Я Роза Никулина из Мелекесса,— сказала бойкая девушка с широкоскулым лицом.

И неожиданно добавила:

— А это фрезерный станок, правда?

— Откуда ты знаешь?

— Так мы ж практику на заводе проходили! У нас, в восьмой школе, знаете, какой физик был замечательный, Иван Устинович! И на ткацкую фабрику мы ходили и на механическом заводе работали!

— А у нас,— робко заговорила беленькая худенькая девочка с тихим голосом, Тася Макаренко,— а у нас ничего-ничего, даже приборов в физическом кабинете не было; мы только по книгам учили. Я сюда из Хабаровского края к брату приехала.

Зина оглянулась на шум — это ее ученица Аня Мишина устанавливала заготовку на станке. Зина принялась помогать.

— Не надо, я умею, мы же в мастерских работали!

Ого, вот оно какое, новое поколение десятиклассников! Вот, оказывается, чем обернулось это слово — «политехнизация»! Нет, Аня не смотрела на станок с таким страхом и нерешительностью, как год назад Зина, и ей не нужно было объяснять, что такое заготовка и как промерить деталь. До обеда Аня сделала пятьдесят деталей. Конечно, это только треть нормы, но брака

почти не было. И в обед Зина в красном уголке гордо говорила девчатам:

— Вот какая у меня ученица!

Красный уголок полон. Он не очень большой, обычный цеховой красный уголок с лозунгами по стенам, с библиотекой-передвижкой, с вечными шахматистами в углу, которые замасленными пальцами берут ферзя за шейку, как болт.

Сегодня здесь особенно шумно. «Новички» записываются в библиотеку, знакомятся, осматриваются. Здесь и «старые» десятиклассники; многие из них, как и Зина,— сегодня «учителя».

Вот Нина Мелешкина, Зинина соседка по станку, шлифовщица, худенькая, с тихим голосом, ростом едва выше станка. Год назад она недобрала одного очка на литфак педагогического и, оставшись жить у брата, пришла на завод.

Каждый день до смены она долго протирает свой станок, гладит, словно задабривает, даже что-то приговаривает при этом. Сейчас она о чем-то рассказывает «новенькой» — Тасе Макаренко.

Вот у окна три сестры. Собственно, они не родные сестры, а только двоюродные, но все три приехали из Тамбовской области, где окончили в селе десятилетку, и, не попав в институт, пришли вместе на завод; в цехе их назвали «три сестры», хотя на чеховских сестер они совсем не похожи. Все три сильные, плечистые, с детства привыкли к любой работе.

Живется им трудно: общежития пока не дали; живут далеко за городом, на частной квартире. Но работают упрямо, только младшая, Эмма, не делает норму.

Они внимательно слушали угловатую, порывистую девушку в серой кофточке. Это Надя Пащенко, одна из двадцати выпускников техникума, приехавших с Украины. Теперь они тоже первый год работают станочниками.

— Никогда не ожидали, что так трудно будет,— говорила Надя.— Доверяют простую работу, а на сложные станки не ставят. Ведь хочется не только работать на них, но и налаживать научиться. А наладчику-то ведь все некогда. Поселили нас по пять человек в комнатах, в которых должны жить три человека. А ведь многие хотят учиться. В общем, сразу столько трудностей!

— Трудностей, говорите? — раздался вдруг могучий бас. Все оглянулись. Это был начальник цеха Лазько. Никто и не заметил, когда он вошел.— Что такое трудность? Пять человек в комнате — это трудность? Я в тридцать первом году жил в общежитии. Восемьдесят человек в одном помещении! И половина из нас не умела ни читать, ни писать. А у вас всех десятилетка!

— Так тогда был тридцать первый год! — раздался чей-то отчаянно-несогласный голос.

Лазько резко повернулся в ту сторону:

— Да, именно. Вы родились после трудностей! Трудности остались позади! Вы живете в великолепных условиях, созданных вам отцами, вы трудностей не видели, и вам только кажется, что это трудности!

Что тут поднялось! Все вскочили, наперебой врываясь в спор. Но Лазько только снисходительно улыбался, и, когда властный гудок напомнил, что пора к станкам, Лазько сказал вслед уходящим:

— Нет, ребята, не убедили вы меня. Лишний раз вижу: не досталось вам трудностей настоящих.

2. А МОЖЕТ, ПРАВ ЛАЗЬКО?

Возвращаясь в этот день по темнеющим улицам домой, Зина думала: «А может, прав Лазько?» Не раз слышала Зина от старых работниц историю его замечательной жизни. Ему было восемнадцать лет, когда он, приехав из деревни на стройку завода, впервые взял в руки букварь. Зина никак не могла себе представить, как это до восемнадцати лет быть неграмотным. Не прекращая работы, он кончил ликбез, вечернюю школу, рабфак, вуз — и теперь он крупный, знающий инженер, начальник автоматно-револьверного цеха Челябинского тракторного завода. Разве такой человек не знает точно, что такое трудность?

В заводском Дворце культуры есть большая фотовитрина «История строительства завода». Приходя во Дворец, Зина всегда подолгу разглядывала эти фотографии. Многое в них прямо-таки поражало. Вот «Болото на месте, где построили завод». Или «Рытье котлованов»: десятки мужчин и женщин с лопатами в руках кидают землю на телеги. Поражает, что мужчины, даже молодые, все с бородами, в белых рубахах, без поясов, и все — и мужчины и женщины — в лаптях.

Неужели это было всего двадцать пять лет назад? Один из этих парней, высокий, плечистый, казался ей удивительно похожим на Лазько. Может, это и был он? Зина никогда не решалась об этом спросить.

Так неужели он прав? «Вы родились после трудностей! Трудности позади».

О, она слышит это не первый раз! Выходит, что мы опоздали родиться, что главное было до нас?

И теперь, когда здесь, на заводе, началась самостоятельная жизнь и жить стало непросто и нелегко, вдруг нам говорят: то, что мы принимаем за трудности,— это пустяки! Но вот «три сестры» — разве им не трудно жить и работать? А Тася Макаренко — одна в чужом городе, без общежития? А ей, Зине, разве не трудно было в первые дни? Едва-едва делала полнормы, треть ее деталей оказывалась браком, а к концу смены ноги наливались тяжестью, и она уставала не столько от работы, сколько от стояния — еще бы, после сидячей-то жизни! Ведь раньше в школе сидишь, в библиотеке сидишь, за уроками сидишь, редко-редко на лыжах выберешься! В эти первые дни шум станков преследовал ее днем и ночью, неотступно.

А «вредный станок» — разве не трудно было Зине придумать, как его обуздать? Это было первое ее предложение. Еще в первый день, когда она увидела в цехе большой белый плакат «Руки мыть эмульсией строго воспрещается», ее поразило слово «эмульсия»: оно показалось ей научным, торжественным. Кажется, они проходили это по химии в десятом, но она никак не могла вспомнить, что это такое.

Оказалось, эмульсия — это та самая мутно-белая жидкость, которой охлаждали детали на станках и которой все рабочие, невзирая на грозное объявление, мыли замасленные руки: в нее входили сода и мыло, поэтому масло отмывалось. Но могла попасться и стружка (ведь эмульсия уносила ее с собой) и порезать руки. Только этого никто не боялся. И Зина тоже бегала к соседнему станку мыть руки: на ее станке эмульсии не было.

«Наш станок считается вредным,— объясняла ей старая шлифовщица Карякина в первый день.— Нельзя здесь эмульсию-то провести: детали в патрон воздухом зажимают, а эмульсия и воздух вместе не идут. Вот она, вредность, сажей и летит».— И Карякина включила станок. Сотня искр вылетела откуда-то из центра, и Зина вдруг увидела давно забытую картину...

В скучном и пыльном дворе большого дома раздается пронзительный крик: «Ножи, ножницы точу, острю...» И во дворе появляется, улыбаясь в рыжие, прокуренные усы, старый точильщик Кузьмич. Он снимает с плеча свой тяжелый груз, и сразу становится заметно, что одно плечо у него ниже другого. Мальчишки и девчонки окружают его плотным кольцом. Кузьмич берет старый, тупой, ржавый нож и, прислонив его к шершавому кругу, нажимает ногой на педаль. И вдруг рыжие горячие искры усами с двух сторон вылетают с шипением из-под круга. Кажется, круг со злостью шипит ножу: «Запаршивел, заржавел, я тебя почищу, почищу... нож-жик...» Последнее «жик» — и обнаженной чистотою блестит в руках у Кузьмича стальная душа ножа. Кузьмич говорит наставительно: «Вот, так оно всегда: верхний нанос снимешь, а внутри-то остро».

Как давно это было!.. Нет, теперь они уже не кажутся ей такими красивыми, эти искры; она знает: сотни маленьких острых зернышек шлифовального абразивного круга въедаются в деталь, как сотни резцов, и каждый снимает мельчайшую, микроскопическую стружку; от трения она раскаляется и на лету сгорает яркой искрой, превращаясь в крохотный кусочек сажи.

Эти сажинки покрывали лицо Зины черным слоем. Когда-то сосед Петька дразнил рыженькую девочку: «Зинка, сколько у тебя веснушек: тыща или больше?» Но теперь ни одной веснушки не было видно: сплошная чернота покрывала ее лицо. Это была «вредность», о которой говорила Карякина: «За вредность у тебя и отпуск будет больше, и молоко будешь получать». А что ей отпуск? До отпуска еще далеко. Зина держала в руках деталь, отшлифованную, как зеркало, но смотреться в нее не хотелось.

Каждый день мальчишки-токари, бесстрашно моя руки под белой струей эмульсии, кричали ей: «Эй, ты, чернушка!» Зина молча шла в умывальную и открывала кран. Вода вырывалась толстой, упругой струей. Зина подставляла руку, и сразу струя воды захватывала, несла с собой черные сажинки, а рука становилась все светлее, все чище. И однажды широко раскрытыми глазами глянула Зина на это светлеющее пятно. «А что, если...» — мелькнула мысль. И вот уже не прозрачная вода, а белесая эмульсия течет струей из крана, и уже не на Зинин перепачканный кулачок, а на блестящий кулачок детали...

Утром старший мастер Ездин слушает ее несколько удивленно. Еще бы, она начинает так: «Я вчера умывалась...»! Но потом лицо его добреет, и в глазах появляются светлые блики. «Вот что,— он кладет свою крупную руку на Зинину ладонь, в которой зажата смятая от волнения косынка,— ты иди-ка работай, а мы это дело обмозгуем». И нельзя понять, нравится ему идея или нет. Но через день он появляется возле Зининого станка со слесарем, и они долго о чем-то совещаются. А еще через неделю, придя на работу в ночную смену, Зина видит на своем станке целое сооружение... Нет, теперь не сгорает искрами стружка, не летит черной копотью в лицо. Белая струя эмульсии льется из крана, приделанного на особой стойке. Ну, и что ж, что она идет не через патрон, как на других станках, а падает сверху: все равно белая струя захватывает эту стружку, и искры гаснут, едва родившись! Теперь Зинино лицо сияет тысячью солнечных веснушек.

Все! Кончилась «вредная» работа.

Но трудности не кончились. А разве не трудно было ей справиться с аварийной гайкой?

«Аварийная гайка» — то были первые слова, которые Зина услышала, войдя однажды утром в цех. Она никак не могла их понять. Как же так — производство плановое, в каждом цехе плановый отдел, все рассчитано заранее,— как же может получиться, что стоят на сборке почти готовые огромные умные машины-тракторы и не могут идти на поля, где их ждут? А все из-за того, что не хватает каких-то трех гаек. Разве не знали заранее, что для стольких-то тракторов нужно столько-то гаек?

— Как ты не понимаешь! — втолковывала ей сменщица Карякина.— Ну, мало ли что случается: станок сломался, человек заболел, не вышел на смену, или в брак партия пошла — глядишь: на сборке пять гаек осталось. Вот-вот вся сборка встанет, поэтому и звонят в цех: «Аварийная гайка!» И в цехе тревога: «Гайка в опасности! Надо срочно ее спасать!»

— Не должно так быть,— упрямо твердила Зина.

— Ну, должно не должно, а вот сегодня аварийная деталь «70—07». Через два часа из-за нас сборка встанет.

В цехе был переполох, метались мастера, бегали наладчики. К Зине подошел старший мастер:

— Сыромятова, пойдем, будешь работать сегодня на резьбофрезерном станке — на гайке.

— Да я не умею, я на нем всего два раза работала,— пробовала протестовать Зина.

Но мастер уже вел ее к станку, возле которого кончали возиться наладчики. Через минуту мастер исчез, а Зина стала неуклюже закреплять деталь. Она включила станок. Одна деталь, другая, третья... Нет, ничего не получается. Резьба ложилась косо. Деталь срывалась. Зина огляделась. Рядом, за таким же соседним станком, работала сердитая пожилая работница. Другие старые работницы, как Карякина, относились к десятиклассникам по-матерински, учили их щедро и откровенно. В отличие от них «соседка» с первого дня шипела: «Вот, теперь ученые на завод пошли, куда уж нас, неученых?» Но она ни о ком в цехе вообще никогда не говорила доброго слова. После того, как на Зинин станок провели эмульсию, старший мастер Ездин однажды принес ей узенький белый листок. «Это тебе билет,— кричал он ей сквозь шум,— на слет передовиков: ты у нас теперь рационализатор!»

Когда мастер отошел, Зина услышала ее ворчание: «Что ж, выходит, мы из передовиков вышли?»

И вот Зина не очень решительно тронула «соседку» за рукав.

— Пожалуйста, посмотрите, почему у меня не получается?

— Что? — Та зло сверкнула глазами.— Как на слет, так передовая, а детали обрабатывать не умеешь? Нет уж, сама должна знать!

В этот момент у станка появился мастер.

— Почему не работаете? Разговариваете? А гайка ждет?

— Не получается,— робко начала Зина.

Но «соседка» резко оборвала ее:

— Разве не понимаете, Николай Ананьевич: деталь-то дешевая, не то что у нее на шлифовке — подороже, вот она и не хочет! Все они, ученые, за длинным рублем гонятся!

— Что? — У Зины даже дыхание перехватило от обиды. Она и не знала, сколько стоит эта деталь.

— Не ожидал от тебя, Сыромятова. Гайка аварийная, а ты... Но делать все-таки будешь! Не получается? Вот смотри!

Вместе они сделали три детали, и уже начало было получаться, но его позвали, и он заспешил к конторке.

Зина ставила детали одну за другой, и слезы бежали по щекам; она слизывала их языком, но многие падали прямо на станок.

— Нечего детали слезами-то поливать, не эмульсия, чай! — язвительно заметила «соседка».

Зина смолчала: все ее силы, все внимание сосредоточились на резьбе. К концу смены она почти сделала норму. С тех пор Зине не раз приходилось работать на других станках. Но теперь это уже не заставало ее врасплох. Каждую свободную минуту в цехе она проводила у разных станков, присматривалась, расспрашивала. Она научилась шлифовать, кроме своего, на двух других станках.

Но трудности не кончились.

Кажется, никогда не ощущала Зина так свое невежество, как тогда, когда она стояла перед замолкшим сломанным станком. Что-то заело, не идет абразив, а почему, в чем дело? Ничего-то она не знает! И надо ждать, пока придет наладчик, наладит, поправит. А это потому, что она понятия не имеет, как устроен станок, даже ее, шлифовальный. Десять лет в школе каждый день, каждый час узнавала она что-то новое, осмысливала, постигала. И вот пришла на завод; казалось, целый мир откроется перед нею. Но мир не открывался. Или Зина никак не могла подобрать ключи? Она пробовала расспрашивать работниц; они мало что могли ей объяснить. Зина с удивлением узнала, что, работая по десять лет, многие не знают своих станков, не умеют их налаживать.

Зина забрала в библиотеке все книги о шлифовальных станках и просиживала над ними целыми вечерами. Но там были схемы, чертежи, непонятные термины. И разобраться в них самой было очень трудно.

«Трудно? — снова звучал в ушах голос Лазько.— Вы родились после трудностей! Вы их и не нюхали!» «А что, если он прав? — думала Зина.— Что, если все это просто слабость?»

И что бы ни делала Зина в последующие дни, она все неотступно думала, прав ли Лазько.

3. УВАЖАЙТЕ МЛАДШИХ

Новой силой вспыхнули эти мысли, когда в комитете комсомола ей дали сине-зеленый плотный пригласительный билет. Странно впервые смотреть на свое собственное имя, отпечатанное четким типографским шрифтом. Зина читала с некоторым страхом и недоверием:

«Уважаемый товарищ! Правление Дворца культуры Челябинского тракторного завода приглашает Вас на очередной выпуск устного журнала «Новости жизни».

Страницы в журнале были самые разные: «События в Египте» и «Светящиеся вещества в науке и технике». Но Зина смотрела на то место, где значилось: «4-я страница. «Со средним образованием — на производство». Рассказ шлифовщицы З. Сыромятовой».

— В общем, расскажешь, как пришла, как стала делать норму. Не подведешь! — сказала ей заместитель секретаря и снова наклонилась над каким-то списком.

Выступать надо было в среду, но вот сегодня суббота, а Зина все еще не написала свою «страницу»: она никак не могла решить, как и о чем ей говорить. А тут еще субботник. После смены девочки пообедали в столовой и, щурясь от яркого солнца, присели на скамейку в заводском сквере. Зина вытащила из кармана свой пригласительный билет на устный журнал.

— Девочки, про что мне говорить? Ну, посоветуйте.

— Расскажи, как нас принимать не хотели! — лукаво подмигнула Галя Анисимова.

— Нет,— вступилась серьезная Нина Олейник,— расскажи о первых деталях, о том, как нас учили.

— Как технический кружок развалился...— в тон ей добавила Галя; все засмеялись.

— Привет новому поколению рабочего класса! — Вдруг сзади их крепко схватили чьи-то озорные руки.

Это Саша из заводской волейбольной команды. Когда-то он вел их к цеху в первый раз.

— Ну, как, девочки, прижились на заводе?

— На заводе? — задумчиво повторила Зина.— В цехе — да, а на заводе мы во многих цехах еще не были.

Саша удивился:

— В самом деле? И на сборке? Ну, и не любопытные же вы; мальчики давно бы сбегали!

— Вовсе нет,— обиделась Зина.— Я пошла на сборку, мне кричат: «Что ты тут мешаешь?» И что толку одной ходить? Если б объясняли, как на экскурсии...

Саша посмотрел на часы:

— Знаете что, до тренировки еще полтора часа; свожу-ка я вас по цехам. А ну, пошли!

Саша был ненамного старше их, но уже семь лет работал на заводе: ушел сюда сразу после семилетки, здесь и работал в литейке и техникум вечерний кончил. Теперь он уже был совсем в другом цехе, но литейку любил.

Саша повел их первым делом на формовку и в литейку. Оказывается, чтобы отлить деталь, надо сначала сделать для нее из земли форму, а потом в нее жарким ручьем льется металл. В обрубном отделении отливки очищали от земли в страшно грохочущих барабанах. Глядя на неуклюжие болванки, в которых с трудом угадывались будущие формы деталей, Зина думала: «Сколько еще с них стружки снимут в цехах!»

Выходя из литейки, они прошли через какое-то полупустое помещение, где стоял огромный круглый, видимо, вращающийся стол. На нем лежали металлические формы, у стен — еще не собранные шкафы.

— А знаете, что здесь будет? — спросил Саша.— Это будет цех точного литья. Отменит оно вас, стружкогонов!

— Как?

— А вот так: сделают копию детали из воска, покроют сверху особой силикатной оболочкой, воск потом выплавят и зальют внутрь металл. И выходит деталь точная-точная! Надо тебе винт

с резьбой — пожалуйста, и резьба здесь. А то еще обрабатывать, металл в стружку перегонять. Когда-нибудь такое время будет: совсем ваши цеха исчезнут, останутся только точное литье и сборка.

Кажется, не час — неделю ходили они по цехам, столько увидели, узнали. Но еще больше захотели узнать, понять: тысячи вопросов в голове, на которые и Саша не может ответить.

— Что я, главный технолог, что ли? — отшучивается он.

— В самом деле,— говорит Зина,— вот обойти бы так завод (да не весь сразу, а по цехам), ну, если уж не с главным технологом, то хотя бы с технологами цехов, чтобы все объясняли.

— Да и в нашем цехе технологи с нами не занимались ни разу, а ты хочешь в других! — резко перебила ее Галя.

— Девочки, а кто из вас умеет водить трактор? — неожиданно спросила Сима Иванова.

Девочки оглянулись. Действительно, они стояли у ворот сборочного, рядом с новенькими, еще не обкатанными тракторами. Сима продолжала со вздохом:

— Вот в деревне учились, к трактору не подходили; тут год на тракторном заводе проработала, а в отпуск в деревню приеду — стыдно сказать,— опять трактор стороной обходить надо.

— Да ведь сколько раз просили кружок организовать, так нет его,— сказала Нина.

Густой басовитый гудок заполнил двор. Кончилась смена, и девочки заторопились в цех на субботник.

Кажется, раньше и не замечали, что в цехе годами немытые стекла фонарей, заставленные ящиками проходы, захламленные углы, где валяются бог весть когда выпускавшиеся детали. И вот цех преображается, светлеет, свежеет на глазах. Драят полы, носят ведра с кипятком, и чем труднее работа, тем громче смех и даже песни. Впервые Зина ощутила это слово: «субботник».

Наконец все убрано. Зина кончила последней. Девчата обещали подождать во дворе. Она шла между рядами станков, заложив руки за голову. Тишина стояла в цехе. Глядя на замершие в торжественном молчании станки, Зина улыбалась: вспомнилось, как первые дни никак не могла привыкнуть к шуму и даже собиралась уйти с завода. Подумать только: они уже не были безразличны ей, эти груды серого металла, эти станки! Вот за этим она сделала первую деталь, вот здесь запорола деталь, этот пыталась наладить сама. Здесь хранились ее радости и обиды. Нет, это было уже не просто — уйти!

Вдруг в тишине Зина явственно услышала: кто-то плакал в стороне пятого участка. Зина заспешила туда. Действительно, за станком на ящике из-под деталей сидела, пригнув голову в колени, младшая из «трех сестер» — Эмма Лопухова. Она плакала громко, не сдерживаясь: думала, что в цехе уже никого нет.

— Ты чего? — наклонилась над ней Зина.— Что случилось?

Эмма вздрогнула, подняла мокрое лицо. В руке у нее был зажат винт, тот самый винт, который она изо дня в день нарезала на своем станке. Она взглянула на него полными слез глазами и вдруг с размаху бросила в дальний угол цеха.

— Ненавижу! Ненавижу! — шептала она.

С трудом Зина выяснила, что Эмма сегодня во второй раз получила четверку на экзамене в педагогический институт. Значит, снова не хватит одного балла, как в прошлом году, и опять ее не примут на литфак.

— Преподавать литературу — это значит каждый день в жизни творчество,— говорила Эмма сквозь слезы,— а здесь один и тот же винт, сто винтов, тысяча винтов...

— А может, скоро их совсем не будет, станков! — раздумчиво сказала Зина.

— Как не будет? — Эмма даже плакать перестала.

— Так, будет только точное литье и сборка.— И она принялась рассказывать про точное литье, про экскурсию.— Ты была там когда-нибудь?

— Нет,— всхлипнула Эмма,— нигде я не была!

— Вот и плохо! Да у нас на заводе тоже каждый день творчество, только так получается, что мы от него в стороне! Нечего плакать, пойдем.

Зина взяла ее за руку, и, пока они молча шли по пролету, вихрь мыслей поднялся у нее в голове. До чего же все казалось просто, думала Зина, когда несколько дней назад на торжественном собрании десятиклассников в цехе Лазько говорил:

— Это очень хорошо, что завод получает такое пополнение, как вы. Ведь двадцать лет назад у нас человек с семилеткой был на заводе редкостью. Поэтому сейчас даже командиры производства — многие ваши мастера и старшие мастера — технического образования не имеют, хотя у них богатейший опыт. Это не их вина. Государство было молодое. Когда мы пришли на завод, двадцать лет назад, мастера, наладчики — все были иностранцы. Такой, когда наладку делал, все прятался, чтоб опыт его не переняли. А у вас десять классов, и не хватает вам только технического образования, производственных навыков, закалки. И мы своего опыта не скрываем, а, наоборот, честно его вам передаем. В какой цех вы попали? Цех наш автоматно-револьверный, делаем мы детали крепежа, если образно выразиться, нитки и иголки, которыми сшивают трактор. Детали мелкие, но не второстепенные. К каждой гайке надо относиться с уважением, с пониманием. Станочники, работающие с пониманием дела,— это и есть наше будущее. Вы еще новички, пионеры в этом деле. Пока вас сто человек в цехе, а ведь через несколько лет будут целые заводы, где у станков десятиклассники.

Слушая его, Зина смотрела на ребят и девчат, густо заполнивших красный уголок. Да, это хорошо — сто десятиклассников в цехе! Только ведь и в прошлом году их пришло немало, десятиклассников, а сколько из них осталось сегодня? Ну, хорошо, ушли белоручки, такие, как Рая Новгородова, что появилась в цехе в туфельках на каблуках и с первого же дня заявила открыто: «А зачем мне норма? Меня материальная сторона не интересует, у меня мама в ресторане работает; она мне говорит: «Иди, поработай для биографии». За станком Раю почти не видели. Целые дни она слонялась по цеху, болтала со слесарями, чинившими станки, а когда ее встречал мастер, говорила, что кончились заготовки. Через полгода она уволилась, так и не сделав ни разу норму. «Эта работа неинтересная», — объяснила она на прощание.

Но ведь ушли и хорошие, трудолюбивые ре-

бята и девчата: Тамара Глазырина, Неля Соколова, ушли снова поступать в педагогический институт. А почему? Потому что, кроме учительской профессии, ни одна им толком неизвестна, потому что за год на заводе они так ничего и не увидели, кроме своей гайки. Технический кружок обещали — нет его; курсы по изучению станков — и их нет. Сегодня пришло сто. А сколько их через год останется? Именно эти мысли снова вспыхнули у Зины, когда она глядела на понурую Эммину фигуру.

Они вышли во двор. У дверей, поеживаясь от вечернего холода, стояли девчата.

— Что ты так долго, Зина?

Тут они увидели Эмму, подошли, окружили.

— Вот-вот, — сказала обычно молчаливая Нина Мелешкина.— А ты в среду пойдешь агитировать: «Со средним образованием — на производство». А потом они будут реветь, как Эмма. И в газете заводской про нас заметку написали: «Ах, Зина работает на заводе!», «Ах, Нина работает на заводе!» Да не об этом писать надо! Главное, что́ мы делаем на заводе.

Для молчаливой Нины это была очень длинная речь. Она вздохнула, словно набралась сил, и заговорила снова, уже спокойней:

— Год назад я даже не представляла, что такое станки. Думала, что они не ломаются, знай себе работают. Но оказалось, что станки требуют, чтобы их настраивали. Вот и ждешь часами — и простаиваешь. Ведь что получается: решила шить — и ждешь, пока тебе нитку в иголку вденут. Сама не умеешь. А почему? Разве нельзя научить самих рабочих с десятилеткой налаживать станки? И нам интересней будет, и польза какая огромная! Ведь сейчас на каждых сто рабочих десять наладчиков. Курсы по изучению станков обещали, а где они? Конечно, можно и самой все изучить по книгам, только это очень трудно.

— «Трудно? Вы родились после трудностей!» — сказала Галя строгим голосом, удивительно похожим на голос Лазько.

От неожиданности все засмеялись. Зина, шедшая впереди, вдруг резко остановилась.

— Девочки, в этом-то и все дело. Разве мы обо всем этом — о кружке, о наладке — не говорили и на собраниях и на бюро, только некоторым кажется, что мы дети, что мы еще в игрушки играем и трудности у нас тоже игрушечные, вроде оловянных солдатиков. Никак не хотят понять, что мы уже взрослые, участники жизни.

— Вот об этом ты и скажи в устном журнале, в своей четвертой странице! — заметила Галя.

— И скажу! Непременно скажу!

Они дошли до перекрестка и стали прощаться. Дальше Зине надо было идти одной. «Ох, уж эта мне четвертая страница!» — думала она, глядя вслед удаляющимся девчатам... «Четвертая страница... Четвертая страница»... Что-то очень знакомое, хотя и забытое почудилось ей вдруг в этих словах. Ну, как же она могла забыть! Давно, еще когда Зина училась в девятом классе, у них в школе была лекция «Боевой путь комсомола». Лектор, большерукий, очкастый, наверное, студент-историк, очень волновался, и чем больше волновался, тем пышнее говорил. Кончил он так: «В семнадцатом году ваши деды вписали в книгу нашей истории первую страницу. В тридцатые годы ваши отцы вписали вторую страницу, страницу гигантских строек. В годы Отечественной войны ваши старшие братья вписали третью славную страницу боевых подвигов. А вам предстоит написать четвертую страницу нашей истории!» (себя он, очевидно, ни к какой странице не причислял, так как все время говорил только о «них». Но лекция все-таки ребятам понравилась).

Зина улыбнулась. Так вот отчего она помнит эти слова! Она вдруг задумалась: «А что сказал бы об этом Лазько? В самом деле, почему он полагает, что четвертую страницу писать легко?

Конечно, если сравнить, что пришлось на долю отцов и дедов... Если сравнить... А может, в том-то и дело, что нет трудностей, одинаковых для всех. У каждого поколения свои трудности, и оно по-своему их преодолевает».

Размышляя обо всем этом, Зина вошла в дом. Дома был один только десятилетний младший братишка, Юра. Он сидел за столом и мастерил модель самолета. Только сейчас Зина почувствовала, какая она голодная — с обеда ничего не ела. Она открыла буфет — хлеба дома не было. Зина резко повернулась к Юре.

— За весь день трудно было за хлебом сходить, некогда?

— Некогда. Я в школе был, а потом кружок.

Зина не слушала.

— Как не стыдно? Ну, я понимаю, если б еще в очереди стоять надо было! Вот мы в войну все уроки в очередях учили; сколько приходилось стоять на морозе, но не было такого, чтоб мама пришла с работы, а хлеба нет. А тебе трудно!

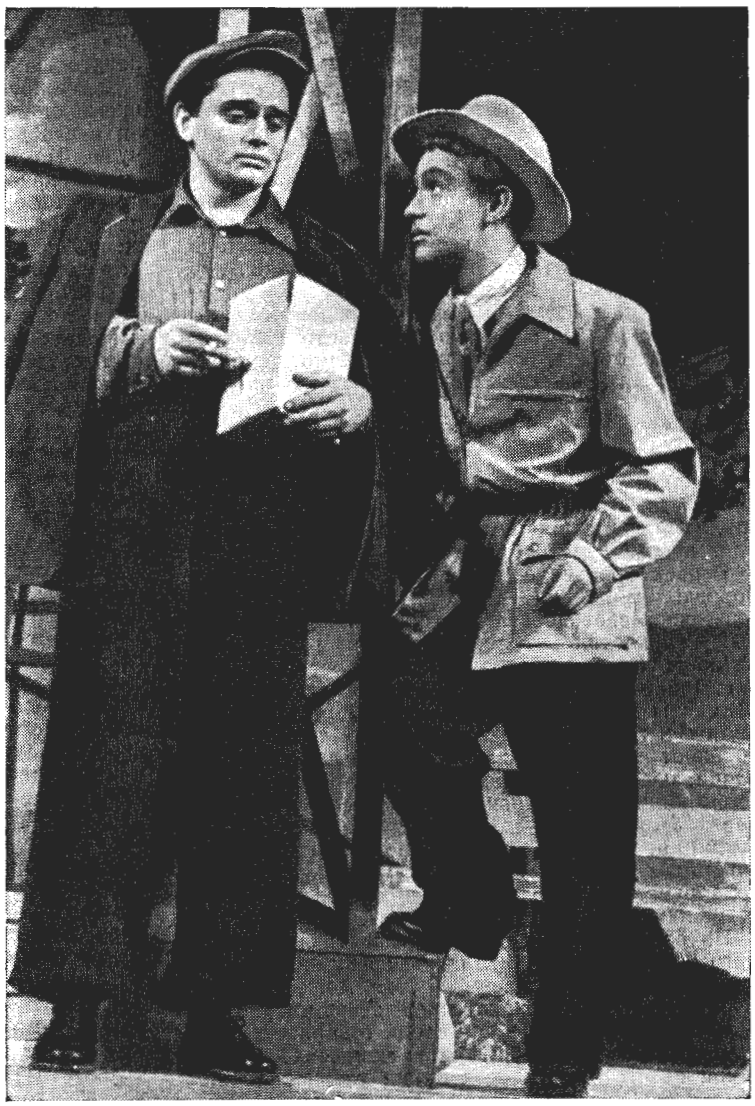
— Ну, и трудно! — В глазах Юрки уже блестели слезы.— Ничего вы, старшие, не понимаете...

Зина поглядела на брата и вдруг засмеялась — раскатисто, весело. Чем же она отличается от Лазько?! А Юрка смотрит на нее так же, как она на Лазько. И она туда же: «Трудности позади!» Хохоча, Зина подбежала к удивленному, ничего не понимающему Юрке.

— Правильно, милый, правильно. У тебя свои трудности! А за хлебом давай пойдем вместе.

Челябинский тракторный завод.

Театр



И. ВИШНЕВСКАЯ

НАЧАЛО ПУТИ

Юность — прекрасная и трудная пора, когда перед тобой открыты все пути и нужно избрать один из них, свой, настоящий. Впечатления молодости долго и властно влияют на поступки и на образ мыслей зрелого человека, во многом предопределяют его дальнейший жизненный путь. Может быть, именно поэтому пора юности так интересует наших писателей — поэтов, прозаиков, драматургов, сценаристов. И как важно для писателей именно в эти сложные и ответственные годы встать рядом с молодым человеком и пойти с ним рука об руку, как друг, воспитатель и честный художник!

Большая тема — начало пути — взволновала и молодого драматурга Михаила Шатрова, выступившего недавно со своими первыми пьесами: «Чистые руки» и «Место в жизни» (Москва, Театр юного зрителя).

Наша драматургия для молодежи знает немало подражательных произведений. Это и бесконечные варианты образа юноши-индивидуалиста, отрывающегося от коллектива, и скучный положительный герой, бесконечно обличающий всех и вся. Были и другие, уже ставшие бродячими, образы и сюжеты.

Но Шатров — начинающий автор, недавно окончивший Московский горный институт, — не захотел воспользоваться готовыми, много раз испробованными схемами. Он предпочел вмешаться в гущу жизни, заговорить о наболевших, важных для нашего юношества вопросах. И голос молодого драматурга не затерялся среди других, уже уверенных писательских голосов. Не затерялся потому, что Шатрова занимает очень важный вопрос, которому еще мало уделяют внимания наши писатели. Это вопрос о комсомольской работе в школе, о комсомоле как помощнике и резерве коммунистической партии.

Автор начинает разговор вовсе не для того, чтобы сказать, что у нас все в порядке: комсомольские собрания проводятся, взносы платят-

На снимке вверху: сцена из спектакля «Место в жизни».

ся, поручения даются, а затем проверяются. Нет, именно это внешнее благополучие, за которым подчас не чувствуется живого комсомольского дела, вызывает тревогу молодого литератора. Именно это заставляет Шатрова попробовать разобраться, почему так равнодушно и формально относятся к своим комсомольским обязанностям некоторые наши юноши и девушки.

А о том, что это вопрос наболевший, говорят выступления делегатов XX съезда КПСС, посвященные делам и задачам Ленинского комсомола, выступления, статьи и письма школьников, студентов, вожатых, педагогов.

Не случайно поэтому на обсуждениях пьес М. Шатрова «Чистые руки» и «Место в жизни» возникают бурные разговоры о честности, принципиальности, комсомольском долге.

* * *

Никакое большое или маленькое дело, смолоду или в старости, нельзя делать с холодным сердцем и равнодушным умом — вот основная идея пьесы «Чистые руки».

Героев произведения Алика Ключевского и Володю Воронина — школьников-десятиклассников — связывает долгая, проверенная дружба. Первый увлекается ботаникой, второй хочет стать актером. Но путь Воронина не прост и не гладок. Развязные юнцы, организующие халтурные концерты и спекулирующие якобы редкими старинными книгами, сбивают Володю с толку. Они обещают юноше легкие и быстрые актерские удачи, заставляют делать долги, показывать матери подложный дневник, где вместо двоек и троек стоят круглые пятерки. Казалось бы, по традиции, существующей в нашей драматургии, товарищи Володи, высказав несколько общих, холодных фраз, должны отвернуться от своего оступившегося друга.

Но разве может девушка отказаться от любимого только потому, что он не сразу нашел свою прямую дорогу в жизни? Разве может настоящий друг бежать жаловаться старшим, не попытавшись найти в себе и своих товарищах нравственные силы для борьбы за человека? Нет. И герои пьесы поступают вопреки установившейся традиции. Они решили сами разобраться в ошибках Воронина и помочь ему. И то, что Шатров в этом отошел от штампа,— большая заслуга и успех молодого автора.

Но, говоря об Алике, Володе, Гале, нельзя забывать и другого героя пьесы «Чистые руки», секретаря комсомольского комитета школы Леню Горбатова. Это маленький демагог, для которого смысл комсомольской работы заключается в готовых фразах, формулировках, липких ярлыках. Может быть, сейчас Горбатов всего только смешной в своем глупом бюрократизме мальчишка, но через несколько лет из подобного начетчика может вырасти холодный, равнодушный человек, формально и безучастно решающий сложные человеческие судьбы. И поэтому, высмеивая административный восторг Лени Горбатова, драматург заставляет молодого зрителя задуматься об ответственности каждого комсомольца за судьбу товарища.

Но только высмеивать мало для борьбы со злом и пороком. Художник должен раскрыть их истоки, показать пути их преодоления. Разговор о честности по отношению к себе и товарищам, о комсомольской принципиальности Шатров продолжает и в своей второй пьесе, «Место в жизни». Это рассказ о школьниках-выпускниках далекого шахтерского городка Рудогорска.

...Окончен десятый класс. В доме одного из школьников, Миши, веселые проводы: сегодня он и его друзья уезжают в Москву поступать в вузы. Но ни Миша, ни его товарищ Игорь не знают, какой они выберут институт. Им все равно, лишь бы высшее образование, лишь бы диплом. По-другому смотрит на свою будущую жизнь их друг Юрий. Он решил остаться в родном городе, на шахте. А когда овладеет профессией горняка, пойдет учиться, чтобы закрепить свои знания, свой практический опыт. Юра напоминает Мише, что еще совсем недавно на одном из собраний тот первым выступил с горячей и, казалось бы, искренней речью, призывая молодежь остаться после школы на шахте. «Учеба не уйдет от вас и от меня,— говорил тогда Миша,— мы еще придем в вузы, сильные, знающие дело, уже чем-то послужившие Родине...» А теперь, когда школа окончена, Миша первый уезжает в Москву...

Упрек друга не проходит бесследно. Пока молодежь обсуждает, что брать в дорогу, мечтает о Москве, Михаил задумывается над избранным в жизни путем. Сможет ли он в будущем открыто и прямо смотреть товарищам в глаза? И тогда, в последнюю минуту, он решает остаться в Рудогорске и идти работать на шахту.

Казалось бы, на этом могла и окончиться пьеса. Добродетель торжествует, герой понял свои заблуждения. Но драматурга интересуют как раз те события, перед которыми так часто закрывают занавес в наших театрах. А что же будет дальше с юношей, как сложится его жизнь на шахте?

...Действие в пьесе развивается дальше, и мы видим, что Миша тоскует на шахте, что ему трудно, он мучается, завидует тем, кто в Москве, кто сидит на лекциях, ходит в музеи. В конце концов юноша совершает прогул. В чем же дело?

В центре пьесы — разговор о понимании комсомольцами своих обязанностей и задач. Среди героев нет ни испорченных стиляг, ни малолетних преступников, ни холодных циников. Все это чистые, хорошие юноши и девушки, по-разному находящие свой истинный путь. Поэтому их разговор — это беседа хороших, верных, любящих Родину людей. И вместе с тем какая боль, какая горькая обида и даже разочарование звучат в их словах!

«ЮРА. Принимаем в комсомол всех подряд, лишь бы двоек не было... Нужен процент роста. Бегаем, упрашиваем... Вот и вступают... А почему? Потому что жить без комсомола не могут? Черта с два! С билетом ведь удобнее, необходимой принадлежностью, стал, как азбука для первоклассника.

ИГОРЬ (гневно). Я не из таких. Когда в комсомол вступал, от радости как сумасшедший бегал, во все верил, любое дело мог выполнить... А потом... Вы в комитете занимались только двоечниками и отличниками... А я был середина. И до меня у вас руки не дошли. В чем заключается моя комсомольская жизнь? В двадцати копейках?»

Двадцать копеек — членские взносы — ежемесячно принимают от школьников-комсомольцев многочисленные Лени Горбатовы. Принимают, делают отметку в билетах и удовлетворенно по-

Борис ШАХОВСКИЙ

ДАЛЕКОМУ ЮНОМУ ДРУГУ

Борис Шаховский в 1941 году ушел в армию с вузовской скамьи. После окончания танкового училища участвовал в боях. Демобилизовался по инвалидности. Был награжден орденом Красной Звезды и медалями.

Последние два года, прикованный к постели, поэт продолжает учиться в Литературном институте имени А. М. Горького, пишет стихи.

Опять войны холодиой океан
В лицо нам дышит грозовою жутью.
И снова юность зарубежных стран
Стоит, как витязь в сказке, на распутье.

А на развилках в этот трудный час
Дельцы-банкиры путано и ловко
Плетут о нашей Родине рассказ
Из лживых фраз и броских заголовков.

Решай, кто правы: мы или они?
Ты, друг мой, не рекламы и плакаты,
А наши биографии сравни:
Его, банкира,
и мою, солдата.

Я по войне четыре года брел —
Ему о ней известно понаслышке.
Он чековые книжки приобрел —
Я стал владельцем пенсионной книжки.

Теперь со мной неразлучима трость —
Попутчица больного человека.
Я был контужен (перебита кость),
И все-таки не я, а он калека.

Он рад большим заказам на гробы,
И, чтоб торговля ими процветала,
Он вновь грозит поставить на дыбы
«Пантер», отлитых из его металла.

Он снова в исполнители берет
Юнцов, податливых и петушистых.
Ты слышишь, юность, он кричит: «Вперед!»
Зовет вперед, а поведет к фашистам.

Нетрудно хвастать легкостью побед,
Нетрудно грабить и сжигать селенья.
Но есть людской закон: горит сосед —
Гаси, а не подбрасывай поленья.

Мой юный друг,
К чему плакатный рай?
Ты видишь сам, где легче, где труднее,
Где жизнь, где тленье. Сам и выбирай
Умом и сердцем — им всегда виднее.

тирают руки: «Взносы платятся аккуратно. Значит, работа ведется хорошо». Так думают Горбатовы. Но у большинства возникают иные, тревожные, горькие мысли: «Разве в этом задача и сущность комсомольской работы?»

Если посмотреть многие наши пьесы, прочитать романы, поэмы, то почти все они говорят о профессиях романтических, необычайных, исключительных. Хорошо ли это? Прекрасно. Но ведь еще мало воспет труд рабочего, колхозника, обычные трудовые будни. И вот сейчас, когда партия призвала молодежь на целину, к станкам, на поля, когда вузы становятся не только продолжением десятилетки, но и закреплением большой жизненной школы, перед комсомолом встали новые большие задачи.

Именно поэтому так важен разговор, начатый М. Шатровым в его пьесах.

Воспитать любовь к каждодневному, пусть самому скромному труду, раскрыть для юношества красоту и величие трудовых будней — это и есть живое, сегодняшнее содержание нашей комсомольской работы. Содержание, ничуть не менее высокое и прекрасное, чем воспевание исключительных подвигов и диковинных, романтических профессий.

Мы не будем останавливаться на целом ряде других проблем, затронутых М. Шатровым в его произведениях. Нам казалось наиболее важным рассказать о том, что он утверждает и с чем борется в интересных и содержательных художественных образах.

Михаил Шатров еще не вполне овладел мастерством: слишком прямолинейна расстановка сил в его пьесах, слишком много чувствительного вместо сильного чувства, пространного назидания взамен действенного примера. Но отточенное мастерство непременно придет к литератору, говорящему правду о жизни.

Скоро школьники снова встретятся на сцене Театра юного зрителя с новой пьесой М. Шатрова; она, наверное, воэбудит и новые мысли и новые, еще более глубокие, оживленные споры. Но главное сделано — хороший, честный путь в литературе начат!

Манифестация 18 июня в Петрограде. В этот день около пятисот тысяч рабочих и солдат вышли на улицы российской столицы с красными знаменами и революционными плакатами. Трудовой Питер выражал недоверие правительству, призывающему к продолжению войны. На плакатах было написано: «Долой министров-капиталистов!», «Хлеба, мира и свободы!», «Рабочий контроль над производством!», «Да здравствует III Интернационал!»

Сорок лет назад

ИЮНЬ

Все больше росло народное недовольство буржуазным Временным правительством и его политикой. Трудящиеся массы приходили к твердому убеждению в том, что их интересы защищают только большевики.

3 июня (16 июня по новому стилю) открылся I Всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов. На съезде преобладали меньшевики и эсеры. Они поддерживали созданное в мае коалиционное Временное правительство и входили в его состав наряду с кадетами.

На съезде В. И. Ленин выступил против войны, разоблачая ее империалистический характер.

Правительство назначило на 18 июня начало наступления на фронте. Именно этот день съезд наметил для проведения широкой манифестации. Меньшевики и эсеры рассчитывали, что эта манифестация пройдет под соглашательскими лозунгами. Но подавляющее большинство демонстрантов несло большевистские лозунги.

На фабриках и заводах создавались вооруженные дружины рабочих. Эти дружины стали развертываться в отряды Красной Гвардии.

На снимке: значок красногвардейца.

«Долой войну!», «Вся власть Советам!» — эти лозунги несли 18 июня манифестанты в ряде городов страны.

Манифестация показала огромное влияние партии большевиков на широкие массы трудящихся.

На снимке вверху: **манифестация 18 июня в Гельсингфорсе.**

Большую политическую и организационную работу в армии развернула созданная партией большевиков Военная организация. На снимке — члены Военной организации. Сидят: **К. Орлов, К. Механошин, В. Невский, Н. Подвойский, П. Дашкевич.** Стоят: **Н. Занько, М. Кедров, В. Панюшкин, А. Тарасов-Родионов.**

В июне 1917 года при Московском комитете партии большевиков был создан Союз молодежи. Им руководила секретарь Московского комитета партии Р. С. Землячка. Большое участие в организации принимал В. Подбельский. Активную роль в Союзе молодежи играли А. Залкинд, В. Котомка (Зеленский), артист Художественного театра В. Смышляев, А. Попов и другие.

Секретарем Союза молодежи и его душой была Рузя Черняк (портрет слева). Впоследствии Рузя Черняк ушла на фронт. В 1919 году она умерла от тифа.

ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ

Из писем Люси Лисиновой

От шумной Добрынинской площади в Москве к другой площади — Даниловской — ведет асфальтированная улица. В старые времена она называлась Малой Серпуховкой. Революция переименовала ее в Люсиновскую — в честь Люси Лисиновой, студентки Московского коммерческого института, ныне Института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова.

Коротким был век Люси Лисиновой: всего двадцать лет прожила она. Но ярок след, оставленный ею в истории революционной борьбы нашей молодежи.

Воспитанная в интеллигентной армянской семье, Люся пришла к большевикам в 1916 году, когда партия находилась в подполье. По поручению Замоскворецкой партийной организации Люся вела пропаганду в рабочих кружках. Вдохновенно несла она в массы рабочих бессмертные идеи Маркса и Ленина. После Февральской революции Люся стала в том же Замоскворечье одним из организаторов Союза рабочей молодежи «III Интернационал».

Но вот настал октябрь 1917 года. Вслед за Петроградом бои за власть Советов начались в Москве. Для «Люсик», как ее звали товарищи, это были дни самого высокого душевного подъема, самого активного действия. Не зная усталости, она принимает донесения в Замоскворецком военно-революционном комитете, перевязывает раненых, доставляет приказы комитета в красногвардейские отряды, налаживает связь между Замоскворецким районом и Московским военно-революционным комитетом, под градом пуль пробираясь ночью через улицы, находившиеся в руках юнкеров.

1 ноября, наполнив перевязочным материалом санитарную сумку, Люся пошла на Остоженку, где в то время происходили ожесточенные бои. В одном из переулков белогвардейцы открыли стрельбу по безоружной санитарке. Люся была убита выстрелом почти в упор, прямо в сердце.

Сохранились письма Люси в Тифлис к родным: матери и сестрам, старшей — Анаид и младшей — Аник. Читаешь эти письма, и перед тобою во всей красоте раскрывается чудесный облик двадцатилетней девушки, которая бесповоротно вступила на нелегкий путь борьбы за дело трудящихся. Ею безраздельно владела «одна, но пламенная страсть» — революция, революционная работа. И революции отдала Люся до конца все свои богатые душевные силы, свою жизнь.

Ниже печатаются отрывки из писем Л. Лисиновой за 1917 год.

Материал собрала и подготовила к печати Л. И. Петропавловская.

ИЗ ПИСЬМА К АНАИД

Находясь в разлуке с родными, Люся пишет им в Тифлис полные нежной заботы письма, воодушевленно рассказывает обо всем, чем поглощено ее внимание, и прежде всего о событиях развивающейся революции.

«Большая перемена жизни», упоминаемая Люсей в письме к Анаид 18 апреля,— это окончательное оформление ее мировоззрения, вступление в партию большевиков. Перед лицом этой «большой перемены жизни» отступили все другие личные переживания мятежной души юной Люси.

«Съезд социал-демократов России», о котором говорится в письме,— это VII (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП(б). Конференция проходила в Петрограде 24—29 апреля 1917 года под руководством В. И. Ленина и нацелила партию на борьбу за переход от буржуазно-демократической революции к социалистической.

18 апреля 1917 г. (1 мая нов. ст.)

Дорогая моя, родная Анаидочка, у меня столько сейчас вертится в голове, столько разнородных, противоречащих мыслей, переживаний...

Сегодня 1-ое Мая, сегодня развернулась вся Москва рабочих, растеклась по улицам, пела грозно и наступательно свои пролетарские и поэтому международные песни. Сегодня она грозно пела «Интернационал», тот самый «Интернационал», который скоро поведет весь международный пролетариат к великой битве за весь род человеческий...

...Анаид, у меня (я тебе писала до рождества) большая перемена жизни — я определилась раз навсегда, и если я только тогда не знала, по которому из путей я пойду, то теперь, т. е. с начала февраля, я уже знала и путь. И потому что у меня сейчас так много нового в жизни, тем более я хочу видеться с тобой и нашими.

Хотела я приехать к вам 13—15 апреля и уже все приготовила для отъезда, но выяснилось, что я могу попасть на съезд социал-демократов России, где будут Ленин и все другие. Мне необходимо их слышать, и нельзя было не воспользоваться таким редким благом, как пропуск на съезд. Из-за этого пришлось отложить мой отъезд... Раз я отдалась этому делу, раз на меня будет возложена обязанность, то отказаться от нее я не имею права, как человек, признающий общественную дисциплину.

...Дорогие мои, если бы вы все знали, как мне не хватает вас, с какой борьбой я отказала себе видеть вас в эти месяцы, как я хочу быть с вами, как до плача хочется поговорить с вами.

Только я очень сильно изменилась характером и почти никогда не плачу... Вообще сильно себя изменить пришлось за это время... Теперь я знаю, к чему мне надо стремиться, я знаю, что мне надо делать, и когда мне бывает тяжело из-за личных или других причин, то мне стоит только вспомнить про то мое большое дело, и я успокаиваюсь.

Итак, я сейчас поеду в Питер слушать моего Ленина. Много еще, много надо подумать над его тезисами.

Потом приеду в Москву, чтобы отсюда отправиться куда-нибудь в рабочие районы для агитации и пропаганды... Ездить мы будем вместе, организованно, по намеченному Московским комитетом РСДРП плану. Только прошу я вас — пишите мне почаще, мне без вас очень уж тяжело, каждая ваша строчка меня радует и успокаивает.

ПИСЬМО К АНАИД

9 мая 1917 г.

...Анаидочка, я тебе обыкновенно пишу в минуты уныния, и сейчас мне так. Но зато у меня огромное удовлетворение, успокаивающее меня средство — работа. Я работаю очень много — в смысле пропаганды. Когда с помощью моих рук сырой материал обращается в сознательного рабочего, когда я пробуждаю в нем классовое самосознание... тогда я удовлетворяюсь, тогда у меня прибавляются силы, тогда я живой человек. У меня нет уныния, и я бодро пойду на работу. Это сознание помогает мне заниматься много, регулировать свою жизнь (без этого работа не удастся), отказываться от веселого общения с моими товарищами и заниматься, заниматься. Как я рада, что работа моя применялась еще в подполье, что я имею сейчас навык, что я могу сейчас работать. Приходится много бороться со всеми, кто против «нас», большевиков... Пойду сейчас составлю и закуплю две библиотеки на 2 завода, потом приду домой и позаймусь с соц. дем. женщинами. Анаид, сколько сил, талантов таится в рабочей среде... Ты думаешь, должно быть, что я, как и все курсихи, сентиментально настроена и со слезами на глазах говорю о свободе и о «бедных рабочих». Нет, я далека от этого, я еще раньше, в работе, узнала их и теперь хорошо их знаю. Они имеют (рабочие) преимущество класса, которому принадлежит будущее, который только что развивается, у которого пробуждаются силы.

...Обо мне не беспокойтесь. Я держусь крепко и бодро. Кажется, много во мне переменилось. Но не беда, еще много изменяться придется. Сейчас нужно выйти в такую стужу... Град так и зажаривает в окна и выбивает о стекло какую-то грустную, дикую, но жизненную песню, и серое небо жалкое и одинокое. Но будет скоро солнце, распускаются почки, и последнее сомнение зимы, как метлой, будет сметено самой жизнью. Целую крепко. Люсик.

Анаид, помни, что я живу полной жизнью.

ПИСЬМО К АНАИД

Даты на письме нет.

Дорогая моя, родная Анаидочка, такое у меня сейчас настроение, что хочется с тобой поговорить, рассказать, что у меня сейчас делается.

Люся Лисинова.

Понимаешь, сейчас весна, и самая настоящая, какой у нас отродясь не было. Она здесь какая-то стихийная, все забирает под свою власть, солнечная, везде проявляющаяся, властная. Но сегодня особенное какое-то состояние. Знаешь, какая-то вкрадчивая, но покоряющая теплота и влекущий запах воздуха. Знаешь, Анаид, нужно, необходимо сделать что-то такое большое, невероятно огромное, грандиозное, чтобы с корнем вырвать все колеблющееся и сомневающееся.

Анаид, нет, не удовлетворена я событиями, слишком мало забрано в руки демократией.

Анаид, слышишь, масса сил у меня, я чую все, что скрыто во мне. Эти силы не только во мне, но и в каждом из нас — всех тех, кто является работниками новой нарождающейся эры — класса, который принесет эту эру.

Анаид, мне хочется сейчас обнять все это трепещущее, пульсирующее, стремящееся к жизни. Все дышит, хочет жить. Ох, сколько в каждом движении, дыхании силы! Я как-то за последнее время научилась сдерживать себя, наблюдать за другими и оценивать все... Ох, какие колокола сегодня были! Сегодня же суббота. Мы пошли на Москву-реку и долго стояли на мосту, и казалось, что мне река что-то хочет сказать, она теперь могучая, широкая, грозная.

А потом много гуляла одна, ходила, ходила по моему дорогому Замоскворечью. Анаид, почему все так создано, почему так много загадки во всем, так много манящего; мне как-то жить хочется в эти минуты, развернуться или видеть что-нибудь большое, хорошее, грандиозное.

Моя милая, родная, поймешь ли ты из моего глупого письма мое настроение? Вот эти два дня я всем моим существом чувствую всю природу, мне кажется, что я существом своим вхожу в каждую пылинку, что я понимаю жизнь каждой травки, и сама знаю, что так много таинственного и незнакомого мне.

...Что еще меня часто ободряет — это редкостно хорошее отношение к нам рабочих. После долгих споров на собраниях со студентами-«рево-

Люсиновская улица в Москве. Справа — дом, в котором в 1917 году помещался Замоскворецкий районный комитет РСДРП (большевиков).

люционерами» рабочие, не принимавшие раньше участия в работе, поняли, что мы правы, и сильно полюбили нас, а со старыми рабочими возможно стало завязать более тесные отношения. Вчера я была у одной работницы до позднего вечера, много говорили с ней. Такие разговоры всегда ободряющим образом действуют.

ИЗ ПИСЬМА К АНАИД

Даты на письме нет, почтовый штамп г. Тифлиса: 25 августа 1917 года. В письме упоминается однодневная стачка протеста, которую трудящиеся Москвы организованно провели под руководством большевиков 12 августа 1917 года, в день открытия контрреволюционного Государственного совещания. В стачке участвовало 400 тысяч человек. Совет, упоминаемый в письме,— Московский Совет рабочих депутатов. Тогда в Совет входило много меньшевиков и эсеров; большевики составляли в нем меньшинство.

Дорогая Анаидочка, пишу только тебе, чтобы не прочла мама. Дело в том, что в Москве готовится нечто ужасное, подобное июньским дням в Париже к концу Парижской коммуны со стороны контрреволюции. Может, это будет сегодня, завтра, не знаем. Партийные комитеты уже в подполье, больше писать нн о чем не могу.

12-го числа профессиональные союзы, мы и интернационалисты устроили забастовку; прошло бы очень хорошо, если бы не 60 оппортунистических позорных голосов в Совете. 364 депутата голосовали против забастовки, 304 — за. Совет дискредитировал себя, так как рабочие даже без нас пошли против него...

Теперь настроение не только у рабочих масс, но у всех социалистических элементов боевое, приподнятое, деловое и энергичное. Но заниматься культурно-просветительной работой нельзя, слишком она далека от текущего момента. Даже я сама сегодня не имела силы взять «Капитал» в руки.

ПИСЬМО К РОДНЫМ

Даты на письме нет, почтовый штемпель: 29 августа 1917 года. Написано в тот период, когда контрреволюционный генерал Корнилов двинул свои войска на Петроград. На борьбу с корниловщиной поднялись трудящиеся Петрограда и Москвы. Под руководством большевиков проходило формирование отрядов Красной Гвардии.

Сейчас революционные войска сражаются с корниловскими под Питером, московские революционные войска посланы на подмогу, а я сижу и думаю и не могу заснуть. Рабочие у нас в боевом порядке, готовые сражаться как на городских баррикадах, так и в полевых битвах. Подпольное оружие вышло наружу... Мимо моего окна (я живу на окраине) проходят одна рота за другой с пением «Смело, товарищи, в ногу» и «Вихри...»

Поются они теперь действительно мощно, революционно и грозно. Пусть мамочка не волнуется за меня, я буду очень осторожна, даю слово.

Целую, не волнуйтесь.

Люсик.

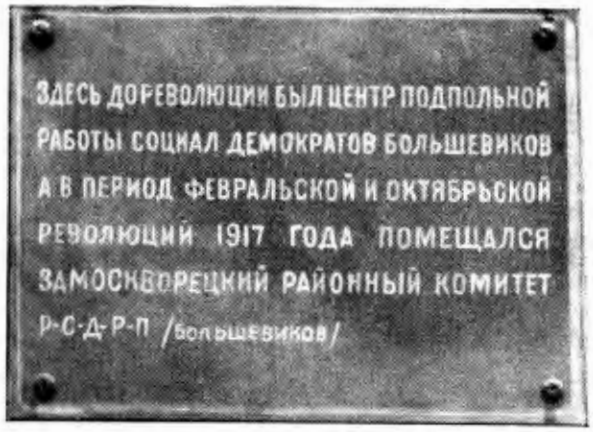
ИЗ ПИСЬМА К МЛАДШЕЙ СЕСТРЕ, АНИК

«Столовка», о которой упоминается в письме,— это столовая Коммерческого института на Малой Серпуховке. По вечерам при закрытых ставнях здесь происходило военное обучение красногвардейцев Замоскворечья.

30 августа 1917 г.

Моя Анюся.

Сейчас пойду в столовку обедать. Читала до сих пор «Женский вопрос» Лили Браун; не особенно нравится мне эта книга, хоть она очень солидная,— но местами она очень хороша. Зато, Анюська, если найдешь Коллонтай «Социальные основы женского вопроса», то прочти, пожалуйста. Я испытывала нравственное удовлетворение,



Памятная доска на доме № 28 по Люсиновской улице.

читая ее... Настроение здесь боевое и приподнятое. Образуется Красная Гвардия, частичное обучение которой ведется в нашей столовке.

ИЗ ПИСЬМА К МАТЕРИ ЕКАТЕРИНЕ ЗАХАРОВНЕ

11 сентября 1917 г.

Моя родная мамуся, как я часто думаю о тебе, если бы ты знала, и как часто скучаю о тебе. Мамуся, крепко целую тебя. Скажи нашим, чтобы подробно написали о твоем здоровье. Была на открытии «1-го рабочего театра». Было паршиво, но весело, так как мы были в одной компании и потому, что мы устроили, так сказать, демонстрацию: наши ребята после исполнения оркестром «Интернационала» кричали «Да здравствует 3-й Интернационал», «Долой войну!», и настроение в театре поднялось. Прощай, целую, мамуся, тебя крепко.

Твоя Люсик.

ИЗ ПИСЬМА К АНИК

Начато 13 октября и окончено 24 октября. Между 13 и 24 октября Люся болела.

Дорогая моя девочка, Анюся, получила твое письмо и 2 открытки. Сегодня второй день, как я окончательно встала с постели, хожу гоголем, все улыбаюсь и радуюсь положительно всем явлениям жизни.

...Нашим ребятам спасибо, они за мной ухаживали. Ведь они занятые, и все-таки я очень редко бывала одна. Приносили из дому какао, пирожки, кофе, масло, сыр, еду, обед носили. Вообще мне даже стыдно становилось. 2 дня тому назад сходила к доктору. Очень я боялась, может, что с легкими, и с трепетом сердечным спросила доктора об этом; какова же моя радость, когда он мне сказал, что они в полнейшем порядке и что я совершенно не должна волноваться. Уф, радостно было, вышла я от него, а кругом сияющая осень, золотые листья, иней и прекрасное солнце, такое ласкающее и веселое и вместе грустное и прощающееся с землей. И мне все казалось, что и солнце и все люди знают, что я сегодня встала с постели, что мне весело и что у меня с легкими все хорошо.

Ура, может, завтра в Питере Советы возьмут власть в свои руки... да, конечно, потом, а может, теперь будет страшная кровавая баня... еще не было случая, чтобы буржуазия без боя сдала бы хоть одну свою позицию, не то что власть, так что надо с этим примириться, как с неизбежным спутником всех пролетарских революций. Но зато, понимаешь, только таким образом, т. е. только нашей революцией можно вызвать международную победоносную революцию... «Да здравствует международный Совет рабочих депутатов!»

...Ура, Аник, хорошо мне. Великое какое-то торжество так и подкатывается к самому горлу комком каким-то. Знаешь, бывает и грустно, тяжело, а все-таки хорошо,— таковы уж все мы. Понимаешь, кто? Наша группа, тесная группа социал-демократов. Ну, ладно, прощай.

ПИСЬМО К МАТЕРИ

Эта открытка написана в дни Октябрьских вооруженных боев в Москве. На ней нет штампа; очевидно, смерть помешала Люсе ее отправить.

Наконец-то я дома, напилась чаю и лягу в постель. Ходила не переставая целый день, провела 3 митинга по заводам, организовывала Красный Крест в Союзе молодежи, сходила в Совет рабочих депутатов. Ночь темная, дождь, снег и ветер, но состояние бодрое. Немного только подтачивает такое здоровое состояние — это выжидание.

Сейчас в Кремле стоят юнкера и наши войска. Может, ночью будет бой. На чьей стороне будет победа?

Мамочка, дорогая, ты за меня не волнуйся, я ни в каком опасном месте не буду. Буду или сидеть в лазарете, или буду в Совете, в общем, ни в какие летучие отряды я не поступаю. Затем, без толку на улицу не показываюсь и одна не хожу. Мамочка, даже на заводские собрания я не буду ходить, так как уже всех оповестили о положении дел. Ну, прощайте, пока всего хорошего. Крепко целую. Здоровье, очевидно, не ухудшается, а наоборот. Прочту сейчас газеты и — спать. Крепко всех обнимаю перед сном. Ваша Люська. За меня не бойтесь.

Ниже приводится телеграмма, которую отец Люси, А. Н. Лисинов, отправил в Тифлис родным из Москвы, куда он был вызван на похороны Люси.

СРОЧНАЯ ТИФЛИС МАТИНОВСКАЯ ЛИСИНОВЫМ

Люсик сохранилась хорошей улыбкой похороны 14 убита наповал последнее слово товарищи убита — Лисинов.

Большевики и Союз рабочей молодежи торжественно похоронили Люсю Лисинову на Красной площади, у Кремлевской стены, как павшего солдата революции, оказав ей воинские почести: гроб ее несли на скрещенных винтовках.

В память о Люсе Лисиновой улица Малая Серпуховка в Москве, где в доме 28 помещалась студенческая столовая — место сбора большевиков Замоскворечья,— названа Люсиновской улицей.

В. Богаткин

По Китаю

Страницы из путевого дневника художника

Группа советских художников, в том числе автор этого дневника, три месяца провела в Китайской Народной Республике. Художники побывали в ряде городов и провинций Китая, сделали много набросков, этюдов, рисунков. Эти «заготовки» будут использованы ими для работ, посвященных природе, быту и строительству новой жизни в Китае.

Предлагаем вниманию наших читателей несколько страниц из дневника В. В. Богаткина.

1 декабря

Сегодня весь день
тянулись унылые
маньчжурские степи -
рыжевато серые но типаж
очень интересный.
К вечеру проехали Харбин.

3 декабря

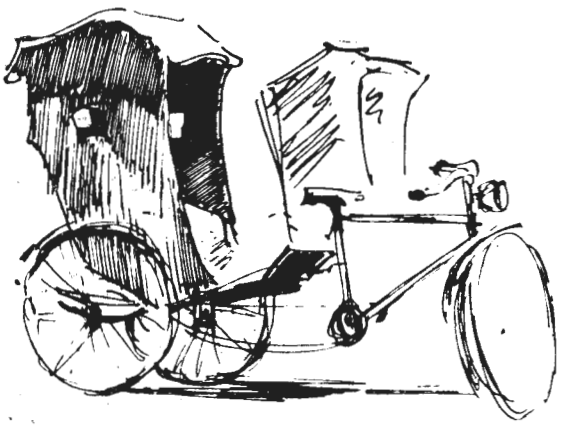
Это одна из улиц Пекина. Находится она за вокзалом. Я сделал набросок прямо из машины двух минут.

5 декабря

На всех оживленных перекрестках Пекина вы встретите вот таких постовых – регулировщиков. Они всегда колоритны в своих ватных куртках с белыми нарукавниками и с белой марлевой повязкой на лице – от пыли, очевидно. Эти повязки здесь носят зимой: и пыльно, холодно, а они в местных условиях предохраняют от простуды и пыли.

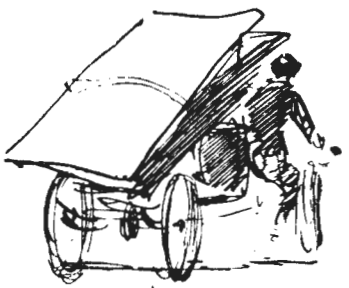
9 декабря.

Немного о велорикшах.

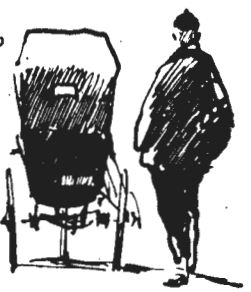


В Пекине еще сохранились велорикши. Пройдет немного времени — и навсегда исчезнет это наследие прошлого.

Но пока велорикши составляют характерную черту пекинского пейзажа. (Правда, в таком смысле слова рикшу, бегущего с коляской, вы не встретите, но велорикши еще есть.)

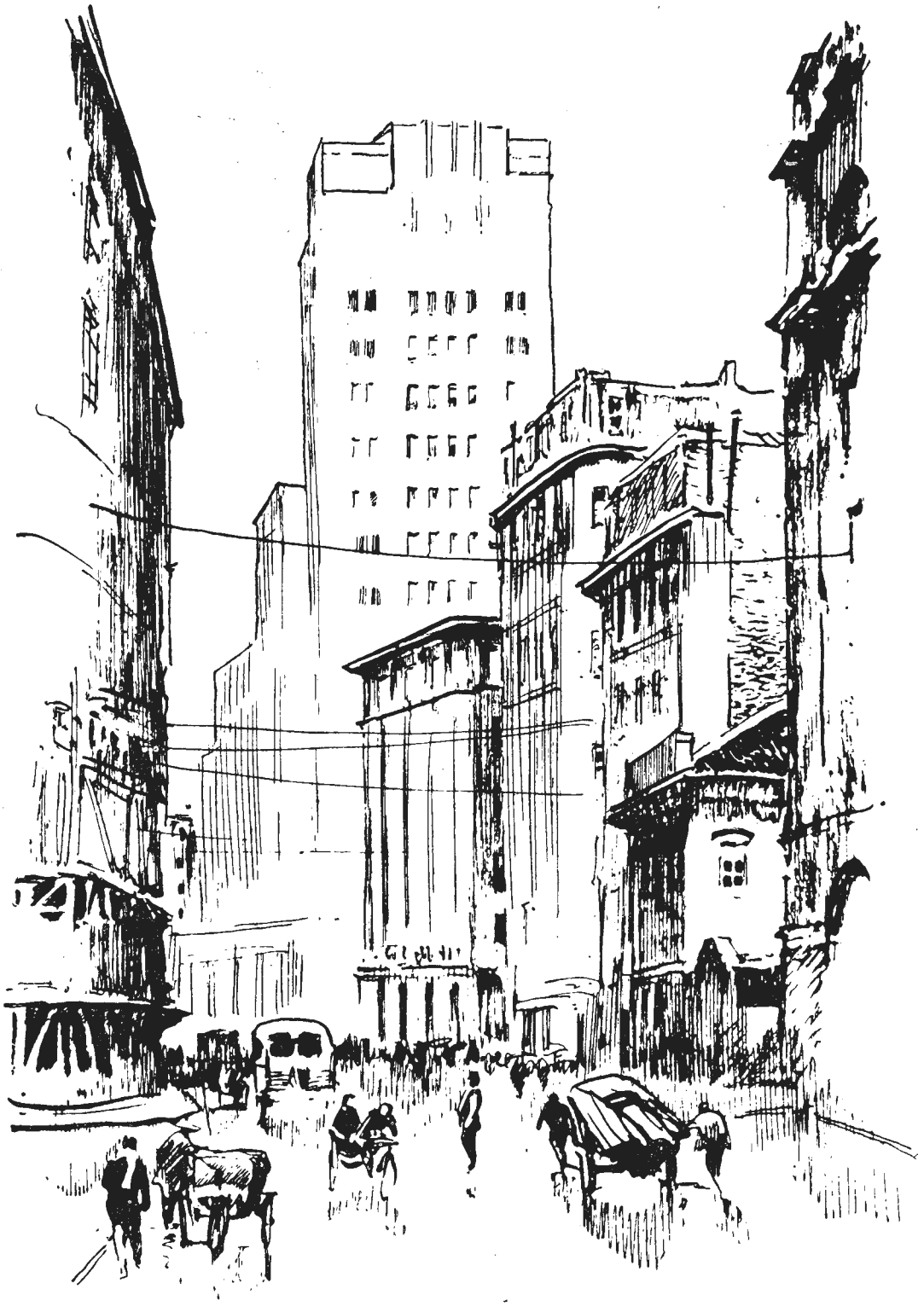


Труд их тяжел, но честен, в новом Китае у них есть чувство собственного достоинства, и, вне всякого сомнения, они в самом недалеком будущем пересядут за руль автомобиля. Но пока они характерны для пекинских улиц, так же как и бесчисленные велосипедисты.



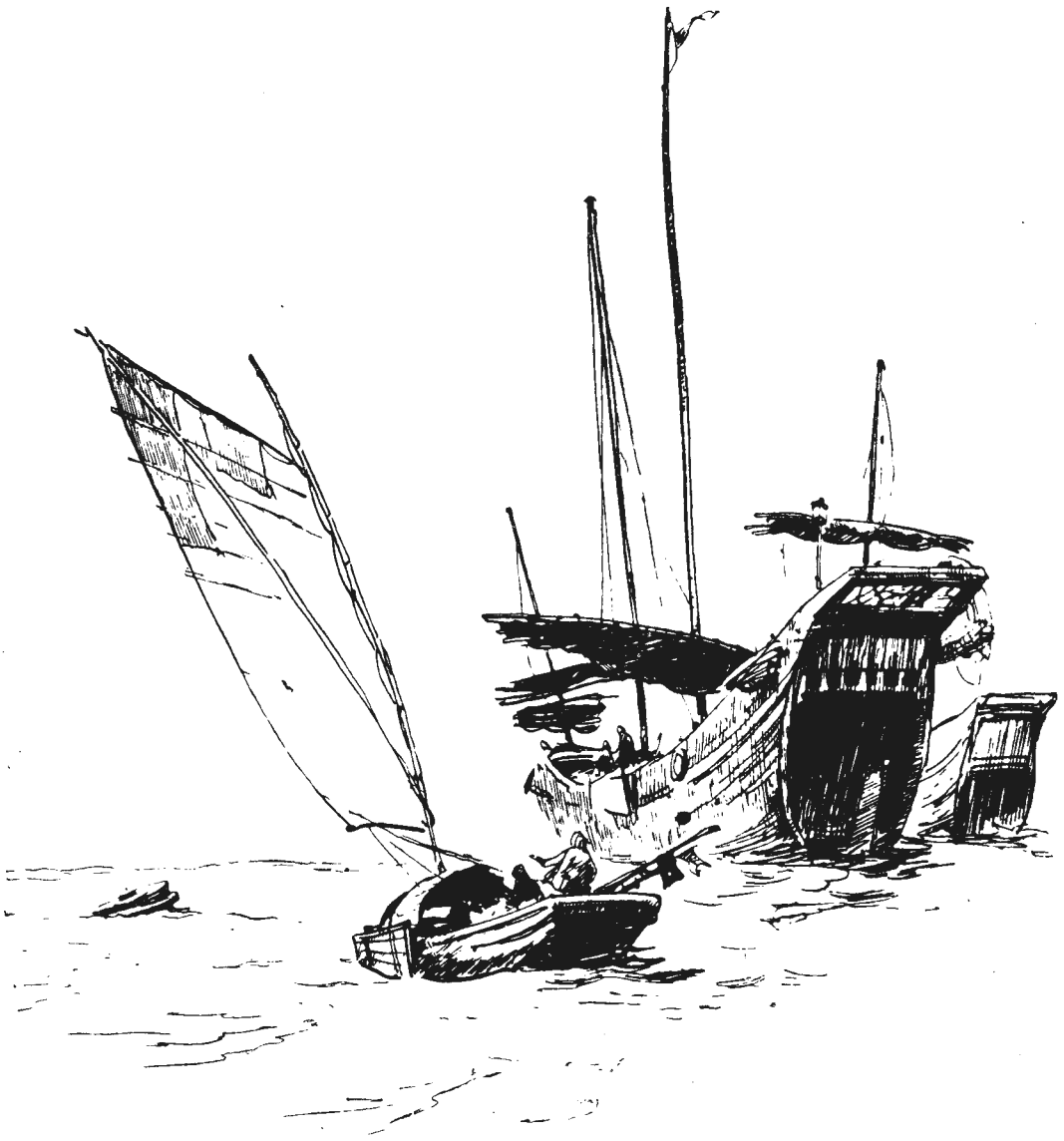
Торговая улица в Нанкине

Эта улица зонтов и корзин очень типична для Шанхая. Не знаю, было ли так раньше, но сейчас таких мест полно, и в них кипит жизнь простых людей со всеми их радостями, печалями



Улица в районе набережной Хуанпу напоминает деловой Шанхай.

11 декабря. Сегодня совершили интересную поездку в буддийский монастырь Тысяч пещер. Дорогой останавливались и рисовали. Особенно увлекали нас китайские деревни. Одну такую, пожалуй, наиболее характерную, я изобразил на этой странице. Поражает количество ребятишек. Они страшно забавные, очень напоминают игрушечных, все толстенькие, румяненькие, с блестящими черными глазками и необыкновенно живые. Когда рисуем, они слетаются мгновенно и через минуту уже ничего, кроме их мордашек, не видно.

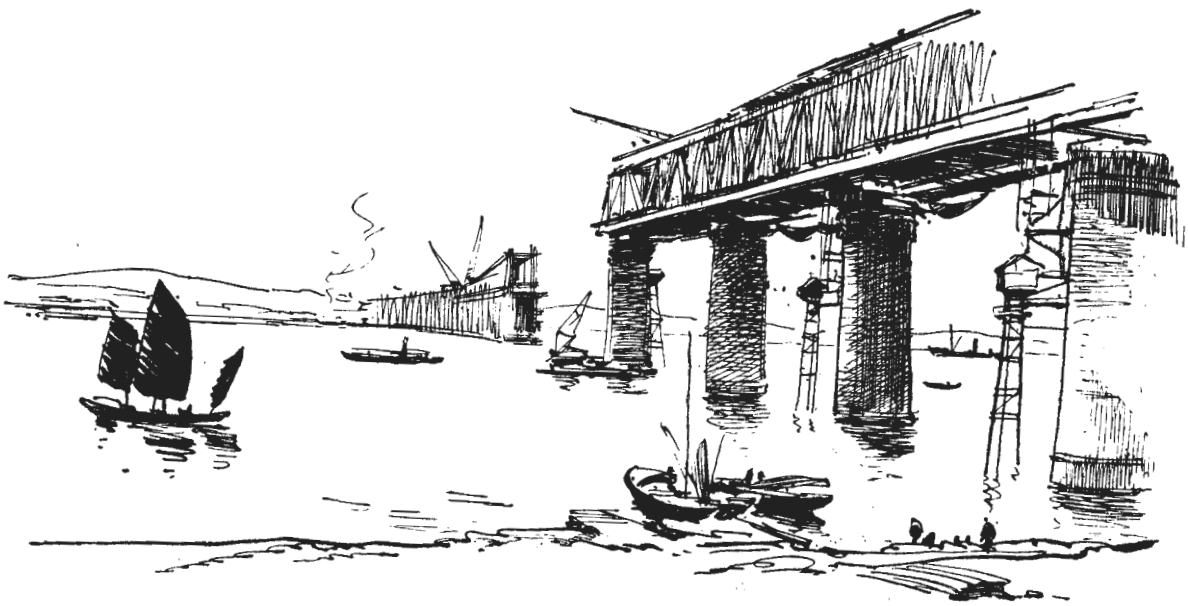


14 января. Совершили чудесную прогулку на катере в устье Янцзы. Всю дорогу туда и обратно делали наброски с красавиц-джонок. По цвету все было невероятно красиво. На обратном пути попали в небольшой шторм. Когда смотришь на джонки, особенно снизу, с воды, они очень напоминают каравеллы, и, если б не присутствие других судов, казалось бы, что попал в другой век!

Город Ухань — один из самых больших промышленных центров Китая, а сейчас он особенно привлекает к себе внимание всех — здесь заканчивается строительство громадного двухэтажного моста через великую китайскую реку Янцзы.

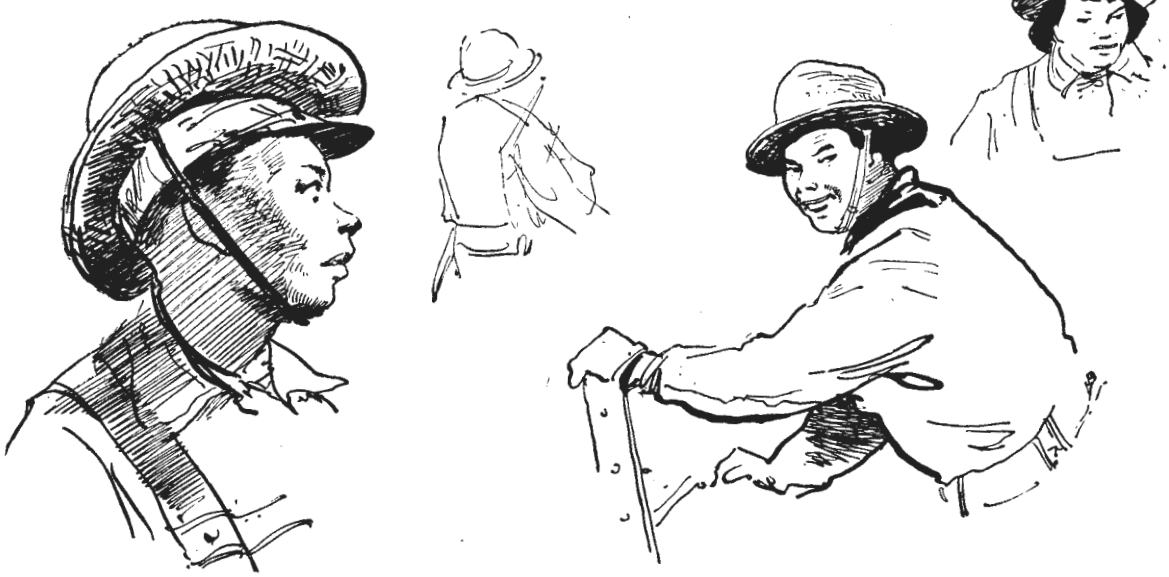
Он строится при активной помощи Советского Союза. Строительство Уханьского моста, — это действительно международная стройка.

На левом берегу.



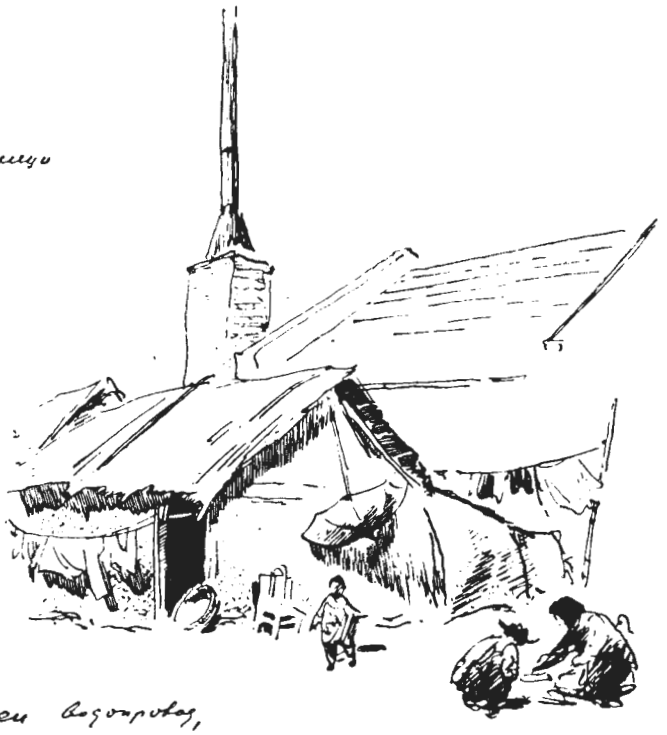
На берегу Янцзы

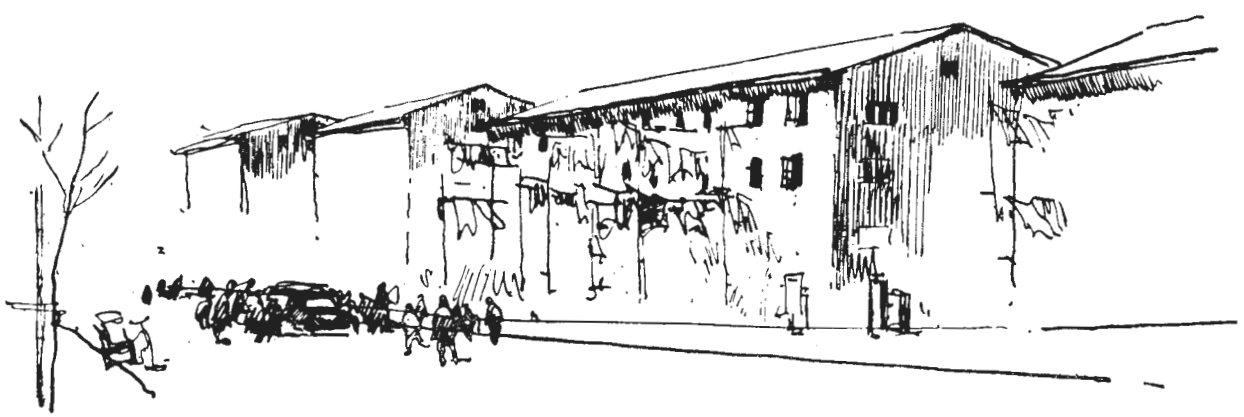
Среди строителей можно встретить молодежь из всех уголков Китайской Народной республики. Целый день провели мы на стройке, делая этюды, рисунки, наброски.



11 января

Сегодня китайские товарищи рано утром повезли нас на очень интересную экскурсию в бывший район „бедных людей" шанхая, как он еще назывался, „район мертвых детей", т. к. из-за грязи, эпидемий и частых наводнений дети гибли сотнями и тысячами. А проживало там свыше 50 000. Нас принимали в небольшой, но светлой школе, построенной в 1952. Теперь в районе не только ликвидирована грязь, проведен водопровод, благоустроены старые жилища, но и построена школа для детей и взрослых, есть клуб и т. д. Раньше люди, живущие здесь, не могли и мечтать об этом. Благодаря заботам правительства К.Н.Р такие районы вскоре будут вообще ликвидированы, вместо них строятся новые поселки с четырехэтажными благоустроенными домами. Их в Шанхае построено уже более 10 и там проживает 1,5 млн человек.





Товарищ Чень-Синь.

Яркий солнечный день 12 февраля мы провели в деревне Ло-ти-Ша, под Кантоном. Здесь в 1954 г. был организован сельхоз. кооператив „Синь-Лоо" („Новый Дракон")

Председатель кооператива тов. Чень-Синь в новом каменном здании клуба рассказывал нам о работе крестьян, о возделываемых культурах, о задачах животноводства.

„Теперь нам живется хорошо, всего в достатке, а раньше, до победы народа, кроме чашки жидкого риса да побоев ничего не было!.."

Почти до позднего вечера мы с удовольствием работали в этой живописной деревне южного Китая.

ЧЕМПИОН МИРА

Шахматная биография Василия Васильевича Смыслова неотделима от взрастившей его советской шахматной школы. Когда в канун Первого мая в Концертном зале имени Чайковского Смыслов был увенчан лавровым венком чемпиона мира, одно из самых горячих поздравлений он получил от юных шахматистов Москворецкого Дома пионеров. Именно там под руководством опытного педагога Ф. Фогелевича началась «шахматная» биография нового чемпиона мира.

С клетчатой доской мальчик познакомился еще в шестилетнем возрасте. Первым учителем его был отец Василий Осипович, игравший примерно в силу первого разряда. Сильным шахматистом был и дядя, подаривший восьмилетнему племяннику книгу Алехина «Мои лучшие партии» с трогательной в своем глубоком оптимизме надписью: «Будущему чемпиону». С тех пор прошло около трех десятков лет, и Василий Смыслов занял в шахматном мире то место, которое занимал его гениальный соотечественник Александр Алехин, а после него — блестящий и долголетний лидер советских шахматистов Михаил Ботвинник,— место первого среди сильнейших гроссмейстеров всех стран.

Обладая огромным природным дарованием, Смыслов с юных лет настойчиво и упорно овладевал не только техникой шахматной игры, сделавшись в этой области подлинным виртуозом, но и воспитывал в себе качества турнирного бойца. Среди других гроссмейстеров Смыслов выделяется удивительно ясным взглядом на любую, самую сложную и самую простую позицию. Его игра далека от шаблона и всегда логична в широком понимании этого слова. Если на его стороне преимущество, он неуклонно доведет его до победы, пользуясь самыми надежными способами и не давая отвлечь себя в сторону. Но если явный перевес у партнера, Смыслов умеет изобретательно осложнить положение, хотя это и бывает связано с немалым риском, и создать для противника наибольшие трудности на пути к победе. Это умение Смыслова — исключительная стойкость в обороне — дало ему возможность спасти немало партий.

Очень своеобразно и во многом справедливо мнение голландского гроссмейстера Эйве, немало пострадавшего от «тяжелой руки» Смыслова: «Василий Смыслов, этот приветливый шахматный великан, делает ходы, которые, пожалуй, мог бы сделать и любой другой гроссмейстер. Есть только небольшая разница: Смыслов выигрывает, а тот — нет. Манера игры Смыслова какая-то ускользающая: он непосредственно в лоб вас не атакует, не нападает на вас прямолинейно, не грозит сделать тут же мат, а следует по известным лишь ему одному тайным тропам. Ничего не подозревающие противники не распознают его скрытых замыслов, им кажется, что они стоят вполне хорошо... Но вот они спохватились, заподозрили что-то неладное, однако уже поздно! У одного образовалась слабая пешка — Смыслов с математической точностью ее выигрывает; у другого положение такое, что атака на позицию его короля становится неминуемой, а предотвратить ее невозможно. Да, удивительный шахматист Смыслов, приветливый и любезный человек, но играть с ним очень опасно!»

Чрезвычайно важен для понимания шахматной индивидуальности Смыслова его взгляд на шахматное искусство. Вот что он сам пишет об этом: «Мне кажется, что в наши дни шахматист-художник должен стремиться к широте шахматных воззрений, к непрерывным поискам таких путей, которые могут двигать шахматы вперед, к освобождению от чуждых советской шахматной школе элементов догматизма... Миллионы приверженцев шахматного искусства в Советском Союзе за то и любят шахматы, что находят в них, помимо возможностей для спортивного соревнования, элементы подлинно художественного творчества. Поэтому вопросы техники, даже виртуозной, не могут играть самодовлеющей роли, а являются лишь сподчиненным фактором».

Смыслов идет по пути, проложенному лучшими представителями русской и советской шахматной школы. Его неустанные поиски нового в древней мудрой игре — залог дальнейших творческих и спортивных достижений. Пожелаем ему новых больших успехов!

А. ИГЛИЦКИЙ

Шлю привет читателям журнала «Юность» — молодым любителям спорта, шахматистам — и желаю им больших успехов и побед. Но нужно помнить — я хорошо знаю это по собственному опыту,— что каждая полноценная победа, особенно над сильным противником, приходит лишь в результате упорного, систематического, повседневного труда. Занятия спортом, шахматами, этой «гимнастикой ума», воспитывающие в человеке волю и выдержку, помогут вам и в занятиях науками. Хочу надеяться, что из среды читателей журнала вырастет много отличных спортсменов и гроссмейстеров.

В. СМЫСЛОВ.

Мартын МЕРЖАНОВ

ГЛЯДЯ ВПЕРЕД...

В последние годы каждый футбольный сезон насыщен множеством событий. Прошло то время, когда вершиной спортивного мастерства были встречи «Динамо» со «Спартаком» или ЦДСА. Наш футбол тогда варился в собственном соку, и мы придавали слишком уж большое значение победе даже над посредственной норвежской командой «Сагене».

Нынче советский футбол уверенно шагнул за рубежи и заставил сильнейшие команды мира считаться с собою. Силу его почувствовали и некогда непобедимые венгры, и французы, и английские «волки».

Теперь встречей «Динамо» и «Спартака» разговор о большом футболе не заканчивается, а лишь начинается. От игры нескольких ведущих коллективов зависит игра сборной команды Советского Союза, хорошая репутация которой известна повсюду.

Теперь в матчах отечественного турнира мы видим «пристрелку» к более важным футбольным битвам — к международным состязаниям.

Два года назад советские футболисты провели ряд ответственных, хотя и товарищеских, встреч. Они с равным соотношением мячей закончили состязания с национальными командами Венгрии и Франции, обыграли чемпионов мира — спортсменов ФРГ.

К этому следует добавить победы над шведами, над «Вулверхемптон-Ундерерс», над «Миланом» и другими сильнейшими клубами Европы. Зарубежным специалистам было над чем задуматься. Крупные авторитеты почти единогласно выдвинули наших спортсменов в первые ряды международного футбола.

Известный английский спортивный обозреватель доктор Вилли Мейсл писал: «Все эксперты сходятся на том, что русская национальная команда может переиграть любого противника и должна выходить победителем в случае игры в дополнительное время. После 90 минут игры русские производят впечатление, что они могут начать все сначала».

Прошлый год был еще более знаменателен. Следя за состязаниями наших ведущих клубов, мы помнили, что их игрокам предстоит защищать честь советского футбола в Мельбурне. Сейчас Олимпийские игры позади. Они принесли нашим футболистам золотые медали и славу.

Начался новый сезон. И одновременно началась пора подготовки к самому серьезному из международных турниров — к первенству мира. Хотя розыгрыш будет происходить летом будущего года в Швеции, отборочные состязания уже идут. Как известно, более пятидесяти стран изъявили желание послать свои национальные коллективы на чемпионат. Однако к финишу будут допущены только шестнадцать.

Весь 1957 год национальные команды проведут в борьбе за право участия в финале. В таблице мирового чемпионата уже появились первые результаты: англичане и ирландцы победили датчан, французы — бельгийцев, австрийцы — люксембуржцев.

Для отборочных состязаний европейская зона разделена на девять групп. В шестую группу входят команды СССР, Польши и Финляндии. Они должны сыграть между собою по два раза: на своем и на чужом поле.

Впервые в истории русского и советского футбола наши спортсмены примут участие в мировом чемпионате. Естественно поэтому волнение, с которым мы смотрим нынче любое футбольное состязание. В каждом мы видим подготовку к международному матчу, а глядя на лучших игроков, мы мысленно надеваем на них красную майку, на груди которой видны буквы: «СССР».

Как и всегда, первые матчи нынешнего сезона начались на юге. Они проходили по-разному, но с типичным весенним отпечатком незрелого еще мастерства и до крайности напряженной, даже резкой борьбы. Подавляющее большинство апрельских и множество майских встреч кончились либо ничейным итогом, либо победой с минимальным превосходством. Ни одна из команд не может похвастать хорошим атакующим стилем игры и результативностью. Единицы и нули назойливо глядят из клеток турнирной таблицы.

Многих поразил неудачный старт чемпиона страны — московской команды «Спартак». Она потерпела уже ряд поражений. Ее нападающие забили в ворота противника в два раза меньше мячей, чем за такой же период прошлогоднего турнира.

Что же произошло со спартаковцами? Разучились играть? Нет, матчи в Киеве, Тбилиси и Москве опровергают это предположение. Команда достаточно тренирована и хорошо владеет мячом. Может быть, соперники стали значительно сильнее? Нет, они этого не показали в первых турнирных встречах.

Тогда что же?

Прежде чем поставить диагноз, врачи обыкновенно знакомятся с историей болезни. В данном случае «история болезни» «Спартака» заставляет обратить внимание на конец прошлого сезона. И тогда вот что всплывает в памяти.

Мельбурн. Сто тысяч человек приветствуют олимпийских чемпионов — сборную команду Советского Союза, в составе которой было восемь спартаковцев. Говорят, у игроков команды кружились головы. Ну что ж, это вполне естественно. Такие приятные минуты бывают не часто, да и не всем дано их пережить...

Внимательный врач обратил бы внимание и на то, что несколько раньше у спартаковцев было тоже много поводов для кружения головы.

Но почему «закруженные» прошлой осенью головы продолжали «кружиться» еще нынче по весне? Это — уже проявление длительной болезни, именуемой в футбольной медицине словом «зазнайство». Тяжелое заболевание! Оно проявляется во многом: в барском отношении к тренировке, в воль-

ном поведении на поле, а главное, в пренебрежительном отношении к сопернику. Болезнь эта появляется обычно после многократных побед и не раз уже подводила футболистов.

История большого футбола знает много случаев, когда пренебрежительное отношение к сопернику кончалось драматически для тех, кто недооценил своих партнеров.

В финале первенства мира в Рио-де-Жанейро в 1950 году бразильцы считали себя сильнейшей командой и были уверены в исходе турнира. Однако в последнем матче они проиграли 1 : 2 уругвайским футболистам, о которых были весьма невысокого мнения. Такая же картина повторилась в финале мирового чемпионата в Берне в 1954 году. Игроки сборной команды Венгрии, победив сильных бразильских и уругвайских футболистов, были убеждены в легкой победе над спортсменами Западной Германии, которые вышли в финал и которых они незадолго до этого обыграли с внушительным счетом — 8 : 3.

В первые же десять минут этого знаменательного матча венгры вели 2 : 0, и это окончательно убедило их в своей правоте. А дальше, как говорят футболисты, «в ноги вошло зазнайство», и они перестали слушаться, а мяч перестал им подчиняться. Венгры проиграли решающую встречу со счетом 2 : 3. Чемпионами мира стали немцы.

Я вспомнил эти случаи только для того, чтобы показать, какое решающее значение может сыграть пренебрежительное отношение к сопернику.

Однако поражения терпит не только «Спартак», но и другие ведущие коллективы. Мало мячей забивают нападающие московского и тбилисского «Динамо», «Торпедо», «Локомотива», армейская команда. Это вызывает тревогу, может быть, даже большую, чем зазнайство, которое обычно исчезает после нескольких встрясок-поражений.

Почему же соотношение мячей в этом году значительно скромнее, чем в прошлом сезоне?

Объясняется это, на мой взгляд, тем, что наши лучшие клубы, в том числе «Спартак» и «Динамо», пользуются очень однообразной тактикой наступательных действий. Шаблонная атака дает возможность любой более или менее организованной защите легко расстраивать схематическую комбинацию форвардов. Между тем нападающие, да и их тренеры, не очень задумываются над тем, чтобы предложить новые варианты, незнакомые игрокам обороны.

Может быть, нет еще оснований говорить о том, что наши тренеры и игроки забывают о решающей роли тактики в современном футболе, однако несомненно, что вкус к изобретению новых приемов исчез. Это мы видим и в игре клубных команд и в моменты международных встреч. Шаблонная тактика стала причиной наших поражений прошлой осенью в матчах с венграми и французами. Только схематизм в игре наших атакующих позволил защитникам индонезийской команды в Мельбурне держаться 120 минут!

Но даже это не научило наших форвардов. Они играют по старинке. Б. Татушин по-прежнему пытается обвести всех одним и тем же приемом, В. Рыжкин при встрече с соперником все так же резко уходит в сторону и ведет мяч поперек поля. Э. Стрельцов, передав мяч влево, тут же бросается вправо, и всегда под определенным углом. Поэтому, несмотря на высокую технику и старательность, атаки их часто безрезультатны.

Я замечал, как на стадионе любители футбола почти без ошибок угадывали действия первоклассных наших игроков. То же можно сказать и о коллективной тактике. Она схематична и построена не на хитрости и изобретательности, а на попытке обыграть соперника или высокой индивидуальной техникой, или физической силой, или выносливостью. Но ведь все эти качества могут быть эффективны лишь при гибкой тактике, при разнообразных маневрах. Техника советского футбола стала выше. Это бесспорно. Систематические игры с лучшими зарубежными командами оказались хорошей школой. Однако именно теперь стало заметно отставание тактики.

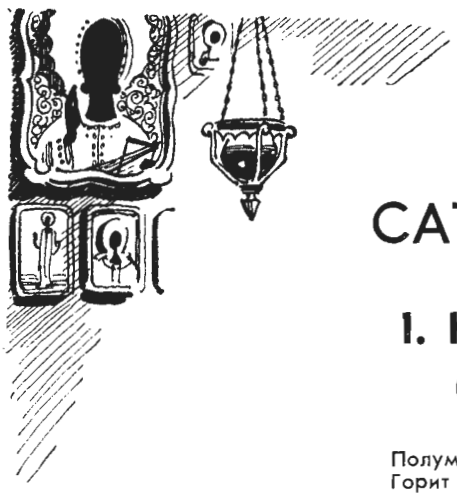
Невольно вспоминается история футбола.

В 1863 году были установлены единые правила игры. Неорганизованный футбол уступил место организованному. Стихийное ведение атак уступило место плановому развитию игры — тактике. Но правила эти старели. Защитники в совершенстве овладели искусством отражения всех форм атак. Футболу грозила «ничейная смерть». Тогда появились новые правила, которые облегчили игру форвардов. Смысл их был в том, что положение «вне игры» теперь фиксировалось, когда перед нападающим был лишь один игрок, а не два, как раньше. Это очень обострило атаки, осложнило действия оборонительных линий и повысило результативность. Форварды получили широкие возможности маневра, выработали новую схему расположения игроков, известную под названием «дубль вэ». Впервые ее применила английская команда «Арсенал». Естественно, что тотчас же появилась и новая тактика «трех защитников». Это была вынужденная контрмера.

Вот уже больше тридцати лет одни крупнейшие авторитеты футбола ломают голову над тем, как пробиться к воротам противника, а другие над тем, как покрепче закрыть эти ворота от непрошеных гостей. Рождаются различные тактические приемы: блуждающий форвард, сдвоенный центр, так называемый «пятый неизвестный», когда один из нападающих умышленно уходит в полузащиту, а затем внезапно появляется там, где начинается атака, и создает численное превосходство. В ответ появилось много оборонительных приемов: «бетон», «бункер», «цепочка Пуриттелли», «глухая стена» и т. д.

Сейчас сильнейшие команды Европы увлекаются оборонительной тактикой — оттягиванием игроков нападения в линии защиты. Это выражает скорее кризис тактической мысли, нежели попытку обогатить современный футбол. Эти этапы тактического развития известны и применялись советскими футболистами. Но они тоже устарели. Опыт показывает, что больших успехов достигли команды с наступательной тактикой. Это подтверждают венгерские и южноамериканские футболисты.

Обо всем этом думаешь, наблюдая матчи всесоюзного чемпионата. Сейчас заканчивается первый круг. Идет борьба за главенствующее положение в турнирной таблице. Почти все коллективы ведут ее с крайним напряжением. Но только та команда, которая умеет переиграть соперников не только технически, но и тактически, может претендовать на ведущее место, может двигать советский футбол вперед.



Виктор ВИНОГРАДОВ,
Сергей СМИРНОВ

САТИРИЧЕСКИЕ СТИХИ

1. Комсомолец-богомолец

Полумрак.
Горит лампада.
За столом вздыхает чадо.
Дело в том,
что чаду надо
Сделать тезисы доклада.
Тема вот какого рода:
«Церковь —
опиум народа».
Чадо мнет морщины лба.
Тезис:
Тут нужна борьба.
А в углу
над этим чадом —
Сам Христос с небесным
взглядом.
Рядом заняли места
Однокашники Христа.
Чадо с трепетом и силой
Шепчет:
— Господи, помилуй!
Обстановка такова:
Дай мне мысли и слова!
Закругляется работа,
Он сияет у киота:
— С божьей помощью доклад,
Не доклад,
а просто клад!
Папа рад,
И мама рада,
Не насмотрятся на чадо,
Славят бога...
И при том
Осеняются крестом...
Чадо
в качестве актива
Разглагольствует ретиво.

...Недостойна
Личность эта
Комсомольского билета!

Рисунки К. Ротова.

2. Одна виновата

Решив самостийно,
что труд — это пытка,
«В тревоге мирской суеты»
Он стал ветераном
спиртного напитка
И с рюмкой сошелся на «ты».
Прогнали с работы подобного хвата,
Воздали в райкоме сполна...
— «Ты только одна, ты одна виновата!» —
Поет он... о рюмке вина.

Себя
мировым агитатором числя,
Товарищ не знает границ.
Читает —
и смело заимствует мысли
У самых прославленных лиц.
Но вдруг запропала куда-то
цитата,
А он без нее —
ни гу-гу:
— Ты только одна, ты одна виновата,
Что я выступать не могу.

Конспектов не вел,
Даже лекций не слушал,
Болтаясь у всех на виду,
Он бил с неизменным успехом баклуши
В текущем учебном году.
...Экзамен.
Но кошка прошла воровато,
Он с песней вернулся назад:
— Ты только одна, ты одна виновата,
Что я со стипендии сият...

Рисунки И. Оффенгендена.

А эта
готова поститься по году,
Готова не есть и не пить,
Но лишь бы угнаться
за «перлами моды»
И «зеркалом Запада» быть.
Ни книг, ни театра —
иссякла зарплата,
— Ах, мода, богиня моя!
Ты только одна, ты одна виновата,
Что умственно бедствую я.

НА НАШЕЙ ОБЛОЖКЕ

На 1-й и 4-й страницах — рисунок художника Л. Збарского.

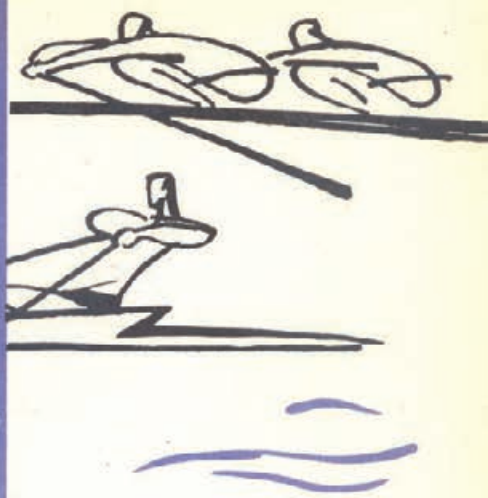
На 3-й странице — образцы китайского народного творчества (вырезки из бумаги).

Худ. ред.— Ю. Цишевский. Техн. ред. Д. Депутатов. Адрес редакции: Москва, И-51, Цветной бульвар, 30. Телефоны: коммутатор К 5-00-00, доб. 6.

Рукописи не возвращаются.

А 03912. Подписано к печати 16/V 1957 г. Тираж 200 000 экз. Изд. № 468. Заказ № 1054. Формат бум. 84×108¹/₁₆. Бум. л. 3,63. Печ. л. 11,89.

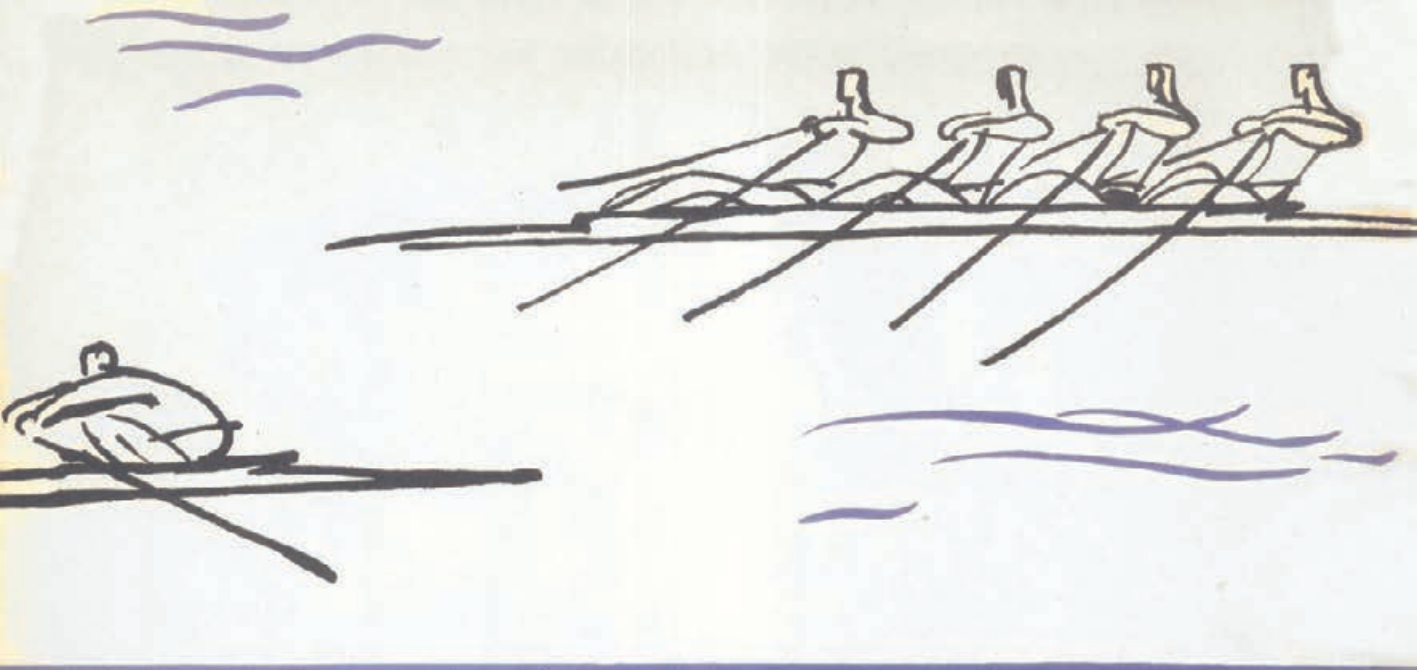
Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина. Москва, ул. «Правды», 24.



Главный редактор
В. П. КАТАЕВ

Зам. главного редактора
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Редакционная коллегия:
И. Л. АНДРОНИКОВ
В. Н. ГОРЯЕВ
С. Я. МАРШАК
Г. А. МЕДЫНСКИЙ
Н. Н. НОСОВ
М. П. ПРИЛЕЖАЕВА
В. С. РОЗОВ



ЦЕНА 4 руб.